ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Советский писатель

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья Е. П. Любаревой

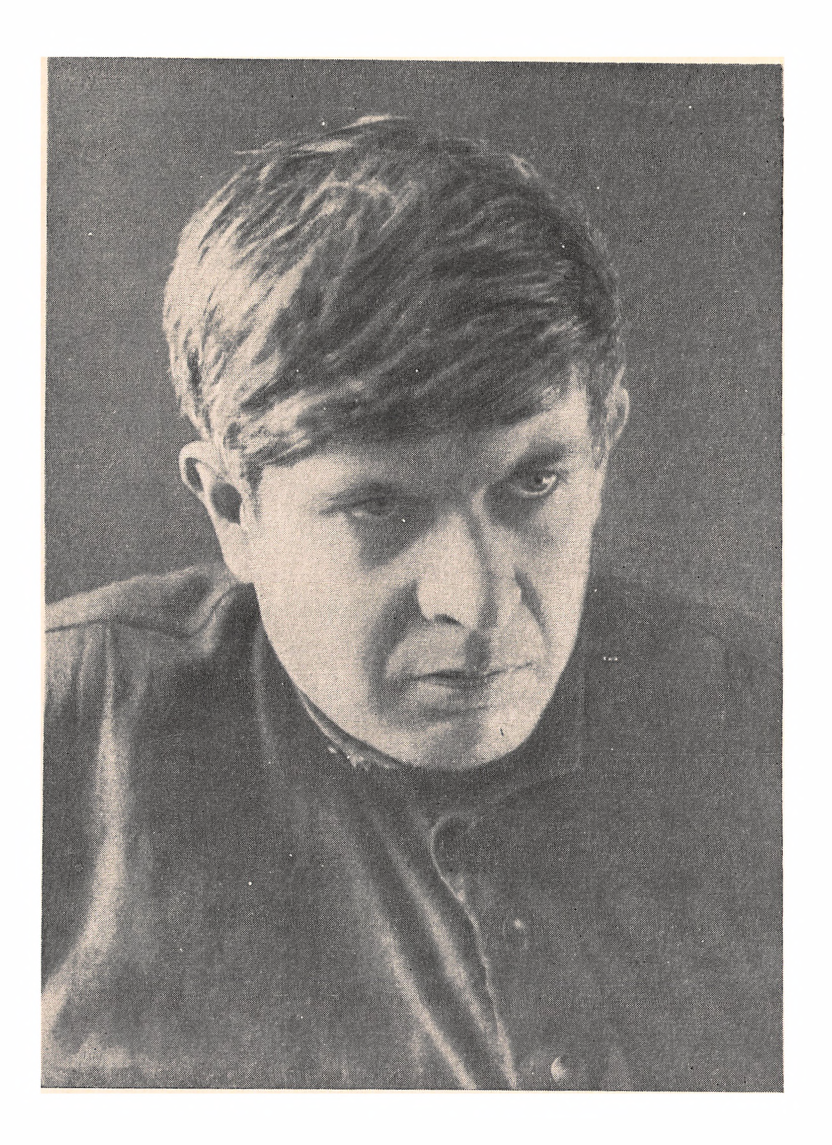
Составление
Е. П. Любаревой и С. А. Коваленко

Подготовка текста и примечания
С. А. Коваленко

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД · 1964

Романтическая поэзия Эдуарда Багрицкого — страстное утверждение революционных идеалов. философии нового века, раздумье о его трудных, тревожных путях. Поэзия Багрицкого сопутствует самым дерзким замыслам и делам современности. Поэт обладал талантом видеть жизнь, исполненную движения, радости, силы — и в природе и в человеческих душах. Он боролся с любыми проявлениями мертвящей мещанской стихии, во имя торжества человечности.

В книге с наибольшей полнотой представлено многообразное творчество талантливого советского поэта. В сборник вошло все значительное, сохраняющее художественную ценность, позволяющее понять всю сложность поэтической эволюции Багрицкого. В статье и примечаниях использованы малоизвестные архивные материалы, всесторонне освещающие жизнь и творчество поэта.



ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Поэтический мир Эдуарда Багрицкого привлекает широтой масштабов. Его постоянные образы — дороги, устремленные вдаль, ветры, грозы, бурное море. Величавая символика этих образов человечна и очень лирична. Просторы вселенной озвучены голосами птиц. Мир и птица, — такое несоизмеримое Багрицкий соединяет смело, настойчиво, постоянно.

...И пред ним зеленый снизу,
Голубой и синий сверху
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.

(«Птицелов»)

Этот образ возникает в стихотворении «Весна, ветеринар и я», он же завершает творчество поэта (финал поэмы «Февраль»).

Даже если бы в поэзии Багрицкого звучали только мотивы весны, она многое сказала бы нам о революционном человечестве эпохи 20-х — начала 30-х годов. Пафос лучших произведений Багрицкого шире — это пафос мужественного служения высокой коммунистической цели, неуклонного одоления жестоких, неизбежных на рубеже двух эпох трудностей. Поэт трезво и сильно раскрывает центральные конфликты времени — между победоносными силами революционного народа и многоликим (безликим!) человеком духовного предместья — обывателем, мещанином. Светлые горизонты жизни настоящего человека всегда — «в боевом дыму». Видеть, понимать, бороться — вот его всегдашний девиз. Не потому

ли поэт считает человека вечно молодым, таким же, как идеалы и цели, которым он самоотверженно служит?

Грандиозный масштаб образов поэзии Багрицкого, монументальность и содержательность олицетворений, романтика дорог, уходящих в дали будущего, — не только оттеняют душевную красоту героев, но превращают его произведения в своего рода философскую арену. Герои поэзии Багрицкого становятся олицетворением философского сюжета: «Мир и Человек».

Багрицкий — поэт-романтик. Он охотно напоминает нам о своих пристрастиях:

Романтика! Мне ли тебя воспеть...
Степные походы и трубная медь...
Романтика, я подружился с тобою...

Юмор надежно обороняет поэта от слащавости, подчеркивает серьезность его признаний.

Романтический образ, в отличие от конкретно-бытового, «жизнеподобного», воссоздает правду реальной действительности через «истину чувства» (Белинский), пренебрегая логикой самостоятельного развития характеров, действия, бытовыми подробностями. Повышенная эмоциональность преображает не только поэтическую речь, но и черты реальной жизни, характеры героев: они приобретают оттенок условности. Идеал, который присутствует в произведениях любого стиля, проявляясь очень различно, — в романтическом искусстве связан с образом непосредственно, даже несколько прямолинейно: он и дает чувствам поэта такую широту и накал. Картины жизни под пером романтика овеяны ореолом прекрасного.

Отличаясь устойчивыми чертами романтического мировосприятия, поэзия Багрицкого постоянно изменялась, развивалась, отзываясь на движение жизни. Развитие было нелегким. В годы нэпа поэт утратил чувство гармонии с миром, утратил его верное понимание. Естественно, что, когда наша страна вступила в полосу нового — социалистического — наступления, Багрицкий опять, как в годы гражданской войны, стал «трубадуром» эпохи. Вновь обретенная гармония стала более трезвой и мудрой, обогащенная жизненным опытом. Именно теперь Багрицкий пишет свои наиболее зрелые и сильные произведения: «ТВС», «Последняя ночь», «Человек предместья», «Смерть пионерки», «Февраль». Романтический стиль Багрицкого менялся не сразу же вслед развитию содержания — тут зависимость более сложная, но эта зависимость несомненна.

1

Октябрь 1917 года превратил Э. Багрицкого — юношу до тех пор пассивного, аполитичного — в человека и настоящего поэта.

Багрицкий начал печататься еще в 1915 году в одесских литературно-художественных альманахах «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Седьмое покрывало». Он увлеченно подражал акмеистам, символистам, футуристам. В ранних произведениях поэта легко различить ритмы и образы, словно скопированные с «модели» — произведений Гумилева, Брюсова, Северянина, раннего Маяковского. Это была своего рода «игра», позволявшая, однако, судить о таланте молодого поэта, высоком чувстве поэтической формы («Газеллы», «Полководец», «Креолка» и др.). Даже лучшие из ранних стихотворений Багрицкого — «Гимн Маяковскому», «Суворов» — крайне отдалены от жизни и стилизованы.

В чем же причина такой безучастности Багрицкого к событиям большой жизни? Какая «пища духовная» насыщала его и заменяла главное? Может быть, ответ на эти вопросы нам дадут обстоятельства жизни поэта в те и более ранние годы, его семья, его друзья?

Родился Эдуард Багрицкий (Дзюбин) в Одессе, 4 ноября 1895 года. Родители поэта были типичными представителями еврейской мелкой буржуазии (так впоследствии охарактеризовал Багрицкий своего отца). Их интересы не простирались дальше узкопрактических. Они мечтали дать сыну «солидную» и выгодную специальность врача или инженера и панически протестовали против его желания стать художником. Религиозные традиции усугубляли нищенство духовного уклада. Но дело, конечно, не только и не столько в семье Дзюбиных, сколько в атмосфере, в той среде одесской мелкой буржуазии, которая окружала Багрицкого. Недаром предсмертные, потому особенно значительные слова поэта были о детстве: «Какое у вас лицо хорошее, — сказал он больничной няне, — у вас, видно, было хорошее детство, а я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня».[1] Конечно, эти слова не про годы, прошедшие на Ремесленной улице (где жил поэт), а про «историческое» детство поколения, задавленного и униженного мелкобуржуазным бытом.

И хотя в стихотворениях Багрицкого 1915—1918 годов мы не встретим такой беспощадной оценки окружающей его жизни, они по-своему поведали о разладе поэта с мещанской средой. Он скры-

---

[1] Эдуард Багрицкий. Альманах. М., 1936, стр. 163. (В дальнейшем — «Альманах».)

вался под защиту мечты о путешествиях, загораживался от серой жизни красивыми созвучиями, яркими узорами поэзии.

Поэт и его друзья, вероятно, не заметили, что их последние альманахи «Смутная алчба» и «Чудо в пустыне» составлялись уже в 1918 году — когда на Украине кипела гражданская война!

Три долгие года Одесса была ареной беспрерывных и жарких боев: быстрой победе Октябрьской революции препятствовало националистическое «правительство» Центральной Рады; затем на Украину хлынули немецкие оккупанты. Не успели они, напуганные революцией в Германии, отступить, как на берегах Черного моря высадились морские десанты Антанты. Подпольная революционная работа не останавливалась в Одессе ни на минуту... Смелые, изобретательные люди проникли к французским солдатам: эскадра революционизировалась. Но и после ухода французских солдат продолжалась кровопролитная борьба революции с контрреволюцией: с деникинцами, с войсками Петлюры. Только в феврале 1920 года в Одессе окончательно утвердилась советская власть.

В октябре 1917 года Багрицкий участвовал в персидской экспедиции генерала Баратова. Он поехал в Казвин, в земотряд, соблазнившись предложением своего друга С. Березова: бесплатное питание, легкая работа (Багрицкий работал делопроизводителем) и — экзотика! После Октябрьской революции, когда началось повальное бегство солдат с фронтов империалистической войны, Багрицкий вернулся в Одессу (в начале 1918 года). Былой политической беспечности не осталось следа: он стал другим человеком.

Багрицкий добровольно вступает в ряды Красной Армии. Его направляют в Особый партизанский отряд им. ВЦИК инструктором политотдела отряда. Он пишет агитстихи, листовки, воззвания. Воспоминания однополчан Багрицкого — пусть несколько восторженные, но, несомненно, искренние — позволяют увидеть живого Багрицкого тех дней: «Багрицкий — наш товарищ по партизанскому отряду... провел с нами горячие дни... т. Багрицкий пишет прекрасные стихи, воодушевляющие бойцов».[1]

Фронтовой агитатор Багрицкий воевал за освобождение Украины от махновских банд, участвовал в ликвидации так называемых верблюжских полков атамана Григорьева... В документально-достоверных сведениях, которые хранят многие стихотворения Багрицкого 1919—1924 годов, привлекает и азарт утверждения своего нового «я».

---

[1] Подробно о листовках Багрицкого см. статью В. Азарова «У истоков песни». — «Знамя», 1947, № 2.

Не я ль под Елизаветградом
Шел на верблюжские полки,
И гул, разбрызганный снарядом,
Мне кровью ударял в виски?

Весною 1920 года, после поездки в агитпоезде на фронт, Багрицкий вернулся в Одессу. Жители города голодали, не хватало топлива, в Одессе разгулялась эпидемия тифа... Но никогда прежде не переживали люди такого душевного подъема — революция победила окончательно. В Югроста — украинском отделении Роста — Багрицкий сразу стал одним из самых деятельных участников. Вместе с Олешей, Катаевым, Нарбутом, художником Б. Ефимовым и другими Багрицкий готовил плакаты, составлял к ним стихотворные надписи. Эти плакаты воевали с Врангелем и Деникиным, с голодом и тифом, призывали в строй борцов за революцию.

Много внимания отдал Багрицкий литературной жизни молодой советской Одессы: он редактировал специальную страницу одесских «Известий», где печатались стихотворения рабочих поэтов, читал лекции, участвовал в литературном кружке рабочих — «Потоки Октября».

Современность стала почвой и содержанием творчества Багрицкого. Настойчивое стремление сделать поэзию действенной привело Багрицкого в газету. Ведь ее читают миллионы! В 1919—1924 годах поэт постоянно печатался в одесских газетах «Известия»,[1] «Моряк», «Шквал», «Станок», журналах «Силуэты», «Облава», «Яблочко» и др. В это время поэзия Багрицкого жила главным образом впечатлениями и темами гражданской войны (хотя поэт регулярно откликался и на политическую «злобу дня»: ультиматум Керзона, Лозаннская конференция, восстановление заводов, антирелигиозная пропаганда и т. д.). Стихи о гражданской войне выделяются среди множества других своей поэтичностью.

Известно, что сам поэт впоследствии резко отрицательно отзывался о своих стихотворениях этих лет. Однако едва ли такой оценки заслуживают все его «газетные» стихотворения. Немалая часть их верно отражала героическую атмосферу гражданской войны.

Землю потрясали революционные взрывы: рождалось новое, небывалое. Революция захватила миллионы людей из народа, шквалом пронеслась над миром. И не случайно символом революции в ту

---

[1] «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета». В одесских «Известиях» Багрицкий печатался под псевдонимом И. Горцев.

эпоху стали образы бури, вихря, ветра. (На фронтоне второго дома Советов — теперь здесь музей им. Ленина — были выбиты знаменательные слова: «Революция — вихрь, отбрасывающий назад всех ему сопротивляющихся».)

Литературе этих лет свойственны вихревые ритмы и образы, резкая определенность мыслей и чувств, их символическая значительность. «Мировой пожар» пламенеет в строках «Двенадцати» Блока, они словно дышат ветром революции. Совсем не похожий на Блока Демьян Бедный сообщает своим героям стремительный ритм движения («Главная улица»). «Ветер», «Цветные ветра», «Буря»... Сами эти названия произведений Б. Лавренева, Вс. Иванова, Н. Асеева передают темпы эпохи, сокрушающей старый мир...

Искусство характеризуют резкие контрасты, предельный драматизм композиции: так воплощается борьба двух насмерть враждебных сил.

Черно-белые краски «Двенадцати» не знают переходов, полутонов. Художники революции пишут кистью только патетической или сатирической.

Литература почерпнула из потока безымянного творчества эту нарочито «примитивную» прямолинейность, плакатность, — увидела в них особую красоту. Психологическая убедительность, тонкая проработка характера, оттенки переживаний, индивидуальный характер человека — дело будущего. В литературе тех лет преобладает герой-масса («Мы», «Двенадцать», «Орда», «150 000 000»). Образы героев очерчены эскизно, плакатно-выразительно.

Революция и гражданская война — содержание стихотворений Багрицкого «Фронт», «Фронтовик», «Пятьдесят первая», «Освобождение», «Красная Армия» и ряда других. В них отразился живой опыт поэта, — в формах, свойственных искусству тех дней. Сюжет «Пятьдесят первой» (поход Перекопской дивизии!) — это бурное, нарастающее движение людских масс, это — непрекращающееся «упоение в бою», к которому причастна и природа.

...Скипелась кровь
в сраженье непрестанном,
И сердце улеем поет в дупле;
Колчак развеян.
Пылью и туманом,
В таежных дебрях, по крутой земле.
И снова бой...

«Мы», «орда», «лавина» — вот как рисует Багрицкий образ революционной массы, — цельный, как бы впитавший радость и стреми-

тельность революционного напора. Вот почему линия фронта — в кострах, которые «взлетают дыбом»; на полях наступления ревут метели, «в громе пролетают грозы», движение фронтового поезда кажется поэту недостаточно быстрым («Лети скорее! Пусть гремят мосты»), а люди обретают общее — огромное, яростное — сердце. Оно —

Чугунное и звонкое,
насквозь
Проеденное копотью и дымом,
Сопит насосами
и сыплет искры...

В такт движению эшелона колотится это сердце.

Композиция стихотворений приобретает схематичность. Характерный пример:

Рассыпались в России мы!
Кто шел на Колчака,
Кто врангелевцев донимал
Огнем с броневика.

А кто пошел гулять с Махно,
А кто под стенку стал,
А кто в полях
сажень земли
И пулю отыскал...

Это — каркас будущих обобщений о людских судьбах в буре гражданской войны. (Они появятся в «Думе про Опанаса».) Стихотворения верно воссоздают и аскетический склад, свойственный людям тех лет: они не только принимали трудности как явление неизбежное и естественное для сурового времени, но утверждали их в противовес «легкой», «красивой» жизни — этим «язвам» старого мира. И антиэстетичность становилась признаком подлинной красоты. Характерны такие образы: походные фуры выпячивают «холстину ребер», «широкозадый паровоз» измазан «нетопырьей сажей», и даже когда, предвещая победу, он превращается в архангела Гавриила, все же

...Дымные воскрылья
Над запотевшей плещутся спиной!

Красота стала суровой, трудной. Поэт меряет ее строгой и высокой мерой безраздельной верности революции.

Любопытно, что Багрицкий на всю жизнь сберег привычки и склонности тех лет: он всегда носил бекешу и сапоги, очень любил и хранил «военное»: оружие, снаряжение. Он мог часами слушать воспоминания солдат гражданской войны, и сам очень хотел казаться «воинственным». Однажды он, такой равнодушный к своим туалетам, буквально замучил сапожника, заказывая ему сапоги какого-то особого военного покроя...

Романтическая поэзия Багрицкого отражает и прошлое. Исторические сюжеты для Багрицкого — еще одно подтверждение справедливости и неизбежности Октября. Предками солдат социалистической революции оказываются «бунтовщицкая Русь», «мужичья рать»; а русские цари изображены не только угнетателями, но нередко и дегенератами. В стихотворениях «Чертовы куклы», «Москва», «Петербург» (впоследствии переименовано в «Ленинград», см. примечания, стр. 533) — конфликт «двух лагерей», где с одной стороны:

...восстают загубленные люди, —
И Стенька четвертованный встает
Из четырех сторон.
И голова
убитого Емельки на колу
Вращается,
и приоткрылся рот,
Чтоб вымолвить неведомое слово.

А на другом полюсе — «растрепанная рыжая царевна», «Дмитрий — барашек недобитый». Здесь Петр I —

Скуластый царь глядит вперед,
Сычом горбясь...
А под ногою
Болото финское цветет
Дремучим тифом и цингою.

Односторонность исторической точки зрения Багрицкого сочеталась со своеобразной «модернизацией» образов: поэт не стремился воссоздать исторический и национальный колорит прошлого; в его «исторических» стихотворениях звучат знакомые мотивы разгулявшейся бури, метели (первому варианту «Чертовых кукол» был предпослан эпиграф из пушкинских «Бесов»: «Мчатся тучи, вьются тучи...»). Настроение, мысль, современный пафос господствуют над бытовым очертанием образов, формируют грубоотесанные олицетворения и символы (1905 год, например, это — «крутоголовый бык, копытом бьющий травы»).

Поэзию Багрицкого 1919—1924 годов населяли не только солдаты революции и персонажи исторические, но и птицелов Дидель, английский матрос Майкель, нидерландский бунтарь Тиль Уленшпигель («Птицелов», «Песни английских моряков», «Баллада о Виттингтоне», цикл «Тиль Уленшпигель» и др.). Эти произведения обычно называли «книжными» — поэт опирался в них на литературные источники, и критики двадцатых и тридцатых годов считали их далекими от жизни. Этот взгляд уже давно отвергнут. Достаточно представить себе атмосферу тех лет, для того чтобы ощутить современное звучание «книжных» стихотворений Багрицкого.

В те годы зрительный зал восхищенно аплодировал, когда смелая Лауренсия призывала испанский народ к восстанию против палачей («Овечий источник» Лопе де Вега); зрителей — рабочих и солдат — возмущало коварство власть имущих, погубившее добрую и беззащитную Луизу Миллер («Коварство и любовь» Шиллера). Они горячо откликались на гневные монологи Карла Моора: «О, если б я мог призвать к восстанию всю природу, и воздух, и землю, и океан, и броситься войной на это гнусное племя шакалов. . .» («Разбойники» Шиллера). Новой жизнью в те дни стали жить и Овод, и Спартак, и Тиль Уленшпигель — герои одноименных романов о народных революциях прошлого.

Галерея «книжных» стихотворений Багрицкого открывается «Птицеловом». Правда, здесь еще нет мятежных героев — наиболее близких современности. Дидель похож на немецких миннезингеров, певших свои песни о природе и о любви на дорогах средневековой Германии: в нем воплотился идеал раскрепощенного человека, будто слившегося с миром вольной природы. Этот идеал был созвучен первым творцам «царства свободы». Счастливое чувство независимости от порабощающих человека буржуазных «ценностей» прорывается через все образы «Птицелова». Оно звенит в радостной перекличке героя с птицами, в самом умении Диделя понимать их вольные голоса, в уподоблении мира «огромной птице», заливающейся счастливой трелью. Это чувство — в образах дорог и лесов: они становятся прекрасными и бескрайними «дорогами жизни». Дидель — бродяга, но нет на нем нищенских лохмотьев, и скитается он не в поисках куска хлеба или случайного крова. Наоборот: он презирает «кров и дом»; его крыша — необъятное небо, а пристанище — дороги мира и моря́. «Мир как птица», «хмельная Бавария» — эти образы достаточно просторны и условны, чтобы стать символом устремленной вдаль свободной души. В этом сказывается гармонически ясная, ничем не затуманенная влюбленность поэта в жизнь новую, небывалую — свободную! Поэтому и краски предельно

яркие, «звонкие», и звуки ликующие. Прав И. Сельвинский — в Диделе есть что-то «наивное и вместе с тем эпически-величавое».[1]

Одним из любимых героев Багрицкого надолго стал Тиль Уленшпигель, предводитель нидерландского народного восстания, борец против гнета и несправедливости — образ, навеянный романом Шарля де Костера.

В те дни люди так живо и страстно ожидали, что вслед за Октябрьской революцией, вслед за революционными взрывами в Германии и Венгрии подымется народ всего мира!

Не только героическое начало привлекло Багрицкого к Тилю Уленшпигелю, но и его народный юмор, лукавство, любовь к солоноватой шутке, неиссякаемое жизнелюбие. Само название романа Шарля де Костера намекает на это: «Легенда о героических, веселых и доблестных приключениях Тиля Уленшпигеля и Ламме Гудзака во Фландрии и других странах».

Цикл о Тиле состоит из пяти песен. Лучшие, передающие народно-героический пафос революции, — «Монолог 1», «Монолог 2» и «Ламме» — написаны в 1922—1923 годах.

Искреннее восхищение поэта заключено в рассказе о Тиле — хитроумном и мужественном борце против испанских инквизиторов.

В испанский лагерь, ветерком провею
Там, где и мыши хитрой не пролезть.
Веселые я выдумаю песни
В насмешку над испанцами, и каждый
Фламандец будет знать их наизусть.

Самое современное и волнующее в монологах Тиля — патетический мотив революционного долга и чести, верности делу, за которое сложили головы лучшие сыны Родины.

...Отец Тиля Уленшпигеля — угольщик Клаас был сожжен на костре инквизицией. Его пепел (Тиль всегда носил его в ладанке на шее) — постоянное, жгучее напоминание о муках народа, об отмщении. Это — центральный мотив стихотворений; он звучит в подтексте многих сцен и выходит «на поверхность» как клятва, как утверждение недремлющей совести народа:

...И когда
Хотя б на миг я позабуду долг
И увлекусь любовью или пьянством

---

[1] «Альманах», стр. 381.

Или усталость овладеет мной, —
Пусть пепел Клааса ударит в сердце!

Сочетание героического и «простонародного», юмора и патетики в пределах небольших стихотворений создавало резкую контрастность стиля, соответствовало крупным, броским — без детализации и полутонов — образам. Вот как (весело и серьезно) созывает Тиль народное войско:

— Эй, кузнецы, довольно
Ковать коней и починять кастрюли,
Мечи и наконечники для копий
Пригодны нам поболее подков...

Тиль — жизнелюбец. Неустанно шагая по дорогам и городам Фландрии, собирая народное войско, он заглядывает то в кабачок, то к веселой вдовушке, то на живописный базар. Эти «жанровые» сценки Багрицкий рисует живо, сочно, колоритно:

Здесь пыльно-фиолетовые сливы
Навалены в холщовые мешки,
Здесь золотистым (переливом) яблок
Озарены плетеные корзины.
А далее — на цинковых столах,
Зазубренные жабры раздувая,
Распластанные камбалы лежат.

Критика уже давно отметила «фламандскую» выразительность и живописность стихотворений Багрицкого, так же как и влияние поэзии акмеизма, с присущими ей предметностью, вещественностью изображаемого. Конечно, главный «учитель» Багрицкого — революционная действительность, свойственная той поре «возрожденская» атмосфера, могучая жизнерадостность. Она-то и придавала поэту сходство с Рабле, Рубенсом. Иное дело — «совпадение» некоторых особенностей поэзии Багрицкого с чертами поэтики акмеизма. Ведь корни творчества Багрицкого и, скажем, Гумилева совершенно различны! Но известно, что Багрицкий ценил произведения Нарбута, Зенкевича — советских поэтов, ранее связанных с акмеизмом, — за мастерскую выделку словесной ткани, полновесность образов.

Революция, щедро одарившая людей свободой, дала им счастье понимания поэзии, красоты. В стихотворениях о Пушкине («Когда в крылатке, смуглый и кудлатый...», «Одесса», «И Пушкин падает

в голубоватый...», 1922—1924) и «Александру Блоку» (1922) Багрицкий утверждает единство революции и творчества. В стихотворениях Багрицкого воскресает живой, сосланный в Одессу Пушкин и одновременно возникает как бы олицетворенное вдохновение, преображающее все вокруг. Образ Пушкина — символ прекрасной, вдохновенной поэзии — Багрицкий демонстративно вводит в круг образов революции; он утверждает гражданственность поэзии Пушкина, напоминает о трагической жизни и смерти поэта. Только революционная Россия стала его настоящей родиной, только теперь по-настоящему может быть понята свободолюбивая муза Пушкина, ее красота. Все это звучало в те дни полемично. Ведь немалым было недоверие к Пушкину, его поэзия казалась «буржуазным пережитком», ее сладкозвучие и гармония вызывали презрительное отношение (вспомним, как отзывались о Пушкине вхутемасовцы в известной беседе с ними В. И. Ленина). Но не нужно думать, что это недоверие было всеобщим или даже преобладающим: многие тянулись к поэзии, красоте, творчеству великих классиков прошлого.[1]

Спор о Пушкине в начале двадцатых годов был частью более общего спора по поводу судьбы советского искусства. Литературные взгляды лефовцев, их ставка на «голый факт» в какой-то мере влияли на литературу, сбивали с толку молодых писателей. Теоретики Лефа издевались над понятиями «воображение», «творческая фантазия», без которых немыслимо искусство. Багрицкий был одним из первых поэтов, кто восстал против их теорий и практики, кто азартно и убежденно ратовал за права мечты-воображения. С этой точки зрения не только стихи о Пушкине, но и «Птицелов» и «Тиль Уленшпигель» — произведения программные. Багрицкий задался специальной целью доказать могущество воображения, фантазии. Так была написана драматическая поэма «Трактир» (1920) и поэма «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце» (1922).

Поэме о Летучем Голландце Багрицкий предпослал вступление:[2]

От пролеткультовских раздоров
(Не понимающих мечты),
От праздных рифм и разговоров
Меня, романтика, умчи!..

---

[1] См. анкету о Пушкине — ее разослала редакция журнала «Книга о книгах»; в №№ 5—6 за 1924 г. были опубликованы итоги анкеты.

[2] Это вступление было прочитано Багрицким на обсуждении «Летучего Голландца» среди журналистов и поэтов. Подробнее об этом см. примечания, стр. 534.

Вступление оканчивалось обращением к читателям, от имени которых выступали и пролеткультовцы, и лефовцы, смело утверждавшие, что «пролетариату не нужны вымышленные миры»:

Пусть, важной мудростью объятый,
Решит внимающий совет:
Нужна ли пролетариату
Моя поэма — или нет!

Поэме «Трактир» предпослано два посвящения — ироническое и романтическое. Их озорные интонации и непосредственное соседство настраивают на определенный лад: мы приготовились услышать фантастическую историю, которую автор расскажет нам, весело улыбаясь своей выдумке... И действительно, перед нами разворачивается «сказочное» действо: житель мансарды, вечно голодный служитель муз, совершает путешествие на небо («небо» — это трактир «Спокойствие сердец», а бог — его хозяин). Поэта сопровождает ангел (он же — «рассыльный из трактира»). А ремарка предупреждает: на сцене — крутая лестница, уходящая в небо...

В тот же гротескный мир фантастики попадаем мы, путешествуя на борту «Летучего Голландца», бороздящего океаны, как утверждает легенда, вот уже много веков... «Летучий Голландец» вошел на момент в неведомую рыбачью бухту; капитан судна бросил на грубый стол кабачка алую розу. Все вокруг расцвело и заблагоухало, а затем снова проступили серые, скользкие стены кабачка... Сказочное судно умчалось.

Поэт мастерски имитирует героический стиль древних саг, его тяжеловесную энергию; но эта игра — не всерьез, здесь «ужасное» комически утрировано, заострено...

Значит ли, что в поэмах «Трактир» и «Летучий Голландец» поэт утверждает преимущество красивой мечты над «серой действительностью»? Ведь только сказка украсила на миг унылую жизнь посетителей кабачка («Летучий Голландец»). И наоборот: сказка, красота поэзии, погибла в трактире «Спокойствие сердец»: поэт, герой поэмы, разжирел и перестал писать свои прекрасные стихи. [1]

Едва ли можно согласиться с подобным выводом. Багрицкий далек от мысли утвердить мечту в противовес жизни, — он говорит лишь о мощи мечты-воображения. Как бы опасаясь слишком бук-

[1] В новом варианте «Трактира» (1933) Багрицкий изменил финал: поэт рвется «с неба» назад на землю.

вальных толкований «Летучего Голландца», Багрицкий предпослал поэме обширную цитату из сказаний Свена-песнетворца, уже здесь мы знакомимся с викингами, их богом Одином, валькириями. Поэт как бы вводит нас в курс своих подлинных намерений: «разыграть» сказку в духе древних. Но и этого ему мало: поэму открывает еще одно введение, в нем содержится намек на замысел — передать впечатление от вагнеровских опер «Валькирии», «Летучий Голландец» (Вагнер был одним из любимых композиторов Багрицкого). Вот почему произведения, подобные «Сказанию о море, матросах и Летучем Голландце», — те, что приветствуют мечту, — тоже «нужны пролетариату». К такому выводу пришли «в результате пылкой дискуссии» журналисты, обсуждавшие в один из мартовских вечеров 1922 года поэму Багрицкого.

2

До сих пор поэзия Багрицкого была радостной, воодушевляющей, счастливой. После 1924 года в ней проявляются иные мотивы. Обозначим новый период творчества поэта датами 1924—1928, имея в виду годы нэпа, историческую эпоху, сменившую пору гражданской войны (некоторое несовпадение во времени: начало нэпа — 1921 год; искусство не следует за жизнью автоматически). Багрицкий по-прежнему пишет о главном: о революционном идеале, о красоте человека. По-прежнему обширно поле его поэзии: это целый мир, это — Человек, его предназначение. Но взгляд поэта потемнел: новая действительность, думает он, изменила героическим идеалам... Поэт рыцарски верен им, но это никому не нужно, наивно и трагично.

Нэп был сложной эпохой в нашей жизни. Советская литература в целом не утратила веры в жизнь, в ее революционные идеалы и перспективы, но в творчестве целого ряда поэтов, в числе которых были Багрицкий, Тихонов, Светлов, Асеев, Дементьев, сказалось и настроение тех, кто был до конца предан идеалам революции, однако, на первых порах, не сумел разглядеть их в изменившейся жизни. Именно — на первых порах. Произведения, подобные «Трактиру, 2» [1] или «Стихам о поэте и романтике», — только начало пути, по которому прошел Багрицкий в эти годы, пути трудного, ведшего к новой, мудрой гармонии поэта и действительности. Багрицкий

---

[1] Имеется в виду «Трактир» (Опыт лиро-эпической сатиры) — переработанная в 1927 г. 2-я редакция поэмы «Трактир».

почти одновременно писал эти горькие стихи и мужественную, оптимистическую «Думу про Опанаса». Даже в самых грустных стихотворениях Багрицкого этой поры звучит гражданская нота — любовь к идеалам революции, хоть поэту и кажется, что они никому, кроме него самого, не нужны. В этих стихах заключен мощный заряд ненависти к мещанству, хоть поэт и преувеличивал его силу. Эти стихи защищают красоту и поэтичность человеческой души. Антинэпманские стихи Багрицкого не только свидетельство его полемики с эпохой; в них — пусть поначалу болезненное — приближение поэта к «земле» — конкретной повседневности.

«Стихи о соловье и поэте», «От черного хлеба и верной жены», «Стихи о поэте и романтике», «Трактир, 2», «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» можно рассматривать как главы «романа в стихах» — своего рода поэтической исповеди Багрицкого, пронизанной поисками революционного идеала и своего места в жизни. Этот «роман» не лишен своего сюжета: постепенно светлеет на душе у героя, меняется его отношение к миру. Откроем первую главу: «Стихи о соловье и поэте», «Стихи о поэте и романтике», «Трактир, 2». Здесь запечатлен разлад поэта с «прозаической», мещанской действительностью.

...И птица поет. В коленкоровой мгле
Скрывается гром соловьиного лада...
Под клеткою солнце кипит на столе —
Меж чашек и острых кусков рафинада.

(«Стихи о соловье и поэте»)

Неистовые чувства романтика Багрицкого обрушиваются на главного врага революции — мещанство. Любимые романтические образы — мир, солнце, птица, символизирующие красоту, отражаются в кривом зеркале пошлых, мещанских взглядов:

...Два солнца навстречу: одно над землей,
Другое — расчищенным вдрызг самоваром.

Мир замкнут пределами базара, свободная птица — в плену, а «солнце» обывателей — «жратва»:

И прямо из прорвы плывет, плывет
Витрин воспаленный строй;
Чудовищной пищей пылает ночь...

Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатой кислотой.

Выразительная красота оптимистического натюрморта первого варианта «Трактира» теперь обернулась желчной, полной угрозы картиной. Эта чудовищная фантасмагория «жратвы» — символ «желудочного быта» обывателя. В «Трактире, 2» условные очертания обстановки приобрели конкретные приметы нэповской действительности. Фантастический путь ангела («рассыльного из трактира») пролегает через улицы Москвы, мимо зловещих витрин, церквей, помойных ям...

Сила этих стихов в резкой критике нэпманских идеалов, в гражданской активности поэта: быть начеку, оберегать революционное человечество от бациллы собственничества.

Стихотворения «О соловье и поэте», «О поэте и романтике» утверждают душевную красоту, поэтичность человека. Правда, Багрицкий думает пока, что только романтическому поэту доступно наслаждение природой: «черемуха, полночь и лирика Фета» — его защита от обывательщины. Образ романтического поэта утверждал отзывчивость человека прекрасному. Этот образ противостоял литературным «бодрячкам», отстаивал права многообразных человеческих чувств. Иные критики, полагая, что охраняют чистоту оптимистического мировоззрения, возражали против печали, сомнений. Один из критиков заявил даже: если поэт испытывает грусть, то уж лучше пусть он умолчит о таком грехе... Откровенность горьких признаний Багрицкого человечна; она вызывает уважение к честности и силе чувства. Пусть воодушевленное нэпом мещанство отняло у поэта на время радость. Но он сумел не отвести глаза от беды, прошел горькую, но благотворную школу жизни.

Откроем вторую главу стихотворного «романа» Багрицкого о романтическом поэте и действительности — «От черного хлеба и верной жены...». Это — новый этап эволюции героя. Поэт снова с обезоруживающей прямотой говорит о себе: трагедия не снимается, но виновато в ней уже вовсе не время, а сам герой. Он был слеп и слаб, он не увидел «трубачей молодых», не услышал сигналов боевой трубы. В стихотворении выражены разные чувства: и гордость за эпоху, которая не изменила революционным идеалам, и щемящее сожаление о человеке, отставшем от времени, и грустная ирония:

Нам нож — не по кисти,
Перо — не по нраву,

Кирка — не по чести,
И слава — не в славу:
Мы — ржавые листья
На ржавых дубах...

Впервые звучит у Багрицкого мотив связи времен, преемственности революционных эпох. «Молодые трубачи» взяли эстафету боевых традиций Октября из рук первого поколения революции:

Копытом и камнем испытаны годы,
Бессмертной полынью пропитаны воды...

В том же 1926 году Багрицкий написал поэму «Дума про Опанаса»: тема революционных традиций широко развернута в ней. Эта тема станет одной из главных в творчестве поэта.

Третья, завершающая веха эволюции героя поэзии Багрицкого этих лет — «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым», «Вмешательство поэта», «Всеволоду». Пройдя через трагедию, вполне разделяемую автором, став на время фигурой, овеянной иронией, герой растет, и теперь — по плечу эпохе. Поэт утверждает его единство с племенем «молодых трубачей»:

Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

В «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым» речь идет как будто бы только о грядущей войне. Багрицкий выбирает себе роль военспеца, Дементьеву — военкома; об этом говорит и выразительный антураж стихотворения: «сабля», «цейс», «казенная обувь», «походная сумка». Но поэзия не терпит буквального прочтения. Она теряет от этого свое обаяние и более широкий смысл. Тут речь не только о возможной войне, но о «боях и походах» в их метафорическом значении: о героической сущности мирных, будничных дел, о крылатой душе строителей новой жизни.

В 1928 году, как бы подводя итог первым двум этапам своего творчества, Багрицкий публикует сборник «Юго-Запад»: сюда вошли лучшие стихотворения поэта, начиная с «Птицелова».

Багрицкий утверждает новое мироощущение, героический пафос эпохи. Он продолжает развенчивать позицию мнимого превосходства над жизнью, которую прежде занимали его герои («От черного хле-

ба и верной жены...» и другие стихи). Не потому ли Багрицкий обрушивает град насмешек на «святая святых» поэзии — романтику?

...Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет «nevermore» он
По Эдгару По...
«Повернитесь, встаньте-ка.
Затрубите в рог...»
(Старая романтика,
Черное перо!)

Вскоре романтика будет восстановлена в своих законных правах. А теперь поэт делает ее ответственной за непонимание жизни; особенно достается ей во «Вмешательстве поэта». Здесь появляется образ критика, которому по вкусу та романтика, которая не зависит от будничной жизни. В таком духе выступил перевальский критик А. Лежнев в статье «Разговор в сердцах»,[1] он осудил Светлова и Багрицкого за отказ от «вольных» героев, за обращение к повседневности. Выражение А. Лежнева «Багрицкий — романтик, начавший линять» поэт взял эпиграфом к своему стихотворению,[2] которое является прямым ответом А. Лежневу. Весь строй образов стихотворения направлен против позиции критика:

...Ваш взгляд от несварения неистов.
«Прошу, скажите за контрабандистов,
Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма, —
Ах, для здоровья мне необходимы
Романтика, слабительное, бром!..»

В связи с наступлением на романтику меняется облик романтического героя Багрицкого: никаких внешних примет красоты и поэтичности! Он, этот новый герой, задиристо-прозаичен и ироничен: это Коля Дементьев, это комиссар Коган («Дума про Опанаса»), это — ветеринар, рыбовод, ихтиолог («Победители»). Конечно, не только полемические задачи толкали Багрицкого к снижению романтического героя и традиционных тем. Здесь надо говорить о влиянии самой жизни, с ее внешне скромной, «простой» героикой.

---

[1] «Новый мир», 1929, № 11.
[2] В журнальной публикации, см. примечания, стр. 522.

Отголоски спора делают этих героев не только прозаичными (это Багрицкий сохранит навсегда), но и подчеркнуто «некрасивыми».

Вскоре по приезде в Москву Багрицкий вступил в литературную организацию «Перевал», а менее чем через год перешел в группу конструктивистов. В ту пору далеко не всегда участники той или иной из многочисленных литературных группировок разделяли ее программу и даже всерьез вникали в существо дела. Как верно отмечает А. Макаров,[1] нередко вступление писателя в группу зависело, например, от личных симпатий к ее членам. (Вероятно, Багрицкий потому и перешел к конструктивистам, что дружил с Сельвинским и любил его поэзию. Идеи и теории конструктивизма были ему совершенно чужды.) Но, думается, что «Перевал» привлек Багрицкого не случайно.

Не стоит упрощать вопрос и объяснять взгляды Багрицкого на нэп влиянием этой группы. Известно, например, что входившему в «Перевал» А. Малышкину такие взгляды свойственны не были, тогда как не входивший в «Перевал» А. Толстой их полностью разделял.

Что привлекло Багрицкого к «Перевалу»? В перевальских манифестах, в противовес РАППу, много сделавшему для сплочения сил молодой пролетарской литературы, заметное место занимала пропаганда психологизма и эмоциональности искусства. В частности, перевальцы привечали поэтов-романтиков, тогда как рапповская критика буквально преследовала их за «индивидуализм», «субъективизм», совершенно не понимая, что и они пишут о жизни — только на своем, «романтическом» языке. Багрицкий мог сначала и не разглядеть, что пропаганда эмоциональности, характеров психологически сложных и тонких на деле нередко обращалась в утверждение «индивидуумов» внесоциальных, «биологических». О причинах своего ухода из «Перевала» Багрицкий говорил, как всегда, шутливо: «Там нужны стихи о березках, а у меня написано о дубах».[2] Свою оценку «Перевала» Багрицкий выразил в известной степени и стихотворением «Вмешательство поэта», где справедливо осудил эту литературную группу за презрение к героизму современности, за отвлеченный эстетизм.

Одновременно с антинэповскими стихами Багрицкий пишет такие стихотворения, как «Арбуз», «Контрабандисты», «Кинбурнская коса», «Весна», героем которых является, наряду с человеком, природа. «По живому чувству природы, — справедливо отмечает

---

[1] А. Макаров. Разговор по поводу. М., 1959, стр. 224.
[2] «Альманах», стр. 152.

П. Антокольский, — стихи Багрицкого равны лучшему, что было написано в русской поэзии».[1] Уже в раннюю пору жадное внимание поэта приковано к жизни природы, к ее обитателям — рыбам, птицам. Багрицкий умеет видеть то, что не покажется на глаза «непосвященному»: быстрый пробег бычка под водой, хищный взгляд камбалы, причудливое соцветие кораллов (недаром поэт не расставался с миром природы даже дома: клетки с птицами и аквариумы всегда занимали много места в его комнате). Багрицкий не просто умеет видеть жизнь природы — он приветствует ее торжество. Живое чувство природы у Багрицкого романтично: природа в поэзии Багрицкого — «зеркало души» его героя. Зеленые леса, бескрайние дороги и моря́ — это вольный дом птицелова, рыбака, матроса; все здесь созвучно их радостному мироощущению.

Природа отражает душу и других, более поздних героев Багрицкого, приобретая иную окраску.

> ...Сквозь волны — навылет!
> Сквозь дождь — наугад!
> В свистящем гонимые мыле,
> Мы рыщем на ощупь...
> Навзрыд и не в лад
> Храпят полотняные крылья.

Так говорит Багрицкий о бурном море, в котором погибло суденышко, перевозящее арбузы. Но разве тонет просто арбузный дубок? Идет на дно жизнь человека...

Однако это море не только гибельное. Оно передает и характер человека, его исступленное упоение стихией, желание померяться с нею силами, укрепить веру в себя.

В «Контрабандистах» мы угадываем мятежную душу человека, не находящего себе применения (здесь, как и в «Арбузе», заметна перекличка с настроениями антинэпманского цикла). Доминирующее чувство подчиняет себе сюжет стихотворения (отчаянный рейс контрабандистов), диктует резкую определенность финала:

> Так бей же по жилам,
> Кидайся в края,
> Бездомная молодость,
> Ярость моя!

---

[1] П. Антокольский. Поэты и время. М., 1952, стр. 92.

Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу...

Возникает необходимость опровергнуть тех критиков, которые совершенно всерьез отнеслись к вопросу: что лучше — уподобиться контрабандистам, «иль правильней может, сжимая наган, за вором следить, уходящим в туман» (мол, тогда поэту еще было неясно — что лучше?). Ведь очевидно, что здесь Багрицкий вовсе не тщится решить вопрос: «Кем быть?», а лишь эмоционально выражает кипучую, мятущуюся душу героя.

Чувство горькой удали влияет и на характер образов Багрицкого. Они замешены на терпких дрожжах, их плоть осязаема, «грубошерстна»: «ерзает руль», «трутся арбузы», «море топочет, как рынок», «в два пальца, по-боцмански ветер свистит», берег «кустарником свищет» и т. д.

Стихотворения, написанные Багрицким в 1924—1928 годах, отличаются не только новым — по сравнению с предшествующим периодом — содержанием, идеями, настроениями. Изменился их стиль.

И Дидель, и Тиль Уленшпигель, и Солдат, при всей своей эмоциональности, при всей своей «эпической» объективности, были условны, почти бесплотны. Теперь большинство стихотворений — лирические, их главное действующее лицо — лирическое «я». Обобщенность лирического героя проступает через довольно конкретные, живые характеры. Таков, например, бродяга-матрос («Арбуз») или поэт — любитель соловьев («О соловье и поэте»). Багрицкий «входит в образы» драматизированного стихотворения «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым». В это же время он пишет остро сюжетную, насыщенную выразительными диалогами поэму «Дума про Опанаса», задумывает пьесу. Характеры героев Багрицкого усложняются (насколько это вообще возможно для небольшого стихотворения). Так, герою «Контрабандистов» свойственна и мятежность духа, и неудовлетворенность жизнью, и легкая насмешка над самим собой...

Но это не переводит поэзию Багрицкого в конкретно-бытовой ряд. Она — по-прежнему романтическая — подчиняет себе новые художественные средства. Эпичность характеров, вещественность образов, бытовые детали, объективные черты сюжета — все служит Багрицкому-романтику.

Вот вышел в море парусный дубок. Все очень достоверно: «Арбуз на арбузе — и трюм нагружен», «и трутся арбузы, и в трюме

темно»... Метко схваченной жанровой сценкой открываются «Стихи о соловье и поэте»:

Ко мне продавец:
«Покупаете? Вот
Как птица моя на базаре поет!
Червонец — не деньги! Берите! И дома,
В покое, засвищет она по-иному...»

Такие описания хороши и сами по себе. Они, однако, почти не замаскированный ход в отвлеченный сюжет — «поэт и мир», — который раскрывает жизненную позицию героя, его отношение к обществу. Все дальнейшее развитие сюжета, не скрепленное мотивировками и настойчиво выдвигающее мотив одиночества, свидетельствует об этом.

А детали? Яблоки и апельсины, куски рафинада и самовар лишились своих обычных форм, пропорций и значения. Бытовая деталь заострена, «сдвинута», гиперболична и может стать символом. Исступленные чувства поэта нагнетаются и все больше влияют на поэтику стихотворений. Возникают словесные образы-удвоения, образы-параллели, образы-контрасты. С поразительной настойчивостью поэт обращает наше внимание на такие удвоения — слов, синтаксических конструкций, речевых оборотов:

Сквозь волны — навылет!
Сквозь дождь — наугад!

...Нам нож — не по кисти,
Перо — не по нраву...

...Во славу природы
Раскиданы звери,
Распахнуты воды...

Справа — курган,
Да слева — курган...

Поэт сдваивает строку, образует два полустишия: этим достигается бóльшая энергия, стремительность, ударность («Контрабан-

дисты», «Весна» и др.). Энергия, заложенная в этом сдвоенном образе, увеличивается благодаря повторам звуков.

Звукопись у Багрицкого отличается резкостью. Поэт любит сочетания «жестких» звуков:

...Ворот скрипит: стопорит ржа;
Шлюзы разъезжаются визжа...

...Жуки на березах.
Туман. Жара.
На журавлей урожай...

Обилие восклицательных и вопросительных интонаций. Они тоже следуют подряд, точно силясь обогнать друг друга, создавая поэтическую напряженность. Разбить строку на два полустишия или выделить одно слово в отдельную строку, заостренную вопросом или восклицанием («Наотмашь!», «Пошел!») — значит усилить напряженность интонации. Укороченные строки чередуются с обычными: инерция ритма нарушена, его мерное движение внезапно и резко заторможено:

Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера...
Ты выслушан,
Взвешен,
Расценен в рублях...

К тем словам, которые поэт выделил в короткие строки, ему нужно привлечь особое внимание читателя.

Большинство примеров взято из произведений 1924—1928 годов. Некоторые ранние произведения могут дать материал для таких же наблюдений («Летучий Голландец», ряд стихотворений о гражданской войне); но в те годы все же преобладали иные, более спокойные и обычные интонации, традиционный поэтический синтаксис.

Проблематика, идеи и жанры поэзии Багрицкого сильно изменятся в последующие годы социалистического наступления. Изменятся краски его романтической палитры. Но черты стихотворной системы, найденные в 1924—1928 годах, в основном сохранятся и разовьются.

В 1926 году Багрицкий написал «Думу про Опанаса» — одно из самых значительных произведений советской поэзии. В «Думе» воскрешались картины борьбы народа за свободу Украины, сталкивались две человеческие жизни: героя-комиссара Когана и Опанаса, который пошел «третьим путем» — стал предателем и за это поплатился душевной трагедией. Поэт не просто оглядывался на героическое прошлое, а по-своему «вопрошал» его о самых жгучих делах современности, надеялся найти — и нашел! — крепкую нить революционных традиций, которая связывает прошлое и настоящее. Багрицкий увидел гражданскую войну не в свете романтических переживаний и даже не в ореоле аскетического служения долгу, что было естественным в свое время. Теперь впервые открылась поэту историческая перспектива. Революция — величайшее благо человечества — была завоевана кровью сыновей народа; она шла к исторической победе через трудности, жертвы, трагедии.

Герои революции — ее «чернорабочие»; их дело — нередко будничное, «невзрачное» (сбор продразверстки, например: этим делом занимается отряд комиссара Когана). Здесь тоже проходит передовая линия фронта. Недаром комиссар погибает так же мужественно, как он сложил бы голову в бою.

Багрицкий вспоминает: «Каждый из нас пережил так много, за нашими спинами такой большой материал, мы видели столько людей. Мы видели, как потрясался мир, мы переносили это на своих плечах».[1] Именно в «Думе» впервые отразился «потрясенный мир»: ранние стихотворения — «Фронт», «Фронтовик», «Красная Армия» — только коснулись «большого материала» гражданской войны. Задуматься над судьбами людей в революции, показать их историческую роль, определяемую событиями, народом, — означало написать эпопею. Такие замыслы отличали многих: в середине двадцатых годов (а к десятой годовщине Октября — особенно) у советских писателей окрепло ощущение истории; они увидели революцию как бы с высоты: яснее стала общая картина, ее главные черты и закономерности. Алексей Толстой пишет «Восемнадцатый год», Шолохов — «Тихий Дон», Маяковский создает «Хорошо!»...

Багрицкий не предполагал нарисовать широкую и полную картину гражданской войны на Украине. Ни ее подробностей, ни массовых сцен, ни обстоятельного психологического рисунка нет в ро-

---

[1] Архив ИМЛИ. Неправленая стенограмма беседы Э. Багрицкого с пионерами.

мантической поэме. Взято несколько ярких ситуаций, проливающих свет на жизнь настоящего человека и его антагониста. Создан поэтический образ борющейся, страдающей и побеждающей родины.

Эпический склад «Думы про Опанаса» подчеркивают некоторые шевченковские мотивы и ее эпиграф — строки из поэмы Шевченко «Гайдамаки» (поэма посвящена борьбе украинского народа против польской шляхты):

Посіяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони його жали.
Що мусим робити?

Гайдамацкое движение закончилось поражением. Трагический и героический мотив поэмы Шевченко как бы вливается в «Думу»: но теперь, на полях гражданской войны, народ собрал «жито» — плоды многовековой борьбы вольнолюбивого народа. Образ «жито молодое», передавая далекую эстафету борьбы, становится одним из центральных эпических образов поэмы Багрицкого.

Патриотическую преемственность борьбы — за свободную Украину — Багрицкий видит и в далекой древности, когда вещий Боян призывал к объединению Руси («Слово о полку Игореве»). Багрицкий озвучил свою поэму голосами природы так же, как это много веков назад сделал автор «Слова». Образы легендарной птицы Див, которая кличет «връху древа» и «лисиц, что брешут на чръвленыя щиты», пробив колоссальную толщу времени, оказались уместными в пейзажах «Думы про Опанаса».

Див сулит полночным кличем
Гибель Приднестровью...

Прыщут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брешут рыжие лисицы
На чумацкий табор...

Конечно, подобные образы создают прежде всего эмоциональную атмосферу (тревоги, угрозы). Но они, как и перекличка с Шевченко, — условный знак патриотических традиций народа, его поэзии.

Борьба украинского народа за свою отчизну воплощена поэтом в поединке армии Котовского и Махно. В этих эпизодах колоритно

выражен дух свободной Украины, мрачные силы махновщины, победа революции.

Романтика Багрицкого проникает в сложную область исторических событий.

В системе ярких контрастов, предельно сжатое, «спрессованное», без переходов, движется действие.

Исторические лица — Котовский, Махно, сцена боя очерчены колоритно, «лихо», многозначительно. Так, портрет Котовского выполнен в стиле народного героического эпоса — Багрицкий любуется богатырской силой и статью удалого полководца:

Ходит ветер над возами,
Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский...

Это соответствует замыслу — написать поэму как бы от лица народного сказителя, кобзаря. Отсюда и название поэмы — «Дума» (в черновых вариантах она называлась «Опанас»). Свой характерный колорит народно-поэтическому стилю эпопеи придают фольклорные образы. Они повторяются в поэме, приобретают вес постоянных поэтических формул. Это и обращения к родине («Украина, мать родная»). Это — традиционный образ доли-судьбы («Опанасе! Наша доля машет саблей в поле»; «Опанасе, наша доля туманом повита»), это — частые повторы и т. п.[1]

Эпическая линия «Думы про Опанаса» тесно соприкасается с судьбами героев поэмы — Опанаса и Когана: «человек и революция», «человек и народ» — вот идея, которая прежде всего интересует Багрицкого. В жанрах романа-эпопеи, поэмы-эпопеи роль исторических картин обычно подчинена задаче изображения человека. Пути героя измерены высокой мерой верности революции, родине.

В истории Опанаса нет второстепенных или вставных эпизодов: ее рисунок стремителен и целеустремлен. Здесь все состоит из острых, поворотных моментов: бегство из продотряда, переход в банду Махно, расстрел комиссара, поединок с Котовским, суд над Опанасом, приговор к смертной казни. Неумолимо и катастрофически быстро разворачиваются события, резко обнажая зависимость исто-

---

[1] Подробно об этом см. в статье Л. Мышковской «Заметки о стиле „Думы про Опанаса“». — «Литературная учеба», 1935, № 2—3.

рических причин и последствий поведения героя: он бросил винтовку, потому что его просто потянуло домой, к пашне — он вовсе не предполагал, что попадет к Махно и станет предателем. Опанас — трагический герой. Дело не только в непреднамеренности его перехода к Махно. Опанас — «крестьянский сын», ему бы «воевать солдатом» Красной Армии, а он вышел против своих же братьев с оружием в руках...

Багрицкий очертил глубоко трагическую коллизию между субъективно «безвредными» для народа побуждениями героя и их объективным смыслом, — обнажил историческую слепоту Опанаса, как первопричину его падения. Трагедия нередко объясняется заблуждением героя, и состоит она в неизбежной расплате за свою ошибку: героя ждет не только справедливый суд родины, его жжет совесть, он переживает душевную драму.

Первая ступень трагического развития характера Опанаса — побег из продотряда:

Чернозем потек болотом
От крови и пота, —
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!

Багрицкий обнажает причину побега и демонстративное утверждение героем своей воли (хочу — не хочу). Здесь — завязка трагедии. Следующий, еще более острый момент — сцена расстрела Когана (Махно приказывает Опанасу расстрелять комиссара). Поэт сосредоточивает наше внимание на главном — на переживании героя, углубляющем его трагедию: Опанас не хочет убивать Когана, даже не столько потому, что это его бывший комиссар, сколько потому, что боится угрызений совести («Кровь — постылая обуза крестьянскому сыну»). Но Опанас далек и от мысли спасти комиссара: он просто не хочет убивать его своими руками (только так можно понять предложение Опанаса Когану — бежать, хотя оба они знают, что комиссар снова попадет в руки часовых или хуторян). Трагедия достигает кульминации: Опанас, вынужденный расстрелять комиссара, становится свидетелем бестрепетной кончины героя. Видимо, есть большая правда, дающая человеку мужество... Опанас потрясен. Проблеск сознания этой правды и тем самым — своего горестного заблуждения не дает ему покоя. Трагическое смятение теперь уже не покидает Опанаса: «Одного не позабуду — как скончался Коган».

Багрицкий писал о своем замысле: «Мне хотелось показать... историю крестьянина, оторвавшегося от своего класса... рассказать

о нем и его гибели».[1] Багрицкий говорит, конечно, не о казни Опанаса (тем более что и в поэме этой сцены нет), а о гибели нравственной.

«Тему» Опанаса непрерывно сопровождает лирический аккомпанемент: все живое его предостерегает, осуждает, проклинает. Дело идет к финалу и здесь:

Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога...

Эта заключительная сентенция принадлежит Когану. Приговоренный к смертной казни Опанас «увидел» мертвого, загубленного им комиссара, «услышал» его суд. И это не просто еще одно свидетельство гложущей Опанаса совести. Коган погиб, но его короткая и славная жизнь прошла далеко за пределами «порога». Герои так же решительно противопоставлены и в финале.

Отчетливо контрастна композиция поэмы: речь идет о вечных проблемах: о жизни и смерти, о чести и долге. Это две жизни — Опанаса и Когана, вспыхнувшие в фокусе поэмы. И две смерти: Коган погиб, «смертию смерть поправ», Опанас еще жив, но уже труп... И две свободы: Опанас как будто пользуется свободой безграничной («не хочу махать винтовкой, хочу на работу»), но она иллюзорна. Поступки Когана подчинены революционной необходимости, однако в ней проявляется высшая духовная свобода коммуниста.

«Опанас глядит картиной», «Опанас отставил ногу — стоит и гордится» — такая «бравада» не только резко контрастирует с графически суховатым портретом Когана, но и по-своему передает душевное смятение героя. Облик же комиссара, описание его работы подчеркнуто прозаичны, «заземлены». Комиссару присущ деловой склад характера, ему чужды велеречивость, фразерство:

В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
«Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона:
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?..»

---

[1] Багрицкий. Как я пишу. — «Пионер», 1933, № 15, стр. 20.

Точность вопросов, немногословность, сосредоточенное спокойствие, целеустремленность. Лаконизм сцены позволяет создать неожиданный и тревожный поворот: «В это время по дороге топают махновцы». Поэт не щадит и традиционно-романтическую ситуацию — смерть героя: «Носом в пыль зарылся Коган перед Опанасом...» Почему не коробит нас эта подчеркнутая непоэтичность описания смерти? Прежде всего потому, конечно, что нас привлекает внутреннее богатство героя. Но еще и потому, что Багрицкий в избытке наделяет комиссара таким качеством, как ирония. Ироничность Когана раскрывает без лишних слов его презрение к смерти, — веру в идеи революции. Она тоже бьет по отступнику.

Свои невысказанные чувства и мысли о герое поэт передоверяет романтическому пейзажу — лирическим мотивам, которые венцом обрамляют прозаический облик комиссара.

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня-Украина!..
На твоем степном раздолье
Сыромаха скачет,
Свищет перекати-поле
Да ворона крячет...
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,
На дороге нынче двое —
Опанас и Коган.

Пейзаж передает не только ощущение тревоги, но и мысль о прекрасном, вечном...

В 1931 году Багрицкий написал либретто оперы «Дума про Опанаса», куда вошел почти весь текст поэмы. В либретто были удачно введены новые действующие лица (невеста Опанаса — Павла, кобзарь). Лирическое и романтическое звучание либретто усилилось благодаря темпераментным песням (песни о четырех ветрах). Но либретто и уступает поэме: образ Опанаса стал менее определенным — здесь возникает мотив прямого предательства: Опанас добровольно выдает комиссара махновцам. Поэма «Дума про Опанаса» — по сравнению с либретто — идейно более цельное и значительное произведение.

В 1928 году наша страна перешла в социалистическое наступление. Это повлияло на литературу решающим образом: продиктовало ей новые темы и характеры, вдохновило ее, насытило атмосферой небывалого энтузиазма. Естественно, что и Багрицкий, чуткий к атмосфере героического и прекрасного, пережил новый подъем.

Расширяются связи поэта с литературной общественностью. В 1928 году Багрицкий входит в редколлегию «Литературной газеты», участвует в работе журнала «Новый мир», редактирует книги стихов для издательства «Советский писатель». Поэт выступает с чтением своих произведений в Ленинграде, Иваново-Вознесенске и других городах. Он охотно помогает молодым. Многим из них именно Багрицкий помог стать поэтами, по достоинству оценил их первые опыты, поддержал. Примечателен такой, например, факт: издательство забраковало рукопись первой поэмы А. Твардовского «Путь к социализму». Кто-то посоветовал ему обратиться к Багрицкому. «Он прослушал всю мою поэму, — вспоминает Твардовский, — и даже ту неловкость, что я ему столько читал, отнимал время, сгладил собственным чтением своих новых стихов... По-видимому, он обладал добрым сердцем и той обширностью взгляда в литературных делах, которая позволяла ему отмечать своим вниманием работу, казалось бы, совершенно чуждую ему по духу и строю».[1] Эта встреча решила судьбу поэмы. Она была напечатана. Багрицкий умел, не смущаясь несовершенством первых опытов молодого поэта, разглядеть настоящий талант и порадоваться ему.

В 1930 году Багрицкий порвал с конструктивистами и вошел, одновременно с В. Маяковским, в РАПП. Вступление в РАПП нельзя расценивать как полное согласие Багрицкого с ее политической платформой и творческими лозунгами. Некоторые из них были чужими и для поэта, и для советского искусства в целом (как например, лозунг «союзник или враг», вооружась которым некоторые рапповцы буквально преследовали советских писателей «непролетарского происхождения»; вспомним также о пропаганде «метода диамата в литературе», которая оборачивалась вульгаризацией, подгонкой образной системы произведений под схему борьбы противоположностей). Почему Багрицкий пришел в РАПП? Эта организация в конце двадцатых — начале тридцатых годов была наибо-

[1] В. Азаров. Багрицкий и современность. — «Новый мир», 1948, № 7, стр. 205.

лее массовой, ведущей — состоять в РАПП означало для Багрицкого (как и для Маяковского) быть вместе с большинством советских писателей, организационно закрепить свои творческие позиции.

Багрицкий — не теоретик, работ по вопросам эстетики не писал. О его эстетических взглядах отчасти можно судить по незаконченной, до сих пор целиком не опубликованной статье «Сент-Жюст говорил в конвенте...». Эта статья во многом близка взглядам, выраженным в произведениях Багрицкого 1928—1934 годов. В ней утверждается в качестве главного критерия подлинной поэзии — ее современность, понимание закономерностей истории.

Первый цикл, написанный Багрицким в это время, связан с господствующими идеями и настроениями тех лет, с общей эмоциональной устремленностью искусства («Cyprinus Carpio», 1928 — вместе с другими стихотворениями этот цикл составил сборник «Победители», 1930).

Поэт возвращается к светлому, гармоническому мироощущению «Птицелова»; в «Победителях» торжествует радостное чувство обретенного единства с жизнью, вновь возникают традиционно высокие романтические образы. Теперь к их красоте причастны обычные — но героические! — дела, люди. Вот почему «высокое» спускается на землю: мир «лежит разутюжен», с крынки «падает парная звезда», мостовая оказывается собранием «булыжных планет», а обыкновенный автомобильный мотор «входит равным в сочетание светил». Эти «небесно-земные» образы, конечно, овеяны юмором. Юмор — когда речь идет о высоких чувствах — надежная защита Багрицкого от умиленности, слащавости.

Новые стихи по-своему связаны с предшествующим творчеством поэта: не так давно Багрицкий еще только приветствовал молодых трубачей эпохи: теперь они — главные герои, хозяева жизни и ее созидатели. Поэт не только поселяет героев на просторах цветущей весны, среди планет и звезд, а дает им специальность — «заведовать» рождением рыб, животных. Это дело прозаично? Наоборот! — воинствующе утверждает поэт:

Венчальную песню поет скворец,
Знаки Зодиака сошли на луг:
Рыбы в пруду и в траве Телец.

Сама жизнь продолжает традицию повседневного героизма «будней», и Багрицкий следит за этим развитием. Рыбовод, ихтиолог, ветеринар — приобретают черты пионеров социалистического наступления, людей, которые шли первыми в колонне строителей социализма, превозмогая огромные трудности. Герои Багрицкого

едва не падают от смертельной усталости и лихорадки, но спасают мальков ценных пород рыбы («Эпос», «Стансы»). Они стоят по колено в засасывающей тине, — «болотная жижа... въедается в бахилы». «Обветренные и запыленные», они вездесущи. Багрицкий видит и еще одну характерную особенность героев жизни: они — строители мира — далеко не идеальны, несовершенны (например, герой стихотворения «Весна, ветеринар и я»). В начале двадцатых годов Багрицкий думал иначе. Как многие, он искренне и горячо верил, что вслед за победой народа над старым миром так же решительно и быстро исчезнет старое, частно-собственническое сознание, родится красивый и чистый человек революции... Опыт жизни, оказавшийся для Багрицкого нелегким, отрезвил его, сделал мудрее. Человек социализма формируется трудно и медленно, однако главное в нем уже есть: чувство общественного долга, честь и совесть.

Первые пятилетки — не только героическая современность. Это позиция, с которой хорошо видно и понятно прошлое. Мысль поэта обращена к большому опыту советского народа, к путям многих людей, прошедших империалистическую войну, революцию, строящих социализм. Этот исторический ракурс, впервые проявившись в «Думе про Опанаса», все более определяет творчество Багрицкого. Дума о жизни и человеке, об исполненных драматизма дорогах истории — так можно охарактеризовать поздние произведения Багрицкого — «ТВС», «Последняя ночь», «Человек предместья», «Смерть пионерки», «Февраль».

Философская окраска поэзии Багрицкого становится определяющей, придает его творчеству высокую интеллектуальность, видоизменяет формы сюжета, образы героев. Очень характерно в этом смысле стихотворение «ТВС» (1929). Багрицкий сжимает материал, концентрирует его, создает драматически напряженный конфликт, строит стихотворение, как двухголосную фугу. Запев первого голоса (герой в горячке — он болен туберкулезом) переходит в более значительную мелодию: ТВС — это символ слабости духа, тяги к покою. Героя и отталкивает и тянет магнитная сила привычного бытия, мелкого существования. «Скопческий вид», «кошачий мир» за окном больного вырастает в угрозу революционному человечеству:

Он вздыбился из гущины кровей —
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.

Но туберкулез — это и символ душевной тревоги, охватившей героя перед лицом суровой истории.

Такой поворот темы был очень современным. На рубеже новой эпохи, в момент коллективизации революция встретилась с острым сопротивлением классового врага, вновь возникла необходимость его подавления. Гуманно ли это? Такой вопрос задавали тысячи людей.

Как будто неожиданно (но философски закономерно!) вторгается в «ТВС» тема революционного гуманизма — нелегкого, порой жестокого, но необходимого для самой жизни, для будущего Страны Советов, а значит справедливого.

И стол мой раскидывался, как страна,
В крови и чернилах квадрат сукна,
Ржавчина перьев, бумаги клок —
Всё друга и недруга стерегло.
Враги приходили — на тот же стул.
Садились и рушились в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать-революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка...

Это — кульминация стихотворения. Эти слова произносит у Багрицкого один из вождей Октября, великий гуманист революции — Феликс Дзержинский (больной бредит: он разговаривает с портретом вождя). Железный человек, он был рыцарем революции, как назвала его народная молва. Дзержинского всегда отличала нежная, даже трогательная любовь к революции. О ней напомнили дневники Дзержинского, опубликованные вскоре после его смерти. «Если бы человечеству... не светила звезда социализма, — писал Дзержинский, — звезда будущего, не стоило бы жить, ибо нельзя жить, не заключая в себе всего остального мира и людей... дело стало для меня тем, чем ребенок для матери: ...собственной кровью и телом, носимым под сердцем, ребенком, который никогда не может изменить и потому постоянно дает любовь».[1] Страстность революционера, его мужественный гуманизм позволяют Дзержинскому безбоязненно поставить себя в пример герою:

---

[1] «Молодая гвардия», 1926, № 8, стр. 83—84.

Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я...

Сюжет — болезнь главного героя — преобразован в общественный конфликт.

Интерес Багрицкого к сложным общественным процессам, к формированию человека — устойчив. Он пишет биографию своего поколения — поколения интеллигенции, нелегким путем пришедшей к революции. Эта биография включает в себя и черты революционной истории, пробудившей миллионы людей («Происхождение», 1930; «Последняя ночь», 1932; «Февраль», 1934). Хотя Багрицкий не объединил эти три произведения в общий цикл, они близки друг другу, их можно условно рассматривать как трилогию. Тем более что поэт сам признавался: «Я не пишу отдельных произведений. Я пишу как бы серию стихотворений, которые тесно связаны друг с другом».[1] Если «Происхождение» — это детство поколения, то «Последняя ночь» и «Февраль» — его отрочество и юность.

Счастье детства, его чистоту, веру в прекрасное — мир собственничества душит в зародыше. Железные скрижали его «здравого смысла» придвинуты, как оружие, «в упор» к светлому миру детства («Меня учили: крыша — это крыша...»). Даже малые детали стихотворения многозначительны, символичны: они наступают, угрожают. Стариковские бороды превращены в «косые лезвия», скрещенные еще над колыбелью героя, а обычная вода, которая льется из крана, — точит «струистое лезвие».

Герой бежит из этого мира. Но куда? Как сложится его будущее? В последних строках «Происхождения» нет и намека на близкое и легкое счастье:

Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

Герою еще будет трудно.

Он вырвался на просторы прекрасного; его со всех сторон окружила волшебница — ночь. Эта картина поэмы «Последняя ночь» так выразительна потому, что передает восторг человека, изголодавше-

[1] Архив ИМЛИ. Беседа с пионерами. (Багрицкий говорит здесь о трилогии «Последняя ночь»).

гося по красоте, и — ощущение нового, хотя и добровольного плена, в который попадает герой...

Поэма «Последняя ночь» охватывает три эпохи: предвоенную, годы империалистической войны и современность. История формирует героя — он взрослеет, становится человеком... Багрицкий вплетает в историческую панораму судьбы двух людей, он резко размежевывает их (кроме главного, автобиографического героя, в поэме «Последняя ночь» существует второй, враждебный революции, а черновики рассказывают и о третьем, нашедшем революционную правду сразу). Возникает цепь исторических картин — фрагментов, которые быстро и резко сменяются, движутся: несколько экспрессивных деталей воссоздают законченный эпизод.

Первая картина поэмы повествует о занятии очень мирном (охота эрцгерцога Фердинанда). Но сам характер описания настолько драматичен, что сцена превращается в угрожающее предсказание («фазан взорвался, как фейерверк. Дробь вырвала хвою...»). Последняя ночь —

...поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей...
...Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во всё —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.

Мы, конечно, вспоминаем Чехова: «У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова» («Чайка»). Багрицкий давно почувствовал выразительную силу деталей. Теперь они создают целое — картину, переживание. Торжественный покой последней ночи, совершающей свое колдовство в природе, — чреват взрывом. Это трагический канун мировой катастрофы.

Таков и «рисунок» войны: несколько несопоставимых по масштабу деталей передают ощущение чудовищной бессмыслицы всемирной бойни («Лужайка — да посредине сапог у пушечной колеи...»).

Багрицкий охватывает взглядом эпоху — возникают зловещие образы; картина обретает грандиозность трагедии, в которую ввергнута вселенная:

Деревни скончались.
Потоптан хлеб.

И вечером — прямо в пыль
Планеты стекают в крови густой
Да смутно трубит горнист.

Багрицкий резко прочерчивает пути своих героев, намеренно пренебрегая подробностями психологического характера. Перед нами — три ступени развития главного героя: до войны — война — современность. Поэт заботится о четкости характеристики.

Мне было только семнадцать лет,
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.

Столь же декларативно четок финал («Но мы — мы живы наверняка! ..» и т. д.). Его суховатая немногословность характеризует суровое время и людей, принявших необходимость самоотреченного служения делу. Даже смерть, о которой думает герой, лишена торжественности и горечи прощания с жизнью, с друзьями...

Поэт не считал исчерпанной задачу показать, что революция спасла от гибели целое поколение «печальных детей». В поэме «Февраль» он обратился к ней снова. Багрицкий задумал написать три поэмы, но не всё успел довершить и в первой из них: он заболел и умер (название «Февраль» было предварительным, оно фигурировало в издательском договоре).

В «Феврале» отражено почти то же время, что и в «Последней ночи» (империалистическая война, Февральская революция). Повествование ведет тот же лирический герой. Но «Февраль» — это уже иной поэтический мир: здесь привлекают психологическая правда характера, обстоятельность, конкретность описаний. Шаг за шагом разворачивается повествовательный сюжет: герой — солдат империалистической войны — приехал в отпуск в Одессу; он вспоминает о своем детстве... Эти воспоминания образуют пространное отступление, затем сюжет возвращается в главное русло, — мы следим за становлением характера героя...

Воспоминания героя о его детстве во многом совпадают с «Происхождением»: перед нами тот же «странный», восторженный мальчик, растущий в чуждом ему мещанском мире. Но рисунок в «Феврале» гораздо более реален. Это — биография юноши, выходца из местечковой бедноты. Он мечтал —

Больной, голодный, полуодетый, —
О птицах с нерусскими именами,

О людях неизвестной планеты,
О мире, в котором играют в теннис,
Пьют оранжад и целуют женщин...

Символический путь второго героя «Последней ночи» в мир житейского благополучия в «Феврале» обернулся вполне конкретной историей гимназистки, которая пошла «служить» в публичный дом. Детство и юность героя поэмы — это приниженность бедняка в мире богатых, постоянное чувство забитости, страха. Герой преображается, став участником революции, его обуревает чувство гордости за обретенное наконец достоинство человека. Багрицкий и раньше много думал, писал, говорил о счастье «второго рождения» человека, но до сих пор именно эта сторона развития его героев оставалась в тени. В символико-романтическом стиле «Происхождения» и «Последней ночи» поэту не удавалось высказаться до конца.

Однако реальность поэтической ткани не переводит «Февраль» в ряд конкретно-бытовых произведений. Рядом с достоверной сценой звучит ярко-романтическое отступление, в поэму вливается струя напряженной лирики. А завершается «Февраль» высокой, звонкой нотой:

Будут ливни, будет ветер с юга,
Лебедей влюбленное ячанье.

Вернемся к поэме «Последняя ночь». Мы считали возможным рассматривать ее в ряду с другими историко-биографическими произведениями. Но «Последняя ночь» — это первое звено трилогии, которую сам поэт написал как единое целое, опубликовав под тем же названием («Последняя ночь», 1932). Второе звено трилогии — поэма «Человек предместья». Третье — «Смерть пионерки».

«Последняя ночь» переносит нас в историческое прошлое; «Человек предместья» — поэма о социалистическом наступлении на собственническую психологию; а «Смерть пионерки» рассказывает о нравственном подвиге больной девочки, которая, умирая, отдала пионерский салют в знак верности своим идеалам. Каждая поэма самостоятельна и в то же время подчинена общей большой идее. Движение истории, поток времени (прошлое — настоящее — будущее) шумит в каждой поэме, определяет исторический сюжет и судьбу героев. Общность поэм оттеняется их эпиграфами — запевом звонкоголосых птиц. Эпиграфы передают поэтичность рождения нового мира, исполненного тревоги и гроз.

Багрицкий долгие годы жил в подмосковном местечке Кунцево, в доме «крепкого» хозяина. В семье этого человека (его фамилия —

Дыко) росла дочь Валентина. Ей, настоящей пионерке, общественнице, было нехорошо под родительским кровом, она беспрестанно воевала с отцом и матерью. Даже умирая, она продолжала эту войну...

Социалистическое наступление поколебало почву под ногами мещанства, укрепившегося было в предшествующие годы. Времена изменились. Обыватели, карьеристы, приспособленцы ушли в «захолустье», в «предместье», в кривые проточные переулки, пытаясь жить по-прежнему, по-своему... Они «перекрасились» в цвет эпохи.

Так и обитатели кунцевского домика разбились на два непримиримых лагеря, стали символом беспощадной борьбы двух миров.

Ухват и печная труба, славянский шкаф и кровать сорваны с привычных домашних мест, ввергнуты в дикую карусель, превращены в чудовищ. Человек предместья (так знаменательно назван герой!) стоит в центре допотопного хаоса — он хозяин:

...На голенастых ногах ухваты,
Колоды для пчел — замыкали круг.
А он переминался, угловатый,
С большими сизыми кистями рук.

Эта тягостная фантасмагория зримо передает мысль о «раздробленности» мещанства (термин А. М. Горького).

Большие сизые кисти рук — вот единственная внешняя примета «человека предместья». Это не деталь портрета, это деталь, замещающая портрет. [1]

Мещанин — антипод Человека, в нем не может быть цельности, ибо смысл его существования ничтожен. Каждая мелочь приобретает в поэме огромный вес: калачи, как младенцы, «прижаты к сердцу», крынки «стоят отрядами», борщ исполнен «капустной благодати». Мы уже не раз встречались с романтическим заострением,

---

[1] Багрицкий был так увлечен «крупным планом», что однажды даже «проговорился»:

Вот строки раскидывая,
Лезет на меня
Крупным планом
Морда коня...

(Архив ИМЛИ)

Но эти строки остались в черновике. В окончательном варианте появилась «драконоподобная морда коня» (стихотворение «Читатель в моем представлении»).

которое придает образу символический смысл (вспомним апельсины, наполненные «взрывчатой кислотой»). В «Человеке предместья» подобные образы окончательно теряют бытовую окраску, они экспрессивны. Конфликт поэмы философичен. Мир против мира! Обличительный гротеск сочетается с романтическим пафосом образа Времени. Главный признак этого образа — вдохновение: Время появляется вместе с бурей листвы, проходит через «все ливни».

Содержательность романтического гротеска оттеняется соотнесенностью Времени и человека, который ему по плечу:

...Оно врывается непогодой,
Такое ж сутуловатое, как я,
Такое ж, как я, презревшее отдых,
И, вдохновеньем потрясено,
Глаза, промытые в сорока водах,
Медленно поднимает оно...

Как символическое подтверждение победы Времени звучит в финале поэмы протестующий голос дочери. Но не дочери человека предместья, а дочери и наследницы новой эпохи. Этот финал непосредственно подводит к третьей поэме цикла.

О том, как умерла пионерка Валя, Багрицкий хотел «написать предельно просто». Он долго бился, пока нашел нужную интонацию (поэме предшествует несколько черновых вариантов). Поначалу поэт впал в утрированно детский тон:

А сквозь темень — зайчик
Топ-топ-топ.
...А из тьмы охотник —
Хлоп-хлоп-хлоп. [1]

Такие картины видит больная Валя в бреду. Первые варианты растянуты, в них вся «история болезни» Вали, картины смерти и похорон. В окончательном тексте Багрицкий сосредоточил внимание лишь на одной драматической сцене: к умирающей Вале приходит ее мать, просит надеть нательный крестик. Поэт нашел меру простоты, интонация его рассказа о Валиной болезни — сдержанная, лирическая, грустная. Она передает обаяние девочки и ее затуманенный болезнью взгляд на окружающее («Валя, Валентина! Что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь...»). Не случайный спор или размолвка, а жестокий общественный конфликт делают чужими людей, казалось бы самых близких — мать и дочь. И это

[1] Архив ИМЛИ.

происходит в минуту самую тяжелую. Поэма глубоко гражданственна, трагична и патетична. Багрицкий ни разу не соскальзывает к мелодраме (такая опасность заключена в самой ситуации). С «простыми» образами поэмы сочетаются высокообобщенные, «кипучие». Бо́льшая часть поэмы написана в обычном романтическом ключе Багрицкого.

...За окнами больницы рокочет гром, небо пропарывают яркие молнии. «Постылые слова» матери о крестике Валя не в силах даже перебить: она почти без сознания. Вместо Вали, за нее и как бы вместе с нею «отвечает» гроза... «Я, — говорил поэт, — ввел грозу для того, чтобы ярче подчеркнуть пионерство Вали... даже мир идет вместе с отрядом».[1] «Молнии, как галстуки, по ветру летят», «голос» грозы звучит, как пионерский горн.

Пионерская присяга навечно соединила героиню с будущими поколениями неподвластной смерти силой общности больших идей. Патетические строки поэмы («Нас водила молодость в сабельный поход...») утверждают идею единства революционных поколений, философию вечной молодости и бессмертия героев.

Уже шла речь о том, что в поэтической трилогии, «ТВС», «Происхождении» отчетливо проявились новые черты стиля. Главное: лирический герой Багрицкого стал более обобщенным, масштабным. Герой выступает от имени поколения, прошедшего серьезную школу жизни. Последовательно лирическое начало «растворяет» плоть, «фактурность» произведений поэта, столь характерные для него раньше; расшатывает конкретную определенность сюжетов и облика героев. Но теряя одни качества, поэзия Багрицкого приобретает другие, новые: синтетичность образов и широких «сюжетов» эпохи, публицистически резкий рисунок, свободную композицию исторических «кадров», монументальную эскизность. Философская обобщенность лирического «я» проявляется и в афористичности речи, повышении веса и значения детали, резком чередовании общего и крупного плана. И в «Смерти пионерки» сказываются новые особенности стиля Багрицкого. В последовательный рассказ о том, что произошло у постели умирающей девочки, неожиданно врывается шум ливня, голос матери заглушен грохотом грома. А образ Вали? Он, в сущности, замещен крупной и глубоко символической деталью:

Тихо подымается,
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука...

---

[1] Архив ИМЛИ.

В начале тридцатых годов Багрицкий написал несколько произведений для детей (поэмы «Соболиный след», «Звезда мордвина» и др.). Одна из поэм рассказывает о том, как в глухих мордовских селах закипает новая жизнь, дети мечтают стать пионерами, «с галстуками, как рябина», и приложить свои руки к организации колхоза «Звезда мордвина». «Смерть пионерки» дала в руки Багрицкому ритмы, необходимые для того, чтобы писать о детях и тем более — для детей.

Одновременно с работой над трилогией Багрицкий много переводит. Появляются его переводы стихотворений М. Бажана, В. Сосюры, И. Фефера. Под редакцией Багрицкого выходят избранные произведения М. Бажана. Еще в двадцатые годы Багрицкий перевел балладу Вальтера Скотта «Разбойник», поэмы Роберта Бернса «Веселые нищие», «Джон — Ячменное Зерно», стихотворение Томаса Гуда «Песня о рубашке» и другие произведения. Багрицкого привлекал демократизм и народный дух поэзии Бернса и Гуда; он великолепно передал идею вечности и неиссякаемой силы простого народа, свойственную в особенности поэмам Бернса. И теперь, в переводах начала тридцатых годов, тоже видно единство интересов Багрицкого, проявившееся в его оригинальном творчестве и переводах. Типичны с этой точки зрения переводы произведений М. Бажана: в них сказался тот же пристальный философско-исторический взгляд на жизнь, стремление увидеть современность в дальней исторической перспективе, которые определяют поздние поэмы Багрицкого («Ночь Гофмана», особенно трилогия «Здания»: «Собор», «Ворота», «Дом»). Поэзия Бажана очень привлекала Багрицкого и могучей силой, драматизмом, экспрессией образов. Багрицкий-переводчик очень бережен; он любовно доносит смысл, дух, особенности оригинала.

Работа Багрицкого-переводчика открыла русскому читателю многие богатства поэзии народов СССР. В те годы только-только зарождался процесс общения и взаимного знакомства многонациональных литератур нашей страны. Багрицкий играл заметную роль в этом процессе.

Творчество больших писателей всегда современно: обращено к «своему» читателю, воодушевлено желанием укрепить хорошее в жизни, сказать правду о трудном или плохом. Чем глубже слитность поэта и его времени, чем значительней понимает поэт свое время, тем зорче его взгляд, тем сильней порыв в будущее.

Красота обыденного труда, верность долгу, бескорыстная щедрость души отличают героев Багрицкого. Для них главное — «ква-

лификация борца и человека». А есть ли что-нибудь более ценное и важное для нас? Страстное утверждение революционных идеалов, философии нового века, раздумье о его трудных, тревожных путях — не только признак людей той пламенной эпохи: мы принимаем и эту горячность, и пафос мысли как символ неравнодушия и человечности, животворящих каждое дело.

Не притупилось острие поэзии Багрицкого, нацеленное на мещанина, собственника, обывателя.

Поэзия Багрицкого сопутствует дерзким замыслам и делам современности: даже завоеванию космоса, о котором поколение Багрицкого только-только начинало мечтать. И разве не напутствует поэт человека, штурмующего пространства вселенной, кинувшего свой корабль «в мир, открытый настежь бешенству ветров», навстречу «бешеным сквознякам» и «обломкам планет»?

Багрицкий очень любил жизнь, трепетную, исполненную движения, радости, силы. Поэт обладал талантом видеть, замечать ее биение и в «мертвой» природе, и в человеческих душах, и в творчестве.

Сам человеческий облик Эдуарда Георгиевича Багрицкого во многом отражал его поэтическое «я»: его ненасытное жизнелюбие не укрощала даже болезнь, которая все усиливалась. Поэт умер 16 февраля 1934 года. Его провожал в последний путь эскадрон кавалеристов.

Е. Любарева

СТИХОТВОРЕНИЯ

I

ПТИЦЕЛОВ

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

В бузине, сырой и круглой,
Соловей ударил дудкой,
На сосне звенят синицы,
На березе зяблик бьет.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Три манка — и каждой птице
Посвящает он манок.

Дунет он в манок бузинный,
И звенит манок бузинный, —
Из бузинного прикрытья
Отвечает соловей.

Дунет он в манок сосновый,
И свистит манок сосновый, —
На сосне в ответ синицы
Рассыпают бубенцы.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Самый легкий, самый звонкий
Свой березовый манок.

Он лады проверит нежно,
Щель певучую продует, —
Громким голосом береза
Под дыханьем запоет.

И, заслышав этот голос,
Голос дерева и птицы,
На березе придорожной
Зяблик загремит в ответ.

За проселочной дорогой,
Где затих тележный грохот,
Над прудом, покрытым ряской,
Дидель сети разложил.

И пред ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.

Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

1918, 1926

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

Весенним утром кухонные двери
Раскрыты настежь, и тяжелый чад
Плывет из них. А в кухне толкотня:
Разгоряченный повар отирает
Дырявым фартуком свое лицо,
Заглядывает в чашки и кастрюли,
Приподымая медные покрышки,
Зевает и подбрасывает уголь
В горячую и без того плиту.
А поваренок в колпаке бумажном,
Еще неловкий в трудном ремесле,
По лестнице карабкается к полкам,
Толчет в ступе корицу и мускат,
Неопытными путает руками
Коренья в банках, кашляет от чада,
Вползающего в ноздри и глаза
Слезящего. . .
А день весенний ясен,
Свист ласточек сливается с ворчаньем
Кастрюль и чашек на плите; мурлычет,
Облизываясь, кошка, осторожно
Под стульями подкрадываясь к месту,
Где незамеченным лежит кусок
Говядины, покрытый легким жиром.
О, царство кухни! Кто не восхвалял
Твой синий чад над жарящимся мясом,
Твой легкий пар над супом золотым?
Петух, которого, быть может, завтра
Зарежет повар, распевает хрипло
Веселый гимн прекрасному искусству,
Труднейшему и благодатному. . .
Я в этот день по улице иду,

На крыши глядя и стихи читая, —
В глазах рябит от солнца, и кружится
Беспутная, хмельная голова.
И синий чад вдыхая, вспоминаю
О том бродяге, что, как я, быть может,
По улицам Антверпена бродил...
Умевший всё и ничего не знавший,
Без шпаги — рыцарь, пахарь — без сохи,
Быть может, он, как я, вдыхал умильно
Веселый чад, плывущий из корчмы;
Быть может, и его, как и меня,
Дразнил копченый окорок — и жадно
Густую он проглатывал слюну.
А день весенний сладок был и ясен,
И ветер материнскою ладонью
Растрепанные кудри развевал.
И, прислонясь к дверному косяку,
Веселый странник, он, как я, быть может,
Невнятно напевая, сочинял
Слова еще не выдуманной песни...
Что из того? Пускай моим уделом
Бродяжничество будет и беспутство.
Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах пиршества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются,
И песни разучусь я сочинять...
Что из того? Мне хочется иного...
Пусть, как и тот бродяга, я пройду
По всей стране, и пусть у двери каждой
Я жаворонком засвищу и тотчас
В ответ услышу песню петуха!..
Певец без лютни, воин без оружья,
Я встречу дни, как чаши, до краев
Наполненные молоком и медом.
Когда ж усталость овладеет мной
И я засну крепчайшим смертным сном, —
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжелый ясеневый посох —
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший.

Прохожий! Если дороги тебе
Природа, ветер, песни и свобода,
Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ,
Довольно пел ты, выспаться пора!»

1918, 1926

НОЧЬ

Уже окончился день — и ночь
Надвигается из-за крыш...
Сапожник откладывает башмак,
Вколотив последний гвоздь;
Неизвестные пьяницы в пивных
Проклинают, поют, хрипят,
Склерозными раками, желчью пивной
Заканчивая день...
Торговец, расталкивая жену,
Окунается в душный пух,
Свой символ веры — ночной горшок
Задвигая под кровать...
Москва встречает десятый час
Перезваниванием проводов,
Свиданьями кошек за трубой,
Началом ночной возни...
И вот, надвинув кепи на лоб
И фотогеничный рот
Дырявым шарфом обмотав,
Идет на промысел вор...
И, ундервудов траурный марш
Покинув до утра,
Конфетные барышни спешат
Встречать героев кино.
Антенны подрагивают в ночи
От холода чуждых слов;
На циферблате десятый час
Отмечен косым углом...
Над столом вождя — телефон иссяк,
И зеленое сукно,
Как болото, всасывает в себя
Пресс-папье и карандаши...

И только мне десятый час
Ничего не приносит в дар:
Ни чая, пахнущего женой,
Ни пачки папирос;
И только мне в десятом часу
Не назначено нигде —
Во тьме подворотни, под фонарем —
Заслышать милый каблук...
А сон обволакивает лицо
Оренбургским густым платком;
А ночь насыпает в мои глаза
Голубиных созвездий пух;
И прямо из прорвы плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд...
Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,
И перистым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.
Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатой кислотой.
Там рыб чешуйчатые мечи
Пылают: «Не заплати!
Мы голову — прочь, мы руки — долой!
И кинем голодным псам!..»
Там круглые торты стоят Москвой,
В кремлях леденцов и слив;
Там тысячу тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь...
А в дверь ненароком: стоит атлет
Средь сине-багровых туш!
Погибшая кровь быков и телят
Цветет на его щеках...
Он вытянет руку — весы не в лад
Качнутся под тягой гирь,
И нож, разрезающий сала пласт,
Летит павлиньим пером,

И пылкие буквы
«МСПО»
Расцветают сами собой
Над этой оголтелой жратвой
(Рычи, желудочный сок!)...
И голод сжимает скулы мои,
И зудом поет в зубах,
И мыльною мышью по горлу вниз
Падает в пищевод...
И я содрогаюсь от скрипа когтей,
От мышьей возни — хвоста,
От медного запаха слюны,
Заливающего гортань...
И в мире остались — одни, одни,
Одни, как поход планет,
Ворота и обручи медных букв,
Начищенные огнем!
Четыре буквы:
«МСПО»,
Четыре куска огня:
Это —
Мир Страстей, Полыхай Огнем!
Это —
Музыка Сфер, Пари
Откровением новым!
Это — Мечта,
Сладострастье, Покой, Обман!
И на что́ мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовый сок?
И на что́ мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что́ мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?
И на что́ мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!
Лишь поет нищета у моих дверей,
Лишь в печурке юлит огонь,
Лишь иссякла свеча — и луна плывет
В замерзающем стекле...

1926

II

ПЕСНЯ О РУБАШКЕ
(ТОМАС ГУД)

От песен, от скользкого пота —
В глазах растекается мгла.
Работай, работай, работай
Пчелой, заполняющей соты,
Покуда из пальцев с налета
Не выпрыгнет рыбкой игла!..

Швея! Этой ниткой суровой
Прошито твое бытие...
У лампы твоей бестолковой
Поет вдохновенье твое,
И в щели проклятого крова
Невидимый месяц течет.

Швея! Отвечай мне, что может
Сравниться с дорогой твоей?..
И хлеб ежедневно дороже,
И голод постылый тревожит,
Гниет одинокое ложе
Под стужей осенних дождей.

Над белой рубашкой склоняясь,
Ты легкою водишь иглой, —
Стежков разлетается стая
Под бледной, как месяц, рукой,
Меж тем как, стекло потрясая,
Норд-ост заливается злой.

Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...
От капли чадящего света
Глаза твои влагой одеты...
Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...

О вы, не узнавшие страха
Бездомных осенних ночей!

На ваших плечах — не рубаха,
А голод и пение швей,
Дни, полные ветра и праха,
Да темень осенних дождей!

Швея! Ты не помнишь свободы,
Склонясь над убогим столом,
Не помнишь, как громкие воды
За солнцем идут напролом,
Как в пламени ясной погоды
Касатка играет крылом.

Стежки за стежками, без счета,
Где нитка тропой залегла;
«Работай, работай, работай, —
Поет, пролетая, игла, —
Чтоб капля последнего пота
На бледные щеки легла!..»

Швея! Ты не знаешь дороги,
Не знаешь любви наяву,
Как топчут веселые ноги
Весеннюю эту траву...
...Над кровлею — месяц убогий,
За ставнями ветры ревут...

Швея! За твоею спиною
Лишь сумрак шумит дождевой, —
Ты медленно бледной рукою
Сшиваешь себе для покоя
Холстину, что сложена вдвое,
Рубашку для тьмы гробовой...

Работай, работай, работай,
Покуда погода светла,
Покуда стежками без счета
Играет, летая, игла.
Работай, работай, работай,
Покуда не умерла!..

1923

ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

(Р. БЕРНС)

Три короля из трех сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгинуть, юный Джон
Ячменное Зерно!

Погибни, Джон, — в дыму, в пыли,
Твоя судьба темна!
И вот взрывают короли
Могилу для зерна...

Весенний дождь стучит в окно
В апрельском гуле гроз, —
И Джон Ячменное Зерно
Сквозь перегной пророс...

Весенним солнцем обожжен
Набухший перегной, —
И по́ ветру мотает Джон
Усатой головой...

Но душной осени дано
Свой выполнить урок, —
И Джон Ячменное Зерно
От груза занемог...
Он ржавчиной покрыт сухой,
Он — в полевой пыли...
— Теперь мы справимся с тобой! —
Ликуют короли...

Косою звонкой срезан он,
Сбит с ног, повергнут в прах,
И, скрученный веревкой, Джон
Трясется на возах...

Его цепами стали бить,
Кидали вверх и вниз, —
И, чтоб вернее погубить,
Подошвами прошлись...

Он в ямине с водой — и вот
Пошел на дно, на дно...
Теперь, конечно, пропадет
Ячменное Зерно!..
И плоть его сожгли сперва,
И дымом стала плоть.
И закружились жернова,
Чтоб сердце размолоть...

. . . .

Готовьте благородный сок!
Ободьями скреплен
Бочонок, сбитый из досок, —
И в нем бунтует Джон...
Три короля из трех сторон
Собрались заодно, —
Пред ними в кружке ходит Джон
Ячменное Зерно...

Он брызжет силой дрожжевой,
Клокочет и поет,
Он ходит в чаше круговой,
Он пену на пол льет...

Пусть не осталось ничего,
И твой развеян прах,
Но кровь из сердца твоего
Живет в людских сердцах!..

Кто, горьким хмелем упоен,
Увидел в чаше дно —
Кричи:
— Вовек прославлен Джон
Ячменное Зерно!

1923

РАЗБОЙНИК
(В. СКОТТ)

Брэнгельских рощ
Прохладна тень,
Незыблем сон лесной;
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

Над лесом
Снизилась луна.
Мой борзый конь храпит...
Там замок встал,
И у окна
Над рукоделием,
Бледна,
Красавица сидит...

Тебе, владычица лесов,
Бойниц и амбразур,
Веселый гимн
Пропеть готов
Бродячий трубадур...

Мой конь,
Обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье
Под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле
Есть место для двоих,
Надежны стремена!
Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна!

Она поет:
— Прохладна тень,

И ясен сон лесной...
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить,
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить...

От графской свиты
Ты отстал,
Ты жаждою томим;
Охотничий блестит кинжал
За поясом твоим,
И соколиное перо
В ночи
Горит огнем, —
Я вижу
Графское тавро
На скакуне твоем!..

— Увы! Я графов не видал,
И род
Не графский мой!
Я их поместья поджигал
Полуночной порой!..
Мое владенье —
Вдаль и вширь
В ночных лесах лежит,
Над ним кружится
Нетопырь,
И в нем
Сова кричит...

Она поет:
— Прохладна тень,
И ясен сон лесной...

Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной!..

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить...
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить!..

Веселый всадник,
Твой скакун
Храпит под чепраком.
Теперь я знаю:
Ты — драгун
И мчишься за полком...

Недаром скроен
Твой наряд
Из тканей дорогих
И шпоры длинные горят
На сапогах твоих!..

— Увы! Драгуном не был я,
Мне чужд солдатский строй:
Казарма вольная моя —
Сырой простор лесной...

Я песням у дроздов учусь
В передрассветный час,
В боярышник лисицей мчусь —
От вражьих скрыться глаз...

И труд необычайный мой
Меня к закату ждет,
И необычная за мной
В тумане смерть придет...
Мы часа ждем

В ночи, в ночи,
И вот —
В лесах,
В лесах
Коней седлаем,
И мечи
Мы точим на камнях...

Мы знаем
Тысячи дорог,
Мы слышим
Гром копыт,
С дороги каждой
Грянет рог —
И громом пролетит..,

Где пуля запоет в кустах,
Где легкий меч сверкнет,
Где жаркий заклубится прах,
Где верный конь заржет...

И листья
Плещутся, дрожа,
И птичий
Молкнет гам,
И убегают сторожа,
Открыв дорогу нам...

И мы несемся
Вдаль и вширь,
Под лязганье копыт;
Над нами реет
Нетопырь,
И вслед
Сова кричит...

И нам не страшен
Дьявол сам,
Когда пред черным днем
Он молча

Бродит по лесам
С коптящим фонарем...

И графство задрожит, когда,
Лесной взметая прах,
Из лесу вылетит беда
На взмыленных конях...

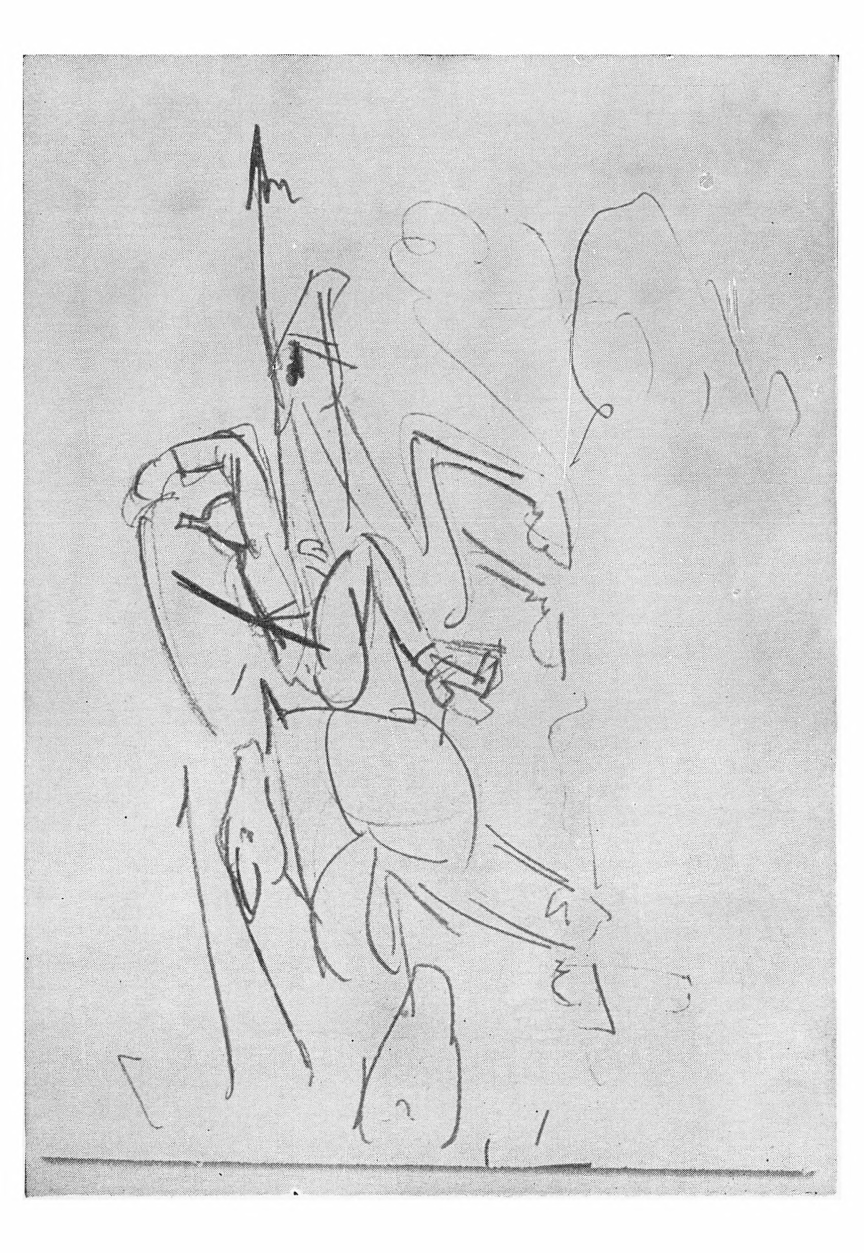
Мой конь,
Обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье
Под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле есть место
Для двоих,
Надежны стремена!
Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна!

Она поет:
— Брэнгельских рощ
Что может быть милей?
Там по ветвям
Стекает дождь,
Там прядает ручей!

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить...
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить!..

1923



III

АРБУЗ

Свѐжак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе — и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть —
И мы паруса развернули...

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун —
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!

Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...
В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ерзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.

Сквозь волны — навылет!
Сквозь дождь — наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет как рынок,
На мель нас кидает,

Нас гонит на мель
Последняя наша путина!

Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду, —
Мне жизни веселой теперь не сберечь —
И руль оторвало, и в кузове течь!..

Пустынное солнце над морем встает,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...
В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка, —
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

1924, 1928

КОНТРАБАНДИСТЫ

По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа Сатырос.
А ветер как гикнет,
Как мимо просвищет,

Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
«Доброе дело! Хорошее дело!»
Чтоб звезды обрызгали
Груду наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...

Ай, греческий парус!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!..
Вор на воре!

. . . .

Двенадцатый час —
Осторожное время.
Три пограничника,
Ветер и темень.
Три пограничника,
Шестеро глаз —
Шестеро глаз
Да моторный баркас...
Три пограничника!
Вор на дозоре!
Бросьте баркас
В басурманское море,
Чтобы вода
Под кормой загудела:
«Доброе дело!
Хорошее дело!»
Чтобы по трубам,
В ребра и винт,
Виттовой пляской
Двинул бензин.

Ай, звездная полночь!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!..
Вор на воре!

. . . .

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме,
Да видеть звезду
Над бугшпритом склоненным,
Да голос ломать
Черноморским жаргоном,
Да слушать сквозь ветер,
Холодный и горький,
Мотора дозорного
Скороговорки!
Иль правильней, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...
Да ветер почуять,
Скользящий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам...
И вдруг неожиданно
Встретить во тьме
Усатого грека
На черной корме...

Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу,
Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот, —
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:
«Ай, Черное море,
Хорошее море!..»

1927

IV

ОСЕНЬ

По жнитвам, по дачам, по берегам
Проходит осенний зной.
Уже необычнее по ночам
За хатами псиный вой.
Да здравствует осень!
Сады и степь,
Горючий морской песок
Пропитаны ею, как черствый хлеб,
Который в спирту размок.
Я знаю, как тропами мрак прошит,
И полночь пуста, как гроб;
Там дичь и туман
В травяной глуши,
Там прыгает ветер в лоб!
Охотничьей ночью я стану там,
На пыльном кресте путей,
Чтоб слушать размашистый плеск и гам
Гонимых на юг гусей!
Я на берег выйду:
Густой, густой
Туман от соленых вод
Клубится и тянется над водой,
Где рыбий косяк плывет.
И ухо мое принимает звук,
Гудя, как пустой сосуд;
И я различаю:
На юг, на юг
Осетры плывут, плывут!
Шипенье подводного песка,
Неловкого краба ход,
И чаек полет, и пробег бычка,
И круглой медузы лед.
Я утра дождусь. . .
А потом, потом,
Когда распахнется мрак,
Я на́ гору выйду. . .

В родимый дом
Направлю спокойный шаг.
Я слышал осеннее бытие,
Я море узнал и степь,
Я свистну собаку, возьму ружье
И в сумку засуну хлеб...
Опять упадет осенний зной,
Густой, как цветочный мед, —
И вот над садами и над водой
Охотничий день встает...

1923, 1928

БЕССОННИЦА

Если не по звездам — по сердцебиенью
Полночь узна́ешь, идущую мимо...
Сосны за окнами — в черном оперенье,
Собаки за окнами — клочьями дыма.
Всё, что осталось!
Хватит! Довольно!
Кровь моя, что ли, не ходит в теле?
Уши мои, что ли, не слышат вольно?
Пальцы мои, что ли, окостенели?..
Видно и слышно: над прорвою медвежьей
Звезды вырастают в кулак размером!
Буря от Волги, от низких побережий
Черные деревья гонит карьером...
Вот ужс по стеклам двинуло дыханье
Ветра, и стужи, и каторжной погоды...
Вот закачались, загикали в тумане
Черные травы, как черные воды...
И по этим водам, по злому вою,
Крыльями крыльца раздвигая сосны,
Сруб начинает двигаться в прибое,
Круглом и долгом, как гром колесный...
Словно корабельные пылают знаки,
Стекла, налитые горячей желчью,
Следом, упираясь, тащатся собаки,
Лязгая цепями, скуля по-волчьи...

Лопнул частокол, разлетевшись пеной...
Двор позади... И на просеку разом
Сруб вылетает! Бревенчатые стены
Ночь озирают горячим глазом.
Прямо по болотам, гоняя уток,
Прямо по лесам, глухарей пугая,
Дом пролетает, разбивая круто
Камни и кочки и пни подгибая...
Это черноморская ночь в уборе
Вологодских звезд — золотых баранок;
Это расступается Черное море
Черных сосен и черного тумана!..
Это летит по оврагам и скатам
Крыша с откинутой назад трубою,
Так что дым кнутом языкатым
Хлещет по стволам и по хвойному прибою...
Это, стремглав, наудачу, в прорубь,
Это, деревянные вздувая ребра,
В гору вылетая, гремя под гору,
Дом пролетает тропой недоброй...
Хватит! Довольно! Стой!
                                        На разгоне
Трудно удержаться! Еще по краю
Низкого забора ветвей погоня,
Искры от напора еще играют,
Ветер от разбега еще не сгинул,
Звезды еще рвутся в порыве гонок...
Хватит! Довольно! Стой!
                                        На перину
Падает откинутый толчком ребенок...
Только за оконницей проходят росы,
Сосны кивают синим опереньем.
Вот они, сбитые из бревен и теса,
Дом мой и стол мой: мое вдохновенье!
Прочно установлена косая хвоя,
Врыт частокол, и собака стала.
— Милая! Где же мы?
— До́ма, под Москвою;
Десять минут ходьбы от вокзала...

1927

ВЕСНА

В аллеях столбов,
По дорогам перронов —
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже, окунувшийся
В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса...
Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, —
Звенит палисандр
Дачной гитары:
— Ах! Вам не хотится ль
Под ручку пройтиться?..
— Мой милый. Конечно.
Хотится! Хотится!.. —
А там, над травой,
Над речными узлами,
Весна развернула
Зеленое знамя, —
И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень...
На голом прутье,
Над водой невеселой,
Гортань продувают
Ветвей новоселы...
Первым дроздом
Закликают леса,
Первою щукой
Стреляют плеса;
И звезды
Над первобытною тишью
Распороты первой
Летучей мышью...

Мне любы традиции
Жадной игры:
Гнездовья, берлоги,
Метанье икры...
Но я — человек,
Я — не зверь и не птица;
Мне тоже хотится
Под ручку пройтиться;
С площадки нырнуть,
Раздирая пальто,
В набитое звездами
Решето...
Чтоб, волком трубя
У бараньего трупа,
Далекую течку
Ноздрями ощупать;
Иль в черной бочаге,
Где корни вокруг,
Обрызгать молоками
Щучью икру;
Гоняться за рыбой,
Кружиться над птицей,
Сигать кожаном
И бродить за волчицей;
Нырять, подползать
И бросаться в угон, —
Чтоб на сто процентов
Исполнить закон;
Чтоб видеть воочью:
Во славу природы
Раскиданы звери,
Распахнуты воды,
И поезд, крутящийся
В мокрой траве, —
Чудовищный вьюн
С фонарем в голове!..
И поезд от похоти
Воет и злится:
«Хотится! Хотится!
Хотится! Хотится!..»

1927

V

ГОЛУБИ

Весна. И с каждым днем невнятней
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина.

Пора! Полощет плат крылатый —
И разом улетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь.

О, голубиная охота,
Уже воркующей толпой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой!

Двадцатый год! Но мало, мало
Любви и славы за спиной.
Лишь двадцать капель простучало
О подоконник жестяной.

Лишь голуби да голубая
Вода. И мол. И волнолом.
Лишь сердце, тишину встречая,
Всё чаще ходит ходуном...

Гудит година путевая,
Вагоны, ветер полевой.
Страда распахнута другая,
Страна иная предо мной!

Через Ростов, через станицы,
Через Баку, в чаду, в пыли, —
Навстречу Каспий, и дымится
За черной солью Энзели.

И мы на вражеские части
Верблюжий повели поход.

Навыворот летело счастье,
Навыворот, наоборот!

Колес и кухонь гул чугунный
Нас провожал из боя в бой,
Чрез малярийные лагуны,
Под малярийною луной.

Обозы врозь, и мулы — в мыле,
И в прахе гор, в песке равнин,
Обстрелянные, мы вступили
В тебя, наказанный Казвин!

Близ углового поворота
Я поднял голову — и вот
Воскрылий, пуха и помета
Рассеявшийся вихрь плывет!

На плоской крыше плат крылатый
Полощет — и взлетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

Два года боя. Не услышал,
Как месяцы ушли во мглу:
Две капли стукнули о крышу
И покатились по стеклу...

Через Баку, через станицы,
Через Ростов — назад, назад,
Туда, где Знаменка дымится
И пышет Елисаветград!

Гляжу: на дальнем повороте —
Ворота, сад и сеновал;
Там в топоте и конском поте
Косматый всадник проскакал.

Гони! Через дубняк дремучий,
Вброд или вплавь, гони вперед!
Взовьется шашка — и певучий,
Скрутившись, провод упадет...

И вот столбы глухонемые
Нутром не стонут, не поют.
Гляжу: через поля пустые
Тачанки ноют и ползут...

Гляжу: близ Елисаветграда,
Где в суходоле будяки,
Среди скота, котлов и чада
Лежат верблюжские полки.

И ночь и сон. Но будет время —
Убудет ночь, и сон уйдет.
Загикает с тачанки в темень
И захлебнется пулемет...

И нива прахом пропылится,
И пули запоют впотьмах,
И конница по ржам помчится —
Рубить и ржать. И мы во ржах.

И вот станицей журавлиной
Летим туда, где в рельсах лег,
В певучей стае тополиной,
Вишневый город меж дорог.

Полощут кумачом ворота,
И разом с крыши угловой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой.

Опять полощет плат крылатый,
И разом улетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

И снова год. Я не услышал,
Как месяцы ушли во мглу.
Лишь капля стукнула о крышу
И покатилась по стеклу...

Покой! И с каждым днем невнятней
Травой восходит тишина,

И голуби на голубятне,
И облачная глубина...

Не попусту топтались ноги
Чрез рокот рек, чрез пыль полей,
Через овраги и пороги —
От голубей до голубей!

1922

ДУМА ПРО ОПАНАСА

Посіяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони його жали.
Що мусим робити?

Т. Шевченко («Гайдамаки»)

1

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогой степною.
Репухи кусают ногу,
Свищет житом пажить,
Звездный Воз ему дорогу
Оглоблями кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесье чистом —
На дебелые хозяйства
К немцам-колонистам.
Опанасе, не дай маху,
Оглядись толково —
Видишь черную папаху
У сторожевого?
Знать, от совести нечистой
Ты бежал из Балты,
Топал к Штолю-колонисту,
А к Махне попал ты!
У Махна по самы плечи
Волосня густая:

— Ты откуда, человече,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?
— Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю.
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана-жида...
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
«Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!»
Ну, а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!
Чернозем потек болотом
От крови и пота, —
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!
Ой, батько, скажи на милость
Пришедшему с поля,
Где хозяйство поместилось
Колониста Штоля?
— Штоль? Который, человече?
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече,
За углом от хаты...
А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу
Сукна городского!
Поднесите Опанасу
Вина молодого!

Сапоги подколотите
Кованым железом!
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече,
От края до края!.. —
У Махна по самы плечи
Волосня густая...

. . . .

Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне, —
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина! Мать родная!
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь — в бандиты!

2

Зашумело Гуляй-Поле
От страшного пляса, —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого раввина
Под Гомелем снята.
Шуба — платье меховое —
Распахнута — жарко!
Френч английского покроя
Добыт за Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребячье мыло;
Револьвер висит на цепке
От паникадила.
Опанасе, наша доля
Туманом повита, —

Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь — бандитом!
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота,
Бить жидов и коммунистов —
Легкая работа!
А Махно спешит в тумане
По шляхам просторным,
В монастырском шарабане,
Под знаменем черным.
Стоном стонет Гуляй-Поле
От страшного пляса —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса...

3

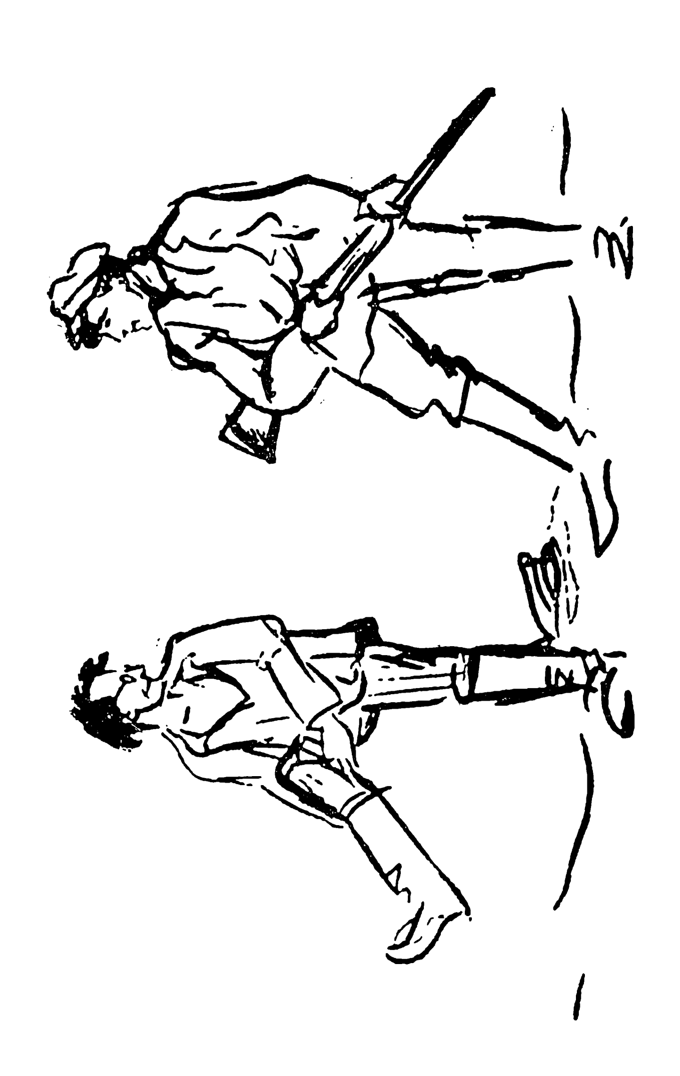
Хлеба собрано немного —
Не скрипеть подводам.
В хате ужинает Коган
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
«Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона:
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы?»
В это время по дороге
Топают махновцы...
По дороге пляшут кони,
В землю бьют копыта.
Опанас из-под ладони
Озирает жито.
Полночь сизая, степная
Встала пред бойцами,
Издалека темь ночная
Тлеет каганцами.

Брешут псы сторожевые,
Запевают певни.
Холодком передовые
Въехали в деревню.
За церковною оградой
Лязгнуло железо:
«Не разыщешь продотряда:
В доску перерезан!»
Хуторские псы, пляшите
На гремучей стали:
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой
Сизою, степною, —
Встретился Иосиф Коган
С Нестором Махною!
Поглядел Махно сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махно ни слова,
А махнул рукою!
Ой, дожил Иосиф Коган
До смертного часа,
Коль сошлась его дорога
С путем Опанаса!..
Опанас отставил ногу,
Стоит и гордится:
«Здравствуйте, товарищ Коган,
Пожалуйте бриться!»

4

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня-Украина!..
На твоем степном раздолье
Сыромаха скачет,
Свищет перекати-поле
Да ворона крячет...
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,

На дороге нынче двое —
Опанас и Коган.
Над пылающим порогом
Зной дымит и тает;
Комиссар, товарищ Коган,
Барахло скидает...
Растеклось на белом теле
Солнце молодое.
«На, Панько, когда застрелишь,
Возьмешь остальное!
Пары брюк не пожалею,
Пригодятся дома, —
Всё же бывший продармеец,
Хороший знакомый!..»
Всходит солнце боевое,
Кукурузу сушит,
В кукурузе ветер воет
Опанасу в уши:
«За волами шел когда-то,
Воевал солдатом.
Ты ли в сахарное утро
В степь выходишь катом?»
И раскинутая в плясе
Голосит округа:
«Опанасе! Опанасе!
Катюга! Катюга!»
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
«С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело!»
И равнина волком воет —
От Днестра до Буга,
Зверем, камнем и травою:
«Катюга! Катюга!..»
Не гляди же, солнце злое,
Опанасу в очи:
Он грустит, как с перепоя,
Убивать не хочет...
То ль от зноя, то ль от стона
Подошла усталость,
Повернулся:
— Три патрона



В обойме осталось...
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну...
Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину!
Не свалю тебя ударом,
Разгуливай с богом!..—
Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган:
— Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая.
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая!
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые!
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной!..

Тишина в степном раздолье, —
Только выстрел треснул,
Только Коган дрогнул слабо,
Только ахнул Коган,
Начал сваливаться набок,
Падать понемногу...
От железного удара
Над бровями сгусток,
Поглядишь за окуляры:
Холодно и пусто...
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом,
Носом в пыль зарылся Коган
Перед Опанасом...

5

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский,
Кличет у Попова лога
Командир Котовский.

Он долину озирает
Командирским взглядом,
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.
А по каменному склону
Из Попова лога
Вылетают эскадроны
Прямо на дорогу...
От приварка рожи гладки,
Поступь удалая,
Амуниция в порядке,
Как при Николае.
Головами крутят кони,
Хвост по ветру стелют:
За Махной идет погоня
Аккурат неделю.
. . . .

Не шумит над берегами
Молодое жито, —
За чумацкими возами
Прячутся бандиты.
Там, за жбаном самогона,
В палатке дерюжной,
С атаманом забубенным
Толкует бунчужный:
«Надобно с большевиками
Нам принять сраженье, —
Покрутись перед полками,
Дай распоряженье!..»
Как батько с размаху двинул
По столу рукою,
Как батько с размаху грянул
По земле ногою:
«Ну-ка, выдай перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днища,

Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели!
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!..»

. . . .

Прыщут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брешут рыжие лисицы
На чумацкий табор.
За широким ревом бычьим —
Смутно изголовье;
Див сулит полночным кличем
Гибель Приднестровью.
А за темными возами,
За чумацкой соныо,
За ковыльными чубами,
За крылом вороньим,
Омываясь горькой тенью,
Встало над землею
Солнце нового сраженья —
Солнце боевое...

6

Ну, и взялися ладони
За сабли кривые,
На дыбы взлетают кони,
Как вихри степные.
Кони стелются в разбеге
С дорогою вровень —
На чумацкие телеги,
На морды воловьи.
Ходит ветер над возами,
Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский...

Над конем играет шашка
Проливною силой,
Сбита красная фуражка
На бритый затылок.
В лад подрагивают плечи
От конского пляса...
Вырывается навстречу
Гривун Опанаса.
— Налетай, конек мой дикий,
Копытами двигай,
Саблей, пулей или пикой
Добудем комбрига!.. —
Налетели и столкнулись,
Сдвинулись конями,
Сабли враз перехлестнулись
Кривыми ручьями...
У комбрига боевая
Душа занялася,
Он с налета разрубает
Саблю Опанаса.
Рубанув, откинул шашку,
Грозится глазами:
— Покажи свою замашку
Теперь кулаками! —
У комбрига мах ядреный,
Тяжелей свинчатки,
Развернулся — и с разгону
Хлобысть по сопатке!..

. . . .

Опанасе, что с тобою?
Поник головою...
Повернулся, покачнулся,
В траву сковырнулся...
Глаз над левою скулою
Затек синевою...
Молча падает на спину,
Ладони раскинул...
Опанасе, наша доля
Развеяна в поле!..

7

Балта — городок приличный,
Городок что надо.
Нет нигде румяней вишни,
Слаще винограда.
В брынзе, в кавунах, в укропе
Звонок день базарный;
Голубей гоняет хлопец
С каланчи пожарной...
Опанасе, не гадал ты
В ковыле раздольном,
Что поедешь через Балту
Трактом малахольным;
Что тебе вдогонку бабы
Затоскуют взглядом;
Что пихнет тебя у штаба
Часовой прикладом...
Ой, чумацкие просторы —
Горькая потеря!..
Коридоры в коридоры,
В коридорах — двери.
И по коридорной пыли,
По глухому дому,
Опанаса проводили
На допрос к штабному.
А штабной имел к допросу
Старую привычку —
Предлагает папиросу,
Зажигает спичку:
— Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною.
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною?
Отвечайте без обмана,
Не испуга ради, —
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость, —
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?

Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?
— Что я знал: коня, подпругу,
Саблю да поводья!
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина — мать родная —
Билась под конями!
Как мы шли в колесном громе,
Так что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в бога!..
...Одного не позабуду,
Как скончался Коган...
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги...
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила:
Этой самою рукою
Когана убило!..
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито!..

. . . .

Опанасе, наша доля
Туманом повита!..

8

Опанас, шагай смелее,
Гляди веселее!
Ой, не гикнешь, ой, не топнешь,
В ладоши не хлопнешь!
Пальцы дружные ослабли,
Не вытащат сабли.
Наступил последний вечер,
Покрыть тебе нечем!

Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога.
Что ты видишь? Что ты слышишь?
Что знаешь? Чем дышишь?
Ночь горячая, сухая,
Да темень сарая.
Тлеет лампочка под крышей, —
Эй, голову выше!..
А навстречу над порогом —
Загубленный Коган.
Аккуратная прическа,
И щеки из воска.
Улыбается сурово:
«Приятель, здорово!
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою!..»
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога...

ЭПИЛОГ

Протекли над Украиной
Боевые годы.
Отшумели, отгудели
Молодые воды...
Я не знаю, где зарыты
Опанаса кости:
Может, под кустом ракиты,
Может, на погосте...
Плещет крыжень сизокрылый
Над водой днестровской;
Ходит слава над могилой,
Где лежит Котовский...
За бандитскими степями
Не гремят копыта:
Над горючими костями
Зацветает жито.
Над костями голубеет
Непроглядный омут
Да идет красноармеец
На побывку к дому...

Остановится и глянет
Синими глазами —
На бездомный круглый камень,
Вымытый дождями.
И нагнется, и подымет
Одинокий камень:
На ладони — белый череп
С дыркой над глазами.
И промолвит он, почуяв
Мертвую прохладу:
«Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб как надо!..»
И пойдет через равнину,
Через омут зноя,
В молодую Украину,
В жито молодое...

. . . .

Так пускай и я погибну
У Попова лога,
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..

1926

VI

СТИХИ О СОЛОВЬЕ И ПОЭТЕ

Весеннее солнце дробится в глазах,
В канавы ныряет и зайчиком пляшет,
На Трубную выйдешь — и громом в ушах
Огонь соловьиный тебя ошарашит...

Куда как приятны прогулки весной:
Бредешь по садам, пробегаешь базаром!..
Два солнца навстречу: одно над землей,
Другое — расчищенным вдрызг самоваром.

И птица поет. В коленкоровой мгле
Скрывается гром соловьиного лада...

Под клеткою солнце кипит на столе —
Меж чашек и острых кусков рафинада...

Любовь к соловьям — специальность моя,
В различных коленах я толк понимаю:
За лешевой дудкой — вразброд стукотня,
Кукушкина песня и дробь рассыпная...

Ко мне продавец:
«Покупаете? Вот
Как птица моя на базаре поет!
Червонец — не деньги! Берите! И дома,
В покое, засвищет она по-иному...»

От солнца, от света звенит голова...
Я с клеткой в руках дожидаюсь трамвая.
Крестами и звездами тлеет Москва,
Церквами и флагами окружает!

Нас двое!
Бродяга и ты — соловей,
Глазастая птица, предвестница лета,
С тобою купил я за десять рублей —
Черемуху, полночь и лирику Фета!

Весеннее солнце дробится в глазах.
По стеклам течет и в канавы ныряет.
Нас двое.
Кругом в зеркалах и звонках
На гору с горы пролетают трамваи.

Нас двое...
А нашего номера нет...
Земля рассолóдела. Полдень допет.
Зеленою смушкой покрылся кустарник.
Нас двое...
Нам некуда нынче пойти;
Трава горячее, и воздух угарней —
Весеннее солнце стоит на пути.

Куда нам пойти? Наша воля горька!
Где ты запоешь?

Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот, наш посвист
Распродан с лотка...
Как хочешь —
Распивочно или на вынос?

Мы пойманы оба,
Мы оба — в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера...
Ты выслушан,
Взвешен,
Расценен в рублях...
Греми же в зеленых кустах коленкора,
Как я громыхаю в газетных листах!..

1925

* * *

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

Копытом и камнем испытаны годы,
Бессмертной полынью пропитаны воды, —
И горечь полыни на наших губах...
Нам нож — не по кисти,
Перо — не по нраву,
Кирка — не по чести
И слава — не в славу:
Мы — ржавые листья
На ржавых дубах...
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют...
Бездомною стужей уют раздуваем...
Мы в ночь улетаем!

Мы в ночь улетаем!
Как спелые звезды, летим наугад...
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...
Чуть ветер,
Чуть север —
Срывайтесь за ними,
Неситесь за ними,
Гонитесь за ними,
Катитесь в полях,
Запевайте в степях!
За блеском штыка, пролетающим в тучах,
За стуком копыта в берлогах дремучих,
За песней трубы, потонувшей в лесах...

1926

РАЗГОВОР С КОМСОМОЛЬЦЕМ Н. ДЕМЕНТЬЕВЫМ

— Где нам столковаться!
Вы — другой народ!..
Мне — в апреле двадцать,
Вам — тридцатый год.
Вы — уже не юноша,
Вам ли о войне...

— Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...
На плацу, открытом
С четырех сторон,
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон;
Вот и закачались мы
В прозелень травы, —
Я — военспецом,
Военкомом — вы...
Справа — курган,
Да слева курган;
Справа — нога,
Да слева нога;

Справа наган,
Да слева шашка,
Цейс посередке,
Сверху — фуражка...
А в походной сумке —
Спички и табак.
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Степям и дорогам
Не кончен счет;
Камням и порогам
Не найден счет,
Кружит паучок
По загару щек;
Сабля да книга,
Чего еще?

(Только ворон выслан
Сторожить в полях...
За полями Висла,
Ветер да поляк;
За полями ментик
Вылетает в лог!)

Военком Дементьев,
Саблю наголо!

Проклюют навылет,
Поддадут коленом,
Голову намылят
Лошадиной пеной...
Степь заместо простыни:
Натянули — раз!

...Добротными саблями
Побреют нас...

Покачусь, порубан,
Растянусь в траве,
Привалюся чубом
К русой голове...

Не дождались гроба мы,
Кончили поход...
На казенной обуви
Ромашка цветет...
Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет «nevermore» он
По Эдгару По...
«Повернитесь, встаньте-ка...
Затрубите в рог...»
(Старая романтика,
Черное перо!)
— Багрицкий, довольно!
Что за бред!..
Романтика уволена —
За выслугой лет;
Сабля — не гребенка,
Война — не спорт;
Довольно фантазировать,
Закончим спор,
Вы — уже не юноша,
Вам ли о войне!..

— Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...

Лежим, истлевающие
От глотки до ног...
Не выцвела трава еще
В солдатское сукно;
Еще бежит из тела
Болотная ржавь,
А сумка истлела,
Распалась, рассеклась,
И книги лежат...

На пустошах, где солнце
Зарыто в пух ворон,
Туман, костер, бессонница
Морочат эскадрон.
Мечется во мраке
По степным горбам:

Нет, я знал, как подругу,
Саблю да поводья...
~~Отвечать могу в сабле~~ Помню, что знаю.
Не сказать словами —
Украину — мать родную
~~[illegible]~~ Била под ~~[illegible]~~
Как мы шли в румынский,
Как шли наши кони,
Помню, гнали по степи мир
~~Бежала и бандит ка...~~
~~[illegible]~~ удали —
Над степной дорогой
~~Это~~ Одного не позабуду
Как степной дорогой
~~Как [illegible] от [illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
Как дрожала степь от жара
Как перед винтовкой
Он, Котовский, с кудрями
И упал ...

«Ехали казаки,
Чубы по губам...»

А над нами ветры
Ночью говорят:
— Коля, братец, где ты?
Истлеваю, брат! —
Да в дорожной яме,
В дряни, в лоскутах,
Буквы муравьями
Тлеют на листах...

(Над вороньим кругом —
Звездяный лед,
По степным яругам
Ночь идет...)

Нехристь или выкрест
Над сухой травой, —
Размахнулись вихри
Пыльной булавой.
Вырваны ветрами
Из бочаг пустых,
Хлопают крылами
Книжные листы;
На враждебный Запад
Рвутся по стерням:
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

(Кочуют вороны,
Кружат кусты
Вслед эскадрону
Летят листы.)

Чалый иль соловый
Конь храпит.
Вьется слово
Кругом копыт.
Под ветром снова
В дыму щека;
Вьется слово

Кругом штыка...
Пусть покрыты плесенью
Наши костяки,
То, о чем мы думали,
Ведет штыки...
С нашими замашками
Едут пред полком —
С новым военспецом
Новый военком.
Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

1927

ТРЯСИНА

1

НОЧЬ

Ежами в глаза налезала хвоя,
Прели стволы, от натуги воя.

Дятлы стучали, и совы стыли;
Мы челноки по реке пустили.

Трясина кругом да камыш кудлатый,
На черной воде кувшинок заплаты.

А под кувшинками в жидком сале
Черные сомы месяц сосали;

Месяц сосали, хвостом плескали,
На жирную воду зыбь напускали.

Комар начинал. И с комарьим стоном
Трясучая полночь шла по затонам.

Шла в зыбуны по сухому краю,
На каждый камыш звезду натыкая...

И вот поползли, грызясь и калечась,
И гад, и червяк, и другая нечисть...

Шли, раздвигая камыш боками,
Волки с булыжными головами.

Видели мы — и поглядка прибыль! —
Узких лисиц, золотых, как рыбы...

Пар оседал малярийным зноем,
След наливался болотным гноем.

Прямо в глаза им, сквозь синий студень
Месяц глядел, непонятный людям...

Тогда-то в болотном нутре гудело:
Он выходил на ночное дело...

С треском ломали его колена
Жесткий тростник, как сухое сено.

Жира и мышц жиляная сила
Вверх не давала поднять затылок.

В маленьких глазках — в болотной мути —
Месяц кружился, как капля ртути.

Он проходил, как меха вздыхая,
Сизую грязь на гачах вздымая.

Мерно покачиваем трясиной, —
Рылом в траву, шевеля щетиной,

На водопой, по нарывам кочек,
Он продвигался — обломок ночи,

Не замечая, как на востоке
Мокрой зари проступают соки;

Как над стеной камышовых щеток
Утро восходит из птичьих глоток;

Как в очерете, тайно и сладко,
Ноет болотная лихорадка...

. . . .

Время пришло стволам вороненым
Правду свою показать затонам,

Время настало в клыкастый камень
Грянуть свинцовыми кругляками.

. . . .

А между тем по его щетине
Солнце легло, как багровый иней, —

Солнце, распухшее, водяное,
Встало над каменною спиною.

Так и стоял он в огнях без счета,
Памятником, что воздвигли болота.

Памятник — только вздыхает глухо
Да поворачивается ухо...

Я говорю с ним понятной речью:
Самою крупною картечью.

Раз!
Только ухом повел — и разом
Грудью мотнулся и дрогнул глазом.

Два!
Закружились камыш с кугою,
Ахнул зыбун под его ногою...

В солнце, встающее над трясиной,
Он устремился горя щетиной.

Медью налитый, с кривой губою,
Он, убегая храпел трубою.

Вплавь по воде, вперебежку сушей,
В самое пекло вливаясь тушей, —

Он улетал, уплывал в туманы,
В княжество солнца, в дневные страны...

А с челнока два пустых патрона
Кинул я в черный тайник затона.

2

ДЕНЬ

Жадное солнце вставало дыбом,
Жабры сушило в полоях рыбам;

В жарком песке у речных излучий
Разогревало яйца гадючьи;

Сыпало уголь в берлогу волчью,
Птиц умывало горючей желчью;

И, расправляя перо и жало,
Мокрая нечисть солнце встречала.

. . . .

Тропка в трясине, в лесу просека
Ждали пришествия человека.

. . . .

Он надвигался, плечистый, рыжий,
Весь обдаваемый медной жижей.

Он надвигался — и под ногами
Брызгало и дробилось пламя.

И отливало пудовым зноем
Ружье за каменною спиною.

Через овраги и буераки
Прыгали огненные собаки.

В сумерки, где над травой зыбучей
Зверь надвигался косматой тучей,

Где в камышах, в земноводной прели,
Сердце стучало в огромном теле

И по ноздрям всё чаще и чаще
Воздух врывался струей свистящей.

Через болотную гниль и одурь
Передвигалась башки колода

Кряжистым лбом, что порос щетиной,
В солнце, встающее над трясиной.

Мутью налитый болотяною,
Черный, истыканный сединою, —

Вот он и вылез над зыбунами
Перед убийцей, одетым в пламя.

И на него, просверкав во мраке,
Ринулись огненные собаки.

Задом в кочкарник упершись твердо,
Зверь превратился в крутую морду,

Тело исчезло, и ребра сжались,
Только глаза да клыки остались,

Только собаки перед клыками
Вертятся огненными языками.

«Побереги!» — и, взлетая криво,
Псы низвергаются на загривок.

И закачалось и загудело
В огненных пьявках черное тело.

Каждая быстрая капля крови,
Каждая кость теперь наготове.

Пот оседает на травы ржою,
Едкие слюни текут вожжою.

Дыбом клыки, и дыханье суше, —
Только бы дернуться ржавой туше...

Дернулась!
И, как листье сухое,
Псы облетают, скребясь и воя.

И перед зверем открылись кругом
Медные рощи и топь за лугом.

И, обдаваемый красной жижей,
Прямо под солнцем убийца рыжий.

И побежал, ветерком катимый,
Громкий сухой одуванчик дыма.

В брюхо клыком — не найдешь дороги,
Двинулся — но подвернулись ноги,

И заскулил, и упал, и вольно
Грянула псиная колокольня:

И над косматыми тростниками
Вырос убийца, одетый в пламя...

1927

ПАПИРОСНЫЙ КОРОБОК

Раскуренный дочиста коробок,
Окурки под лампою шаткой.
Он гость — я хозяин. Плывет в уголок
Студеная лодка-кроватка.

— Довольно! Пред нами другие пути,
Другая повадка и хватка! —
Но гость не встает Он не хочет уйти;
Он пальцами, чище слоновой кости,
Терзает и вертит перчатку...

Столетняя палка застыла в углу,
Столетний цилиндр вверх дном на полу,

Вихры над веснушками взреяли, —
Из гроба, с обложки ли от папирос —
Он в кресла влетел и к пружинам прирос,
Перчатку терзая, — Рылеев...

— Ты наш навсегда! Мы повсюду с тобой,
Взгляни! —
И рукой на окно:
        Голубой
Сад ерзал костями пустыми,
Сад в ночь подымал допотопный костяк,
Вдыхая луну, от бронхита свистя,
Шепча непонятное имя...

— Содружество наше навек заодно! —

Из пруда, прижатого к иве,
Из круглой смородины лезет в окно
Промокший Каховского кивер...

Поручик! Он рвет каблуками траву,
Он бредит убийством и родиной,
Приклеилась к рыжему рукаву
Лягушечья лапка смородины...

Вы тени от лампы!
Вы мокрая дрожь
Деревьев под звездами робкими...
Меня разговорами не проведешь,
Портрет с папиросной коробки...

Я выключил свет — и видения прочь!

На стекла, с предательской ленью,
В гербах и султанах надвинулась ночь,
Ночь Третьего отделенья...

Пять сосен тогда выступают вперед,
Пять виселиц, скрытых вначале;

И сизая плесень блестит и течет
По мокрой и мыльной мочале...

В калитку врывается ветер шальной,
Отчаянный и бесприютный, —
И ветви над крышей и надо мной
Заносятся, как шпицрутены...

Крылатые ставни колотятся в дом,
Скрежещут зубами шарниров,
Как выкрик:
«Четвертая рота — кругом!» —
Упрятанных в ночь командиров...
И я пробегаю сквозь строй без конца
В поляны, в леса, в бездорожья...
...И каждая палка хочет мясца,
И каждая палка пляшет по коже...
В ослиную шкуру стучит кантонист
(Иль ставни хрипят в отдаленье?)...
А ночь за окном как шпицрутенов свист,
Как Третье отделенье,
Как сосен качанье, как флюгера вой...
И вдруг поворачивается ключ световой.

Безвредною синькой покрылось окно,
Окурки под лампою шаткой.
В пустой уголок, где от печки темно,
Как лодка, вплывает кроватка...

И я подхожу к ней под гомон и лай
Собак, зараженных бессонницей:
— Вставай же, Всеволод, и всем володай,
Вставай под осеннее солнце!
Я знаю: ты с чистою кровью рожден,
Ты встал на пороге веселых времен!
Прими ж завещанье:
Когда я уйду
От песен, от ветра, от родины —
Ты начисто выруби сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины!

1927

ПОБЕДИТЕЛИ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Я не запомнил — на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась — краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Всё бормотало мне:
«Подлец! Подлец!»
И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;

И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...
— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?
Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И всё кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья,
Рвущие лицо, —
Всё это встало поперек дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
— Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи! —

Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

1930

CYPRINUS CARPIO[1]

> После дождей на Зеленом озере потоп. Рыбоводная станция залита водой. Рыбовод и рабочие заболели. Мальки ценных пород в опасности.
>
> *Письмо рабкора*

РОМАНС КАРПУ

Закованный в бронзу с боков,
Он плыл в темноте колеи,
Мигая в лесах тростников
Копейками чешуи.
Зеленый огонь на щеке,
Обвисли косые усы,
Зрачок в золотом ободке
Вращается, как на оси.
Он плыл, огибая пруды,
Сражаясь с безумным ручьем,
Поборник проточной воды —
Он пойман и приручен.
Лягушника легкий кружок
Откинув усатой губой,
Плывет на знакомый рожок
За крошками в полдень и зной.
Он бросил студеную глубь,
Кустарник, звезду на зыбях,
С пушистой петрушкой в зубах,
Дымясь, проплывая к столу.

---

[1] Карп, сазан (лат.). — *Ред.*

ОДА

Настали времена, чтоб оде
Потолковать о рыбоводе.

Пруды он продвинул болотам в тыл,
Советский водяной.
Самцов он моло́ками налил
И самок набил икрой.
Жуки на березах.
Туман. Жара.
На журавлей урожай.
Он пробует воду:
«Теперь пора!
Плывите и размножайтесь!»
(Ворот скрипит: стопорит ржа;
Шлюзы разъезжаются визжа.)
Тогда запевает во все концы
Вода, наступая упрямо,
И в свадебной злости
Плывут самцы
На стадо беременных самок...

О ты — человек такой же, как я,
Болезненный и небритый,
Которому жить не дает семья,
Пеленки, тарелки, плиты,
Ты сделался нынче самим собой —
Начальник столпотворенья.

Выходят самцы на бесшумный бой,
На бой за оплодотворенье.
Распахнуты жабры;
Плавник зубчат;
Обложены медью спины...
В любви молчат.
В смерти молчат.
Молча падают в тину.
Идет молчаливая игра;
Подкрадыванье и пляски.
...И звездами от взмаха пера

Взлетает и путается икра
В зеленой и клейкой ряске.

Тогда, закурив, говорит рыбовод:
«Довольно сражаться! Получен приплод!»

СТАНСЫ

Он трудится не покладая рук,
Сачком выгребая икру.

Он видит, как в студне точка растет:
Жабры, глаза и рот.

Он видит, как начинается рост;
Как возникает хвост;

Как первым движением плывет малек
На водяной цветок.

И эта крупинка любви дневной,
Этот скупой осколок
В потемки кровей, в допотопный строй
Вводит тебя, ихтиолог.

Над жирными водами встал туман,
Звезда над кустом косматым —
И этот малек, как левиафан,
Плывет по морским закатам.

И первые ветры, и первый прибой,
И первые звезды над головой.

ЭПОС

До ближней деревни пятнадцать верст,
До ближней станции тридцать. . .
Утиные стойбища (гнойный ворс).
От комарья не укрыться.
Голодные щуки жрут мальков,
Линяет кустарник хилый,
Болотная жижа промежду швов
Въедается в бахилы.

Ползет на пруды с кормовых болот
Душительница-тина,
В расстроенных бронхах
Бронхит поет,
В ушах завывает хина.
Рабочий в жару.
Помощник пьян.
В рыборазводне холод.
По заболоченным полям
Рассыпалась рыбья молодь.
«На помощь!» —
Летит телеграфный зуд
Сквозь морок болот и тленье,
Но филином гукает УЗУ
Над ящиком заявлений.
Из черной куги,
Из прокисших вод
Луна вылезает дыбом.
...Луной открывается ночь. Плывет
Чудовищная Главрыба.
Крылатый плавник и сазаний хвост:
Шальных рыбоводов ересь.
И тысячи студенистых звезд
Ее небывалый нерест.

О, сколько ножей и сколько багров
Ее ударят под ребро!

В каких витринах, под звон и вой,
Она повиснет вниз головой?

Ее окружает зеленый лед,
Над ней огонек белесый.
Перед ней остановится рыбовод,
Пожевывая папиросу.
И в улиц булыжное бытие
Она проплывет в тумане.
Он вывел ее.
Он вскормил ее.
И отдал на растерзанье.

1928, 1929

ВЕСНА, ВЕТЕРИНАР И Я

Над вывеской лечебницы синий пар.
Щупает корову ветеринар.

Марганцем окрашенная рука
Обхаживает вымя и репицы плеть,
Нынче корове из-под быка
Мычать и, вытягиваясь, млеть.
Расчищен лопатами брачный круг,
Венчальную песню поет скворец,
Знаки Зодиака сошли на луг:
Рыбы в пруду и в траве Телец.

(Вселенная в мокрых ветках
Топорщится в небеса.
Шаманит в сырых беседках
Оранжевая оса,
И жаворонки в клетках
Пробуют голоса.)

Над вывеской лечебницы синий пар.
Умывает руки ветеринар.

Топот за воротами.
Поглядим.
И вот, выпячивая бока,
Коровы плывут, как пятнистый дым,
Пропитанный сыростью молока,
И памятью о кормовых лугах
Роса, как бубенчики, на рогах,
Из-под мерных ног
Голубой угар.
О чем же ты думаешь, ветеринар?
На этих животных должно тебе
Теперь возложить ладони свои·
Благословляя покой, и бег,
И смерть, и мучительный вой любви,

(Апрельского мира челядь,
Ящерицы, жуки,

Они эту землю делят
На крохотные куски;
Ах, мальчики на качелях,
Как вздрагивают суки!)

Над вывеской лечебницы синий пар...
Я здесь! Я около! Ветеринар!

Как совесть твоя, я встал над тобой,
Как смерть, обхожу твои страдные дни!
Надрывайся!
Работай!
Ругайся с женой!
Напивайся!
Но только не измени...
Видишь: падает в крынки парна́я звезда.
Мир лежит без межей,
Разутюжен и чист.
Обрастает зеленым,
Блестит, как вода,
Как промытый дождями
Кленовый лист.
Он здесь! Он трепещет невдалеке!
Ухвати и, как птицу, сожми в руке!

(Звезда стоит на пороге —
Не испугай ее!
Овраги, леса, дороги:
Неведомое житье!
Звезда стоит на пороге —
Смотри — не вспугни ее!)

Над вывеской лечебницы синий пар.
Мне издали кланяется ветеринар.

Скворец распинается на шесте.
Земля — как из бани. И ветра нет.
Над мелкими птицами
В пустоте
Постукиванье булыжных планет.
И гуси летят к водяной стране;
И в город уходят служителя,

С громадными звездами наедине
Семенем истекает земля.

(Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой,
Чтоб взять этот мир, как соты,
Обрызганные росой.
Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой.)

1930

СТИХИ О СЕБЕ

1
ДОМ

Хотя бы потому, что потрясен ветрами
Мой дом от половиц до потолка;
И старая сосна трет по оконной раме
Куском селедочного костяка;
И глохнет самовар, и запевают вещи,
И женщиной пропахла тишина,
И над кроватью кружится и плещет
Дымок ребяческого сна, —
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
В звероподобные кусты,
Где ветер осени, шурша снопом соломы,
Взрывает ржавые листы,
Где дождь пронзительный (как леденеют щеки!),
Где гнойники на сваленных стволах,
И ронжи скрежет и отзыв далекий
Гусиных стойбищ на лугах...
И всё болотное, ночное, колдовское,
Проклятое — всё лезет на меня:
Кустом морошки, вкусом зверобоя,
Дымком ночлежного огня,
Мглой зыбунов, где не расслышишь шага.
...И вдруг — ладонью по лицу —
Реки расхристанная влага,
И в небе лебединый цуг.
Хотя бы потому, что туловища сосен

Стоят, как прадедов ряды,
Хотя бы потому, что мне в ночах несносен
Огонь олонецкой звезды, —
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
(С дороги, беспризорная сосна!)
В распахнутую дверь,
В добротный запах дома,
В дымок младенческого сна...

2

ЧИТАТЕЛЬ В МОЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Во первых строках
Моего письма
Путь открывается
Длинный, как тесьма.
Вот, строки раскидывая,
Лезет на меня
Драконоподобная
Морда коня.
Вот скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он опережает
Овечий гурт,
Его подстерегает
Каракурт,
Его сопровождает
Шакалий плач,
И пулю посылает
Ему басмач.
Но скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он тянет из кармана
Сухой урюк,
Он курит папиросы,
Что я курю;
Как я — он любопытен:

В траве степей
Выслеживает тропы
Зверей и змей.
Полдень придет —
Он слезет с коня,
Добрым словом
Вспомнит меня;
Сдвинет картуз
И зевнет слегка,
Книжку мою
Возьмет из мешка;
Прочтет стишок,
Оторвет листок,
Скинет пояс —
И под кусток.

Чего ж мне надо!
Мгновенье, стой!
Да здравствует гидрограф —
Читатель мой!

3

ТАК БУДЕТ

Черт знает где,
На станции ночной,
Читатель мой,
Ты встретишься со мной.
Сутуловат,
Обветрен,
Запылен,
А мне казалось,
Что моложе он...
И скажет он,
Стряхая пыль травы:
«А мне казалось,
Что моложе вы!»
Так, вытерев ладони о штаны,
Встречаются работники страны.
У коновязи
Конь его храпит,
За сотни верст

Мой самовар кипит, —
И этот вечер,
Встреченный в пути,
Нам с глазу на глаз
Трудно провести.
Рассядемся,
Начнем табак курить.
Как невозможно
Нам заговорить.
Но вот по взгляду,
По движенью рук
Я в нем охотника
Признаю вдруг —
И я скажу:
«Уже на реках лед,
Как запоздал
Утиный перелет».
И скажет он,
Не подымая глаз:
«Нет времени
Охотиться сейчас!»
И замолчит.
И только смутный взор
Глухонемой продолжит разговор,
Пока за дверью
Не затрубит конь,
Пока из лампы
Не уйдет огонь,
Пока часы
Не скажут, как всегда:
«Довольно бреда,
Время для труда!»

1929

ВСТРЕЧА

Меня еда арканом окружила,
Она встает эпической угрозой,
И круг ее неразрушим и страшен,
Испарина подернула ее...
И в этот день в Одессе на базаре

Я заблудился в грудах помидоров,
Я средь арбузов не нашел дороги,
Черешни завели меня в тупик,
Меня стена творожная обстала,
Стекая сывороткой на булыжник,
И ноздреватые обрывы сыра
Грозят меня обвалом раздавить.
Еще — на градус выше — и ударит
Из бочек масло раскаленной жижей
И, набухая желтыми прыщами,
Обдаст каменья — и зальет меня.
И синемордая тупая брюква,
И крысья, узкорылая морковь,
Капуста в буклях, репа, над которой
Султаном подымается ботва,
Вокруг меня, кругом, неумолимо
Навалены в корзины и телеги,
Раскиданы по грязи и мешкам.
И как вожди съедобных батальонов,
Как памятники пьянству и обжорству,
Обмазанные сукровицей солнца,
Поставлены хозяева еды.
И я один среди враждебной стаи
Людей, забронированных едою,
Потеющих под солнцем Хаджи-бея
Чистейшим жиром, жарким, как смола.
И я мечусь средь животов огромных,
Среди грудей, округлых, как бочонки,
Среди зрачков, в которых отразились
Капуста, брюква, репа и морковь.
Я одинок. Одесское, густое,
Большое солнце надо мною встало,
Вгоняя в землю, в травы и телеги
Колючие отвесные лучи.
И я свищу в отчаянье, и песня
В три россыпи и в два удара вьется
Бездомным жаворонком над толпой.
И вдруг петух, неистовый и звонкий,
Мне отвечает из-за груды пищи,
Петух — неисправимый горлопан,
Орущий в дни восстаний и сражений.
Оглядываюсь — это он, конечно,

Мой старый друг, мой Ламме, мой товарищ,
Он здесь, он выведет меня отсюда
К моим давно потерянным друзьям!
Он толще всех, он больше всех потеет;
Промокла полосатая рубаха,
И брюхо, выпирающее грозно,
Колышется над пыльной мостовой.
Его лицо багровое, как солнце,
Расцвечено румянами духовки,
И молодость древнейшая играет
На неумело выбритых щеках.
Мой старый друг, мой неуклюжий Ламме,
Ты так же толст и так же беззаботен,
И тот же подбородок четверной
Твое лицо, как прежде, украшает.
Мы переходим рыночную площадь,
Мы огибаем рыбные ряды,
Мы к погребу идем, где на дверях
Отбита надпись кистью и линейкой:
«Пивная госзаводов Пищетрест».
Так мы сидим над мраморным квадратом,
Над пивом и над раками — и каждый
Пунцовый рак, как рыцарь в красных латах,
Как Дон-Кихот, бессилен и усат.
Я говорю, я жалуюсь. А Ламме
Качает головой, выламывает
Клешни у рака, чмокает губами,
Прихлебывает пиво и глядит
В окно, где проплывает по стеклу
Одесское просоленное солнце,
И ветер с моря подымает мусор
И столбики кружит по мостовой.
Всё выпито, всё съедено. На блюде
Лежит опустошенная броня
И кардинальская тиара рака.
И Ламме говорит: «Давно пора
С тобой потолковать! Ты ослабел,
И желчь твоя разлилась от безделья,
И взгляд твой мрачен, и язык остер.
Ты ищешь нас, — а мы везде и всюду,
Нас множество, мы бродим по лесам,
Мы направляем лошадь селянина,

Мы раздуваем в кузницах горнило,
Мы с школярами заодно зубрим.
Нас много, мы раскиданы повсюду,
И если не певцу, кому ж еще
Рассказывать о радости минувшей
И к радости грядущей призывать?
Пока плывет над этой мостовой
Тяжелое просоленное солнце,
Пока вода прохладна по утрам,
И кровь свежа, и птицы не умолкли, —
Тиль Уленшпигель бродит по земле».

И вдруг за дверью раздается свист
И россыпь жаворонка полевого.
И Ламме опрокидывает стол,
Вытягивает шею — и протяжно
Выкрикивает песню петуха.
И дверь приотворяется слегка,
Лицо выглядывает молодое,
Покрытое веснушками, и губы
В улыбку раздвигаются, и нас
Оглядывают с хитрою усмешкой
Лукавые и ясные глаза.

. . . .

Я Тиля Уленшпигеля пою!

1923, 1928

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ

(АВТОБУС)

В тучу, в гулкие потемки,
Губы выкатил рожок,
С губ свисает на тесемке
Звука сдавленный кружок.
Оборвется, пропыленный, —
И покатится дрожа
На Поклонную, с Поклонной,
Выше. Выше. На Можайск.
Выше. Круглый и неловкий,
Он стремится наугад,
У случайной остановки

Покачнется — и назад.
Через лужи, через озимь,
Прорезиненный, живой,
Обрастающий навозом,
Бабочками и травой —
Он летит, грозы предтеча,
В деревенском блеске бус,
Он кусты и звезды мечет
В одичалый автобус;
Он хрипит неудержимо
(Захлебнулся сгоряча!),
Он обдаст гремучим дымом
Вороненого грача.
Молния ударит мимо
Переплетом калача.
Матершинничает всуе,
Ввинчивает в пыль кусты.
Я за приступ голосую!
Я за взятие! А ты?
И выносит нас кривая,
Раскачнувшись широко!
Над шофером шаровая
Молния, как яблоко.

Всё открыто и промыто,
Камни в звездах и росе,
Извиваясь, в тучи влито
Дыбом вставшее шоссе.
Над последним косогором
Никого.
Лишь он один —
Тот аквариум, в котором
Люди, воздух и бензин.
И, взывая, как оратор,
В сорок лошадиных сил,
Входит равным радиатор
В сочетание светил.
За стеклом орбиты, хорды,
И, пригнувшись, сед и сер,
Кривобокий, косомордый,
Давит молнию шофер.

1928

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОЭТА

Весенний ветер лезет вон из кожи,
Калиткой щелкает, кусты корежит,
Сырой забор подталкивает в бок,
Сосна, как деревянное проклятье,
Железный флюгер, вырезанный ятью
(Смотри мой «Папиросный коробок»).
А критик за библейским самоваром,
Винтообразным окружен угаром,
Глядит на чайник, бровью шевеля.
Он тянет с блюдца, — в сторону мизинец, —
Кальсоны хлопают на мезонине,
Как вымпел пожилого корабля,
И самовар на скатерти бумажной
Протодиаконом трубит протяжно.
Сосед откушал, обругал жену
И благодушествует:
«Ах! Погода!
Какая подмосковная природа!
Сюда бы Фофанова да луну!»

Через дорогу в хвойном окруженье
Я двигаюсь взлохмаченною тенью,
Ловлю пером случайные слова.
Благословляю кляксами бумагу.
Сырые сосны отряхают влагу,
И в хвое просыпается сова.
Сопит река.
Земля раздражена
(Смотри стихотворение «Весна»).
Слова как ящерицы — не наступишь;
Размеры — выгоднее воду в ступе
Толочь; а композиция встает
Шестиугольником или квадратом;
И каждый образ кажется проклятым,
И каждый звук топырится вперед.
И с этой бандой символов и знаков
Я, как биндюжник, выхожу на драку
(Я к зуботычинам привык давно).
А критик мой недавно чай откушал.
Статью закончил, радио прослушал

И на террасу распахнул окно.
Меня он видит — он доволен миром —
И тенорком, политым легким жиром,
Пугает галок на кусте сыром.
Он возглашает:
«Прорычите басом,
Чем кончилась волынка с Опанасом,
С бандитом, украинским босяком.
Ваш взгляд от несварения неистов.
Прошу, скажите за контрабандистов,
Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма, —
Ах, для здоровья мне необходимы
Романтика, слабительное, бром!
Не в этом ли удача из удач?
Я говорю как критик и как врач».
Но время движется. И на дороге
Гниют доисторические дроги,
Булыжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылазит, —
И вот ползет по укрощенной грязи,
Покачивая бедрами, трамвай.
(Сосед мой недоволен:
«Эт-то проза!»)
Но плимутрок из ближнего совхоза
Орет на солнце, выкатив кадык.
«Как мне работать!
Голова в тумане».

И бытием прижатое сознанье
Упорствует и выжимает крик.
Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы, —
Побоями нас нянчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки,

Колючие ошметки и крючки —
Начало будущего оперенья.
        «Ау, сосед!»
                Он стонет и ворчит:
«Невыносимо плимутрок кричит,
Невыносимо дребезжат трамваи!
Да, вы линяете, милейший мой!
Вы погибаете, милейший мой!
Да, вы в тупик уперлись головой,
И, как вам выбраться, не понимаю!»
Молчи, папаша! Пестрое перо —
Топорщится, как новая рубаха.
Петуший гребень дыбится остро;
Я, словно исполинский плимутрок,
Закидываю шею. Кличет рог, —
Крылами раз! — и на забор с размаха.
О, злобное петушье бытие!
Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее мое
Кружится над становищем соседа.

1929

ТВС

Пыль по ноздрям — лошади ржут.
Акации сыплются на дрова.
Треплется по ветру рыжий джут.
Солнце стоит посреди двора.
Рычаньем и чадом воздух прорыв,
Приходит обеденный перерыв.

Домой до вечера. Тишина.
Солнце кипит в каждом кремне.
Но глухо, от сердца, из глубины,
Предчувствие кашля идет ко мне.

И сызнова мир колюч и наг:
Камни — углы, и дома — углы;
Трава до оскомины зелена;
Дороги до скрежета белы.

Надсаживаясь и спеша донельзя,
Лезут под солнце ростки и Цельсий.

(Значит: в гортани просохла слизь,
Воздух, прожарясь, стекает вниз,
А снизу, цепляясь по веткам лоз,
Плесенью лезет туберкулез.)

Земля надрывается от жары.
Термометр взорван. И на меня,
Грохоча, осыпаются миры
Каплями ртутного огня,
Обжигают темя, текут ко рту.
И вся дорога бежит, как ртуть.
А вечером в клуб (доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка).
Дома же сонно и полутемно:
О, скромная заповедь молока!

Под окнами тот же скопческий вид,
Тот же кошачий и детский мир,
Который удушьем ползет в крови,
Который до отвращенья мил,
Чадом которого ноздри, рот,
Бронхи и легкие — всё полно,
Которому голосом сковород
Напоминать о себе дано.
Напоминать: «Подремли, пока
Правильно в мире. Усни, сынок».

Тягостно коченеет рука,
Жилка колотится о висок.

(Значит: упорней бронхи сосут
Воздух по капле в каждый сосуд;
Значит: на ткани полезла ржа;
Значит: озноб, духота, жар.)
Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век.
Будто постукивает слегка
Остроугольный палец в дверь.
Надо открыть в конце концов!

«Войдите». — И он идет сюда:
Остроугольное лицо,
Остроугольная борода.
(Прямо с простенка не он ли, не он,
Выплыл из воспаленных знамен?
Выпятив бороду, щурясь слегка
Едким глазом из-под козырька.)
Я говорю ему: «Вы ко мне,
Феликс Эдмундович? Я нездоров».

...Солнце спускается по стене.
Кошкам на ужин в помойный ров
Заря разливает компотный сок.
Идет знаменитая тишина.
И вот над уборной из досок
Вылазит неприбранная луна.

«Нет, я попросту — потолковать».
И опускается на кровать.

Как бы продолжая давнишний спор,
Он говорит: «Под окошком двор
В колючих кошках, в мертвой траве,
Не разберешься, который век.
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.
Я тоже почувствовал тяжкий груз
Опущенной на плечо руки.
Подстриженный по-солдатски ус
Касался тоже моей щеки.
И стол мой раскидывался, как страна,
В крови и чернилах квадрат сукна,
Ржавчина перьев, бумаги клок —
Всё друга и недруга стерегло.
Враги приходили — на тот же стул
Садились и рушились в пустоту.

Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.
Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я».
Смолкает. Жилка о висок
Глуше и осторожней бьет.
(Значит: из пор, как студеный сок,
Медленный проступает пот.)
И ветер в лицо, как вода из ведра.
Как вестник победы, как снег, как стынь.
Луна лейкоцитом над кругом двора,
Звезды круглы, и круглы кусты.
Скатываются девять часов
В огромную бочку возле окна.
Я выхожу. За спиной засов
Защелкивается. И тишина.
Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганая доска,
Готовая к легкой пляске пилы,
К тяжелой походке молотка.
И я ухожу (а вокруг темно)
В клуб, где нынче доклад и кино,
Собранье рабкоровского кружка.

1929

ВЕСЕЛЫЕ НИЩИЕ

(Р. БЕРНС)

Листва набегом ржавых звезд
Летит на землю, и норд-ост
Свистит и стонет меж стволами;
Траву задела седина,

Морозных полдней вышина
Встает над сизыми лесами.
Кто в эту пору изнемог
От грязи нищенских дорог,
Кому проклятья шлют деревни:
Он задремал у очага,
Где бычья варится нога,
В дорожной воровской харчевне;
Здесь Нэнси нищенский приют,
Где пиво за тряпье дают.
Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников.
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков.
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир.
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,
И что ему холодом пахнущий мир.
Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна,
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она.
И, словно удары хлыста,
Смыкаются дружно уста.
Смыкаются и размыкаются громко.
Прыщавые лбы освещает очаг
Меж тем под столом отдыхает котомка —
Знак ордена Нищих,
Знак братства Бродяг.
И кружку подняв над собою
Как знамя, готовое к бою,
Солодом жарким объят,
Так запевает солдат:

«Ах! Я Марсом порожден, в перестрелках окрещен,
Поцарапано лицо, шрам над верхнею губою,
Оцарапан — страсти знак! — этот шрам врубил тесак
В час, как бил я в барабан перед французскою толпою.
В первый раз услышал я заклинание ружья,
Где упал наш генерал в тень Абрамского кургана,

А когда военный рог пел о гибели Моро,
Служба кончилась моя под раскаты барабана.
Куртис вел меня с собой к батареям над водой,
Где рука и где нога? Только смерч огня и пыли.
Но безрукого вперед в бой уводит Эллиот;
Я пошел, а впереди барабаны битву били...
Пусть погибла жизнь моя, пусть костыль взамен ружья,
Ветер гнезда свил свои, ветер дует по карманам,
Но любовь верна всегда — путеводная звезда,
Будто снова я спешу за веселым барабаном.
Рви, метель, и, ветер, бей. Волос мой снегов белей.
Разворачивайся, путь! Вой, утроба океана!
Я доволен — я хлебнул! Пусть выводит Вельзевул
На меня полки чертей под раскаты барабана!»

Охрип или слов недостало,
И сызнова топот и гам,
И крысы, покрытые салом,
Скрываются по тайникам.
И та, что сидела с солдатом,
Над сборищем встала проклятым.
«Encore! [1]» — восклицает скрипач.
Косматый вздымается волос;
Скажи мне: то женский ли голос,
Шипение пива, иль плач?

«И я была девушкой юной,
Сама не припомню когда;
Я дочь молодого драгуна,
И этим родством я горда.
Трубили горнисты беспечно,
И лошади строились в ряд,
И мне полюбился, конечно,
С барсучьим султаном солдат.
И первым любовным туманом
Меня он покрыл, как плащом,
Недаром он шел с барабаном
Пред целым драгунским полком;
Мундир полыхает пожаром,
Усы палашами торчат...

---

[1] Еще! (франц.). — *Ред.*

Недаром, недаром, недаром
Тебя я любила, солдат.
Но прежнего счастья не жалко,
Не стоит о нем вспоминать,
И мне барабанную палку
На рясу пришлось променять.
Я телом рискнула, — а душу
Священник пустил напрокат.
Ну что же! Я клятву нарушу,
Тебе изменю я, солдат!
Что может, что может быть хуже
Слюнявого рта старика!
Мой норов с военщиной дружен, —
Я стала женою полка!
Мне всё равно: юный иль старый,
Командует, трубит ли в лад,
Играла бы сбруя пожаром,
Кивал бы султаном солдат.
Но миром кончаются войны,
И по миру я побрела.
Голодная, с дрожью запойной,
В харчевне под лавкой спала.
На рынке, у самой дороги,
Где нищие рядом сидят,
С тобой я столкнулась, безногий,
Безрукий и рыжий солдат.
Я вольных годов не считала,
Любовь раздавая свою;
За рюмкой, за кружкой удалой
Я прежние песни пою.
Пока еще глотка глотает,
Пока еще зубы скрипят,
Мой голос тебя прославляет,
С барсучьим султаном солдат!»

И снова женщина встает,
Знакомы ей туман и лед,
В горах случайные дороги,
Косуля, тетерев и лис,
Игла сосны и дуба лист,
Разбойничий двупалый свист,
Непроходимые берлоги.

Ее приятель горцем был,
Он пиво пил, он в рог трубил,
Норд-ост трепал его отрепья,
Он чуял ветер неудач,
Но вот его пеньковой цепью
Почетно обвязал палач.
И нынче пьяная подруга
Над пивом вспоминает друга:

«Под елью Шотландии горец рожден.
Да здравствует клан! Да погибнет закон!
Он знает равнину, и камень, и лог,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок.
В тартановом пледе, расшитом пестро,
На шапке болотного гуся перо,
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Мы шли по дороге от Твида до Спей,
Под выход волынки, под пляску ветвей,
Мы пели вдвоем, мы не чуяли ног,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Его осудили — и выгнали вон,
Но вереск цветет — появляется он;
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок.
Погоня! Погоня! Исполнился день —
Захвачен Шотландии вольный олень.
Палач. И веревка намылена в срок.
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Прощайте, веселые реки мои,
Волынка, попутчица нашей любви.

За ветер, за песни последний глоток!
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!»

Хор

Надо выпить за Джона!
Надо выпить за Джона!
Нет на земле шотландца
Доблестней горца Джона!

Перед шотландскою красоткой
Огромной, рыжей, как кумач,

Стоит влюбившийся скрипач,
Разбитый временем и водкой.
Не достигая до плеча,
Он ей бормочет сгоряча:
«Я джентльмен, и должен я, мой друг, утешить тебя.
Ты можешь очень весело жить, лишь скрипача любя.
Я в жертву тебе принести готов и музыку и себя.
На остальное плевать!
По свадьбам начнем мы ходить с тобой — что может быть веселей?
О, пляски на фермерском дворе среди золотых полей,
Когда скрипач кричит жениху: «Жених! наливай полней!»
На остальное плевать.
И солнце покажется нам тогда как донце кружки пивной,
И ветер подушкою будет нам, покрывалом — июльский зной,
Любовь и музыка по бокам, котомка — за спиной!
На остальное плевать!
Довольно!» — и скрипку пунцовым платком
С веселою нежностью кутает гном;
Глаза подымает — и видит старик
Огромной возлюбленной пламенный лик...
Но к черту ломаются стулья и стол,
Кузнец подымается, груб и тяжел,
Моргая глазами, сопя и ворча,
Он в зубы, по правилам, бьет скрипача.
Огромен кузнец. Огневой, кровяной,
Шибает в лицо ему выпивки зной;
Свои бакенбарды из шерсти овечьей
Кладет он шотландке на жирные плечи.
Любви музыканта приходит конец;
Как два монумента — она и кузнец.
Он щиплет ее, запевая спьяна,
И в лад его песне икает она.

«Из Лондона в Глазго стучат мои шаги,
Паяльник мой шипит, и молоток стрекочет,

Распорот мой жилет, и в дырьях сапоги,
Но коль кузнец влюблен — он пляшет и
хохочет...
В солдаты я иду, когда работы нет:
Бесплатная жратва и пиво даровое.
Но, деньги получив, я заметаю след,
Паяльник мой в руках, жаровня за спиною».

Хор

О, что тебе скрипач, — он жертва неудач!
Сыграет и споет — и песня позабыта.
Твой новый господин — железа властелин:
Он подкует любви веселые копыта!
Пускай горят сердца во славу кузнеца!
Назавтра снова путь, работа спозаранку.
Гремят среди лугов две пары каблуков;
Друг под руку ведет веселую шотландку.

Скрипач не зевает. Долой кузнеца!
Жена хороша у бродяги-певца,
Подобно коту, подошедшему к пище.
Скрипач осторожно мурлычет и свищет,
Нечаянно ногу коленкой прижмет,
Нечаянно плечи рукой обоймет,
Покуда кузнец неуклюже, без правил,
Его не побил и под стол не отправил,
Совсем неудачная ночь!
Как дрозд веселится бродяга-певец.
Дорогам и песням не скоро конец.
Он пышет румянцем, зубами блестит,
Деревьям смеется и птицам свистит.
Для бренного ж тела он должен иметь
Литровую кружку и добрую снедь.
И в ночь запевает певец:

«Веселого певца
Не услыхать вельможам,
Недаром я пою
В лесах, по бездорожьям...
Уродлив посох мой,
Кафтан мой в прахе сером,
Но пчел веселый рой,

Крутясь, летит за мной,
Как прежде за Гомером.

Увы! Кастальский ключ
Не вычерпать стаканом.
От греческой воды
Не быть вовеки пьяным.
В передвечерний час
Меня приносят ноги
К тебе в приют не строгий,
Мой нищенский Парнас,
Открытый при дороге.

Дыхание любви
Нежней, чем ветер с юга.
Зови меня, зови,
Бездомная подруга.
Цветет ночная высь,
Травою пруд волнуем,
Чтоб мы, внимая струям,
Сошлись и разошлись
С веселым поцелуем.

Встречайте ж день за днем
Свободой и вином. . .»

Над языками фитилей
Кружится сажа жирным пухом,
И нищие единым духом
Вопят: «Давай! Прими! Налей!»
И черной жаждою полно
Их сердце. Едкое вино
Не утоляет их, а дразнит.
Ах, скоро ли настанет праздник,
И воздух горечью сухой
Их напоит. И с головой
Они нырнут в траву поляны,
В цветочный мир, в пчелиный гуд,
Где, на кирку склоняясь, Труд
Стоит в рубахе полотняной
И отирает лоб. Но вот
Столкнулись кружки, и фагот

Заверещал. И черной жаждой
Пылает и томится каждый.
И в исступленном свете свеч
Они тряпье срывают с плеч;
Густая сажа жирным пухом
Плывет над пьяною толпой...
И нищие единым духом
Орут: «Еще, приятель, пой!»
И в крик и в запах дрожжевой
Певец бросает голос свой:

«Плещет жижей пивною
В щеки выпивки зной!
Начинайте за мною,
Запевайте за мной!
Королевским законам
Нам голов не свернуть.
По равнинам зеленым
Залегает наш путь.
Мы проходим в безлюдье
С крепкой палкой в руках,
Мимо чопорных судей
В завитых париках;
Мимо пасторов чинных,
Наводящих тоску!
Мимо... Мимо...
В равнинах
Воронье начеку.
Мы довольны! Вельможе
Не придется заснуть,
Если в ночь, в бездорожье
Залегает наш путь.
И ханже не придется
Похваляться собой,
Если ночь раздается
Перед нашей клюкой...
Встанет полдень суровый
Над раздольями тьмы,
Горечь пива иного
Уж попробуем мы!..
Братья! Звезды погасли,
Что им в небе торчать?

Надо в теплые ясли
Завалиться — и спать.
Но и пьяным и сонным
Затверди, не забудь:
— Королевским законам
Нам голов не свернуть!»

1928

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Весна еще в намеке
Холодноватых звезд.
На явор кривобокий
Взлетает черный дрозд.

Фазан взорвался, как фейерверк.
Дробь вырвала хвою. Он
Пернатой кометой рванулся вниз,
В сумятицу вешних трав.

Эрцгерцог вернулся к себе домой.
Разделся. Выпил вина.
И шелковый сеттер у ног его
Расположился, как сфинкс.

Револьвер, которым он был убит
(Системы не вспомнить мне),
В охотничьей лавке еще лежал
Меж спиннингом и ножом.

Грядущий убийца дремал пока,
Голову положив
На юношески твердый кулак
В коричневых волосках.

. . . .

В Одессе каштаны оделись в дым,
И море по вечерам,
Хрипя, поворачивалось на оси,
Подобное колесу.

Мое окно выходило в сад,
И в сумерки, сквозь листву,
Синели газовые рожки
Над вывесками пивных.

И вот на этот шипучий свет,
Гремя миллионом крыл,
Летели скворцы, расшибаясь вдрызг
О стекла и провода.

Весна их гнала из-за черных скал
Бичами морских ветров.

Я вышел...
За мной затворилась дверь...
И ночь, окружив меня
Движением крыльев, цветов и звезд,
Возникла на всех углах.

Еврейские домики я прошел.
Я слышал свирепый храп
Биндюжников, спавших на биндюгах.
И в окнах была видна
Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.

Еврейские домики я прошел.
Я вышел к сиянью рельс.
На трамвайной станции млел фонарь,
Окруженный большой весной.

Мне было только семнадцать лет,
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.

Я был ее зеркалом, двойником,
Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.

Трамвайную станцию я прошел.
За ней невесом, как дым,
Асфальтовый путь улетал, клубясь,
На запад — к морским волнам.

И вдруг я услышал протяжный звук:
Над миром плыла труба,
Изнывая от страсти. И я сказал:
«Вот первые журавли!»

Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От взмаха широких крыл.

Еще один крутой поворот —
И море пошло ко мне,
Неся на себе обломки планет
И тени пролетных птиц.

Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.

Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студеные хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во всё —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.

За неводом, у зеленых свай,
Где днем рыбаки сидят,
Я человека увидел вдруг,
Недвижного, как валун.

Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще, —

В гимназической шапке с большим гербом,
В тужурке, сшитой на рост.

Я пригляделся:
Мне странен был
Этот человек:
Старчески согнутая спина
И молодое лицо.

Лоб, придавивший собой глаза,
Был не по-детски груб,
И подбородок торчал вперед,
Сработанный из кремня.

Вот тут я понял, что это он
И есть душа тишины,
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совместил в себе
Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.

Вот тут я понял:
Погибнет ночь,
И вместе с ней отпадет
Обломок мира, в котором он
Родился, ходил, дышал.
И только пузырик взовьется вверх,
Взовьется и пропадет.

И снова звезда. И вода рябит.
И парус уходит в сон.

Меж тем подымается рассвет.
И вот, грохоча ведром,
Прошел рыболов и, сев на скалу,
Поплавками истыкал гладь.

Меж тем подымается рассвет.
И вот на кривой сосне

Воздел свою флейту черный дрозд,
Встречая цветенье дня.

А нам что делать?
Мы побрели
На станцию, мимо дач...

Уже дребезжал трамвайный звонок
За поворотом рельс,
И бледной немочью млел фонарь,
Не погашенный поутру.

Итак, всё кончено! Два пути!
Два пыльных маршрута в даль!
Два разных трамвая в два конца
Должны нас теперь умчать!

Но низенький юноша с грубым лбом
К солнцу поднял глаза
И вымолвил:
«В грозную эту ночь

Вы были вдвоем со мной.
Миру не выдумать никогда
Больше таких ночей...
Это последняя... Вот и всё!
Прощайте!»
И он ушел.

Тогда, растворив в зеркалах рассвет,
Весь в молниях и звонках,
Пылая лаковой желтизной,
Ко мне подлетел трамвай.

Револьвер вынут из кобуры,
Школяр обойму вложил.
Из-за угла, где навес кафе,
Эрцгерцог едет домой.

. . . .

Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов

Врачи, постучав по впалой груди,
«Годен!» — кричали нам...

Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день
В портянках, потных до черноты,
Мы падали на матрац.
Дремота и та избегала нас.
Уже ни свет ни заря
Врывалась казарменная труба
В отроческий покой.

Не досыпая, не долюбя,
Молодость наша шла.
Я спутника своего искал:
Быть может, он скажет мне,
О чем мечтать и в кого стрелять,
Что думать и говорить?

И вот неожиданно у ларька
Я повстречал его.
Он выпрямился... Военный френч
Как панцирь сидел на нем,
Плечи, которые тяжесть звезд
Упрямо сгибала вниз,
Чиновничий украшал погон;
И лоб, на который пал
Недавно предсмертный огонь планет,
Чистейший и грубый лоб,
Истыкан был тысячами угрей
И жилами рассечен.

О, где же твой блеск, последняя ночь,
И свист твоего дрозда!

Лужайка — да посредине сапог
У пушечной колеи.
Консервная банка раздроблена
Прикладом. Зеленый суп
Сочится из дырки. Бродячий пес
Облизывает траву.
Деревни скончались.
Потоптан хлеб.

И вечером — прямо в пыль
Планеты стекают в крови густой
Да смутно трубит горнист.
Дымятся костры у больших дорог.
Солдаты колотят вшей.
Над Францией дым.
Над Пруссией вихрь.
И над Россией туман.

Мы плакали над телами друзей;
Любовь погребали мы;
Погибших товарищей имена
Доселе не сходят с губ.

Их честную память хранят холмы
В обветренных будяках,
Крестьянские лошади мнут полынь,
Проросшую из сердец,
Да изредка выгребает плуг
Пуговицу с орлом...

Но мы — мы живы наверняка!

Осыпался, отболев,
Скарлатинозною шелухой
Мир, окружавший нас.

И вечер наш трудолюбив и тих.
И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, — оно теперь
Подвластно нашей руке.

Мы навык воинов приобрели,
Терпенье и меткость глаз,
Уменье хитрить, уменье молчать,
Уменье смотреть в глаза.

Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука,
И взгляд остановится, и губа
Отвалится к бороде,
И наши товарищи, поплевав
На руки, стащат нас

В клуб, чтоб мы прокисали там
Средь лампочек и цветов, —
Пусть юноша (вузовец, иль поэт,
Иль слесарь — мне всё равно)
Придет и встанет на караул,
Не вытирая слезы.

1932

ЧЕЛОВЕК ПРЕДМЕСТЬЯ

Вот зеленя прозябли,
Продуты ветром дни,
Мой подмосковный зяблик,
Начни, начни...

Бревенчатый дом под зеленой крышей,
Флюгарка визжит, и шумят кусты,
Стоит человек у цветущих вишен:
Герой моей повести — это ты!

. . . .

Вкруг мира, поросшего нелюдимой
Крапивой, разрозненный мчался быт.
Славянский шкаф и труба без дыма,
Пустая кровать и дым без трубы.

На голенастых ногах ухваты,
Колоды для пчел — замыкали круг.
А он переминался, угловатый,
С большими сизыми кистями рук.

Вот так бы нацелиться — и с налета
Прихлопнуть рукой, коленом прижать...
До скрежета, до ледяного пота
Стараться схватить, обломать, сдержать!

Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй — к себе таща,
В закут овечий,
В дом человечий,
В капустную благодать борща.

И глядя на мир из дверей амбара,
Из пахнущих крысами недр его,
Не отдавай ни сора, ни пара,
Ни камня, ни дерева — ничего!

Что ж, служба на выручку!
Полустанки. . .
Пернатый фонарь да гудки в ночи. . .
Как рыжих младенцев, несут крестьянки
Прижатые к сердцу калачи.

Гремя инструментом, проходит смена.
И там, в каморке проводника,
Дым коромыслом. Попойка. Мена.
На лавках рассыпанная мука.

А всё для того, чтобы в предместье
Углами укладывались столбы,
Чтоб шкаф, покружившись, застрял на месте,
Чтоб дым, завертясь, пошел из трубы.

(Но всё же из будки не слышно лая,
Скворешник пустует, как новый дом,
И пухлые голуби не гуляют
Восьмеркою на чердаке пустом.)

И вот в улетающий запах пота,
В смолкающий плотничий разговор,
Как выдох, распахиваются ворота —
И женщина вплывает во двор.

Пред нею покорно мычат коровы,
Не топоча, не играя зря,
И — руки в бока — откинув ковровый
Платок, она стоит, как заря.

Она расставляет отряды крынок:
Туда — в больницу. Сюда — на рынок,
И, вытянув шею, слышит она
(Тише, деревья, пропустишь сдуру)
Вьющийся с фабрики Ногина
Свист выдаваемой мануфактуры.

Вот ее мир — дрожжевой, густой,
Спит и сопит — молоком насытясь,
Жидкий навоз, над навозом ситец,
Пущенный в бабочку с запятой.
А посередке, крылом звеня,
Кочет вопит над наседкой вялой.

Черт его знает зачем меня
В эту обитель нужда загнала!..
Здесь от подушек не продохнуть,
Легкие так и трещат от боли...
Крикнуть товарищей? Иль заснуть?
Иль возвратиться к герою, что ли?!

Ветер навстречу. Скрипит вагон.
Черная хвоя летит в угон.

Весь этот мир, возникший из дыма,
В беге откинувшийся, трубя,
Навзничь; он весь пролетает мимо,
Мимо тебя, мимо тебя!

Он облетает свистящим кругом
Новый забор твой и теплый угол.

Как тебе тошно. Опять фонарь
Млеет на станции. Снова, снова
Баба с корзинкой. Степная гарь
Да заблудившаяся корова.

Мир переполнен твоей тоской;
Буксы выстукивают: на кой?

На кой тебе это?
Ты можешь смело
Посредине двора, в июльский зной,
Раскинуть стол под скатертью белой
Средь мира, построенного тобой.

У тебя на столе самовар, как глобус,
Под краном стакан, над конфоркой дым;
Размякнув от пара, ты можешь в оба
Теперь следить за хозяйством своим.

О, благодушие! Ты растроган
Пляской телят, воркованьем щей,
Журчаньем в желудке...
А за порогом —
Страна враждебных тебе вещей.

На фабрику движутся, раздирая
Грунт, дюжие лошади (топот, гром).
Не лучше ль стоять им в твоем сарае
В порядке. Как следует. Под замком.

Чтобы дышали добротной скукой
Хозяйство твое и твоя семья,
Чтоб каждая мелочь была порукой
Тебе в неподвижности бытия.

Жара. Не читается и не спится.
Предместье солнцем оглушено.
Зеваю. Закладываю страницу
И настежь распахиваю окно.

Над миром, надтреснутым от нагрева,
Ни ветра, ни голоса петухов...
Как я одинок! Отзовитесь, где вы,
Веселые люди моих стихов?

Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.

Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий:
— Мы здесь! Мы пируем в твоем дому!

Вперед же, солдатская песня пира!
Открылся поход.
За стеной враги.
А мы постарели. — И пылью мира
Покрылись походные сапоги.

Но всё ж по-охотничьи каждый зорок.
Ясна поседевшая голова.
И песня просторна.
И ветер дорог.
И дружба вступает в свои права.

Мы будем сидеть за столом веселым
И толковать и шуметь, пока
Не влезет солнце за частоколом
В ушат топленого молока.
Пока не просвищут стрижи. Пока
Не продерет росяным рассолом
Траву-до последнего стебелька.

И, палец поднявши, один из нас
Раздумчиво скажет: «Какая тьма!
Как время идет! Уже скоро час!»
И словно в ответ ему, ночь сама
От всей черноты своей грянет: «Раз!»

А время идет по навозной жиже.
Сквозь бурю листвы не видать ни зги.
Уже на крыльце оно. Ближе. Ближе.
Оно в сенях вытирает сапоги.

И в блеск половиц, в промытую содой
И щелоком горницу, в плеск мытья
Оно врывается непогодой,
Такое ж сутуловатое, как я,
Такое ж, как я, презревшее отдых,
И, вдохновеньем потрясено,
Глаза, промытые в сорока водах,
Медленно поднимает оно.

От глаз его не найти спасенья,
Не отмахнуться никак сплеча,
Лампу погасишь. Рванешься в сени.
Дверь на запоре. И нет ключа.

Как ни ломись — не проломишь — баста!
В горницу? В горницу не войти!
Там дочь твоя, стриженая, в угластом
Пионерском галстуке, на пути.

И, руками комкая одеяло,
Еще сновиденьем оглушена,
Вперед ногами, мало-помалу
Сползает на пол твоя жена!

Ты грянешь в стекла. И голубое
Небо рассыпется на куски.
Из окна в окно, закрутясь трубою,
Рванутся дикие сквозняки.

Твой лоб сиянием окровавит
Востока студеная полоса,
И ты услышишь, как время славят
Наши солдатские голоса.

И дочь твоя подымает голос
Выше берез, выше туч, — туда,
Где дрогнул сумрак и раскололась
Последняя утренняя звезда.

И первый зяблик порвет затишье...
(Предвестник утренней чистоты.)
А ты задыхаешься, что ты слышишь?
Испуганный, что рыдаешь ты?

Бревенчатый дом под зеленой крышей.
Флюгарка визжит, и шумят кусты.

1932

СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ

Грозою освеженный,
Подрагивает лист.
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Белая палата.
Крашеная дверь.

Тоньше паутины
Из-под кожи щек
Тлеет скарлатины
Смертный огонек.

Говорить не можешь —
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.
Гладят бедный ежик
Стриженых волос.
Валя, Валентина,
Что с тобой стряслось?
Воздух воспаленный,
Черная трава.
Почему от зноя
Ноет голова?
Почему теснится
В подъязычье стон?
Почему ресницы
Обдувает сон?

Двери отворяются.
(Спать. Спать. Спать.)
Над тобой склоняется
Плачущая мать:

«Валенька, Валюша!
Тягостно в избе.
Я крестильный крестик
Принесла тебе.
Всё хозяйство брошено,
Не поправишь враз,
Грязь не по-хорошему
В горницах у нас.
Куры не закрыты,
Свиньи без корыта;
И мычит корова
С голоду сердито.
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,

Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест».

На щеке помятой
Длинная слеза.
А в больничных окнах
Движется гроза.

Открывает Валя
Смутные глаза.

От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.

Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Движется отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят.

В дождевом сиянье
Облачных слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой.

Над больничным садом,
Над водой озер
Движутся отряды
На вечерний сбор.

Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

А внизу склоненная
Изнывает мать:
Детские ладони
Ей не целовать.
Духотой спаленных
Губ не освежить.
Валентине больше
Не придется жить.

«Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья,
Мех да серебро,
Я ли не копила,
Ночи не спала,
Всё коров доила,
Птицу стерегла.
Чтоб было приданое,
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест».

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом, —
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Валя, Валентина,
Видишь — на юру
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Красное полотнище
Бьется над бугром.
«Валя, будь готова!»
Восклицает гром.

В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.

Тихо подымается,
Призрачно-легка,

Над больничной койкой
Детская рука.

«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука —
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах
Синее тепло,
От большого солнца
В комнате светло.

И, припав к постели,
Изнывает мать.

За оградой пеночкам
Нынче благодать.

Вот и всё!

Но песня
Не согласна ждать.

Возникает песня
В болтовне ребят.

Подымает песню
На голос отряд.

И выходит песня
С топотом шагов

В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

Апрель — август 1932

ДУМА ПРО ОПАНАСА

Либретто оперы

•

ФЕВРАЛЬ

ДУМА ПРО ОПАНАСА

Либретто оперы

Первое действие

Девятнадцатый год. Перрон гор. Балты. На перроне походная кухня. Кашевар раздает еду красноармейцам. У станционного здания торговки и торговцы.

Хор торговцев

Бублики горячие! Бублики горячие!
Бублики горячие! Пирожки!
Ай, кому котлеты! Сахарные дыни!
Вишни! Яблоки! Рожки!

Кашевар

Не торопись, не шуми, ребята.
Хватит на всех, шамовки богато!

Первый красноармеец

Сверху вода, жирок да грязца, —
Мне бы со дна, мне бы мясца.

Второй красноармеец

Капусты подбавь!

Третий красноармеец

Не пихайся, рыжий!

Четвертый красноармеец

А мне, братишка, налей пожиже.

Кашевар

В затылок вставай! Не толкайся зря!
Братва, держи котелки наготове!

Появляется красноармеец с письмами.

Красноармейцы

Почтарь пришел! Пустить почтаря!
А ну, подавай, что ты приготовил!

Почтальон

Которые дома невест имеют,
Теперь, конечно, не пожалеют.
Хватай, Байда, получай, Кривцов,
А вот и Мовшовичу налицо.
Тебе, Опанас, из деревни. Вот
Такой толщины, ажно сумку рвет.

Красноармейцы, присев на перрон, читают письма.

Опанас

Горе горькое! Конями
Всё потоптано кругом.
Мой отец порубан насмерть
Гайдамаком-казаком.
Что ж ты делаешь, невеста,
Одинокая моя?
Гей, вскочу я, полечу я
Да в родимые края.
Позову волов рогатых:
«Подымайтесь, цоб-цобе!»
Погрущу у старой хаты
Об отце и о себе.
Пусть война, а мне бы только
Садик свой да свой домок.
Тихо вишни поспевают,
Зацветают травы в срок.

Первый красноармеец

Загрустил!

Второй красноармеец

Чудак — детина!
Хлопнул рюмку — горя нет.

Третий красноармеец

Видно, вспомнил, как у тына
Год назад встречал рассвет.

Опанас

Дома — кровь и смерть повсюду,
Не посеян хлеб. Тоска.
Хлопцы, дунем-ка отсюда,
Не порубаны пока!

Красноармейцы

Вот герой, коль взял винтовку,
Так дерись, а не беги...
...Хорошо ты — северянин,
А у нас кругом враги...
...В Красной Армии, ребята,
Надо биться до конца...
...У него ж разбита хата,
Хлеб потоптан. Нет отца...

Опанас

Где ты, садик мой вишневый,
Где волик рогатый,
Где подсолнух мой высокий,
Расцветший у хаты?
Павла, горькая невеста,
Рыдай неустанно:
Заросла моя дорога
Кустами бурьяна.

Красноармейцы

Ну, довольно, хватит, хлопец,
Мы ж нынче воюем.
...Я б такого продармейца
Под спину да к бую.
...Всё-таки отец порубан —
Не пес придорожный.
...Замолчи! Нашел в отряде
Товарища тоже...
...Я б его за эти речи
К стенке да на мушку!..

...Зря, парнишка, подымаешь
Теперь заворушку...

Из станционного здания выходит комиссар отряда Коган, молодой еврей в студенческой фуражке, с большим маузером через плечо.

Коган

Тише, товарищи, что за свара:
Драка? Попойка? Скандал? Пожар?

Красноармейцы

Хлопцы! Давай сюда комиссара!
Он разберется! Где комиссар?

Коган

Вы пообедать мне не даете:
Только за ложку — и слышу крик!

Красноармейцы

У нас началась заворуха в роте.
Панько, не отвиливаї, говори!

Опанас

Похилился мой подсолнух,
Раскидана хата,
Над деревнею гуляет
Пожар языкатый.
И стоит моя невеста
На скорбной дороге,
Бьется колос одинокий
О смуглые ноги.
И лежит отец мой в яме,
Забыт сыновьями;
Только ветер над могилой
Да ворон постылый.
Чернозем потек болотом
От крови и пота,
Не хочу махать винтовкой —
Хочу на работу...

Коган

Вот получите — народная песня!
Ты же не дома, ты ж на войне.

Хочешь — не хочешь, хоть рвись, хоть тресни,
Должен служить, подчиняясь мне.
Ты ж для себя, для себя, понятно,
Кровь проливаешь! Пойми, чудак!
Мир этот твой — не иди ж обратно...
Твой это лес. Это твой овраг.
Каждой кровинкой и каплей пота
Ты заработал это добро.
Коль отнимают — тогда в два счета,
Вполоборота — и штык в ребро!

Красноармейцы

Правильно, товарищ комиссар.
Правильно, товарищ комиссар.

Опанас

Отпусти меня работать —
Я в деревню побегу.

Коган

Если ты уйдешь отсюда —
Это на руку врагу.

Опанас

Я домой хочу!

Коган

Товарищ,
Не волнуйся, не кричи.

Опанас

Я домой хочу! Потоптан
Хлеб! Раскиданы бахчи!

Коган

Я тебя своею волей
Не могу пустить домой.

Опанас

Ой, не лучше ли прикладом
Разговаривать с тобой?
(Замахивается на Когана прикладом.)

Коган

Ты посмел перед отрядом
Замахнуться кулаком.
По-бандитски комиссару
Начал угрожать штыком.
Всё равно, спьяна иль сдуру,
Но за драку разочтись.

(Обращаясь к красноармейцам.)

Отвести в комендатуру
И по хатам разойтись.

(Уходит в станционное здание.)

Красноармейцы расходятся, кроме двух, подошедших к Опанасу.

Первый красноармеец

Скоро двенадцать! Время не ждет!

Второй красноармеец

Ну-ка, братишка, ступай вперед.

Опанас

Не опоздаем, друзья, ей-богу,
Мне бы подсолнухов на дорогу.
Дай-ка, покурим. Пойдем потом.
Времени много. Не пропадем.

Покупают подсолнухи и усаживаются на перроне.

Первый красноармеец
(вытаскивает газету)

Как ни читай, а везде одно —
Сгинул Махно. Вылез Махно.

Второй красноармеец

Бьют его, гада, и в хвост и в гриву,
Как удается ему быть живу?

Первый красноармеец

Черт его знает, скользнет гадюка —
Вот наступил. Он мелькнет и нет.

Второй красноармеец

Средь кулаков у него порука;
Он, понимаешь, их вождь вполне.

Опанас

Надо бежать. Без оглядки. К бесу.
Бросить отряд. Я хочу домой.
Если бы поезд. Сначала к лесу,
После полями, а там тропой.
Если бы поезд! Если бы поезд!
Он бы подвез меня! Выручай!

Первый красноармеец

Слушай, парнишка, поправь-ка пояс,
Шапку надвинь и вперед ступай.

Слышен свист приближающегося паровоза. На перрон выходит дежурный по станции с жезлом. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее проходит эшелон, груженный красноармейцами. На сетке паровоза матросы в синих голландках, рыжие и румяные, как огромные куклы. На боку паровоза надпись: «Даешь Деникина!». Из распахнутых теплушек торчат пулеметы. Над ними замурзанные красноармейские лица.

ПЕСНЯ

Как с востока дунул ветер
Буревой.
Закружилось всё на свете,
Конь заржал под грохот бубна
Боевой.
Душен день! Земля в пожаре!
Подымайся, пролетарий!
Здравствуй, чайник мой жестяный,
Вновь пришла твоя пора,
На привале бездорожном
Нагревайся у костра.
Здравствуй, старая винтовка,
Здравствуй, мой германский штык,
Ночевать в соседстве с вами
Я как следует привык.
В край, морозом обожженный,
В дебри мерзнущей страны
Мчатся наши эшелоны,
Как предвестники весны.

*

Мы на битву мировую
Подымаемся не зря:
Рыбаки из-под Одессы,
От Наваля слесаря!
Это мы — восточный ветер
Буревой.
Это наш над миром голос
Боевой.
Близок час! Земля в пожаре!
Подымайся, пролетарий!

Проходит последний вагон с одиноким кондуктором. **Опанас** отталкивает часовых и вскакивает на подножку.

Опанас

Я расплевался теперь с тюрьмой,
Кому на фронт, а кому домой.

Поезд исчезает.

Второе действие

Украинская хата. На беленых стенах рушники и паласы. В углу большая кровать со взбитыми подушками. В хате чувствуется какая-то неправильность: на глиняном полу валяются седла, в одном из углов — винтовка, казацкая сабля лежит на столе. Павла, невеста Опанаса, шьет. Молодой человек в преувеличенных галифе шагает по комнате. На печке храпит черная человеческая туша. Молодой человек, адъютант Махно, подсаживается к Павле.

Адъютант

Как! Вы даже Пушкина не читали?
Какая отсталость, скандал какой!

Павла

А вы бы, хлопец, мне не мешали,
Под носом усы, а такой дурной!

Адъютант

Прошу покорно, без оскорблений!
Я страшен в гневе,
Я лют, как зверь!

(Пытается обнять ее.)

Павла

Без рук! Я теряю уже терпенье!
Ей-богу, я выставлю вас за дверь.

Обиженный адъютант подходит к окну. Павла шьет, напевая.

ПЕСНЯ ПАВЛЫ

С Карпат на Украину
Пришел солдат небритый,
Его шинель в лохмотьях
И сапоги разбиты.
Пропахший мглой ночлегов
И горечью махорки,
С георгиевской медалью
На рваной гимнастерке,
Он встал перед простором
На брошенном погосте.
Четыре ветра кличут
К себе солдата в гости.

Взывает первый ветер:
«В моем краю хоромы,
Еда в стеклянных бочках,
В больших машинах громы;
Горит вино в стаканах,
Клубится пар над блюдом...
Иди! Ты будешь главным
Над подневольным людом!»

Второй взывает ветер:
«В моем краю широком
Взлетели кверху сабли,
Рванулась кровь потоком,
Там рубят и гуляют,
Ночуют под курганом...
Иди ко мне — ты будешь
Свободным атаманом!»

Взывает третий ветер:
«Мой тихий край спокоен,
Моя пшеница зреет,
Мой тучный скот удоен.

Когда закроешь веки,
Жена пойдет за гробом...
Иди ко мне — ты будешь
Достойным хлеборобом».

Кричит четвертый ветер:
«В моем краю пустынном
Одни лишь пули свищут
Над брошенным овином.
Копытом хлеб потоптан,
Нет крова и нет пищи...
Иди ко мне — здесь братья
Освобождают нищих».

Кружат четыре ветра.
Трубят. Листву взметают.
Стоит солдат и толком,
Куда пойти, не знает.

Дверь распахивается, на пороге Опанас.

Павла

Опанас? Когда? Откуда?

Опанас

Из Балты, конечно!

Павла

Отпускной? Иль бросил службу?

Опанас

Что ж, служба не вечна.
Я мечтал о том, как встану
На тихом пороге,
Как стряхну шинель на лавку,
Как вымою ноги!

Павла
(тихо)

Коль пришел, на себя и сетуй.
Нынче здесь на селе Махно.

Адъютант его, видишь, этот
Человек, что глядит в окно.
У меня помещенье штаба.
Спит начальник под потолком.
Я, конечно, тебя могла бы
Из села проводить тайком,
Да боюсь, что тебя узнают,
Продармеец ты как-никак.

Опанас

(громко)

Я теперь хлебороб! Хозяин!
Я не воин теперь! Не враг!

Разбуженный его голосом, просыпается человек, спавший на печке, — начальник махновского штаба. Он фыркает и свешивает ноги в громадных рыжих сапогах.

Начальник штаба

Фу, до чего болит голова!
Всего четвертуху выпил, а глянь —
Во рту как разжеванная трава,
В мозгу развелась какая-то дрянь.

(Адъютанту.)

А ну, Петрусь, подай огурец!

Адъютант

Корку пожуй, — ничего, пройдет.

Начальник штаба

Как ты отвечаешь? Кто военспец?
Руки по швам! Брюхо вперед!
Вечно от пьянства со мной беда...

(Опанасу.)

Эй, незнакомец, поди сюда.
Где б закусить, отвечай скорей.
Коли штыком! Прикладом отбей!

Опанас

Я пришел сюда недавно,
Мне хозяйство ново,

Как мне вам помочь, товарищ,
Не знаю толково
Будьте ласковы, скажите,
Народ вы бывалый,
Разрешит батько крестьянам
Работать помалу?

Адъютант

Анархия — высший порядок! Она
Не может поставить преград.
Мы вольной работы взрастим семена,
Из дебрей мы сделаем сад.

Начальник штаба

Легче! Сначала добыть нам надо
Немного пушек, людей в отряды,
Сала шматок, горелки глоток
Да огурец, просоленный впрок.

Опанас

А скажите-ка по чести,
Как Махно? Суров он?

Адъютант

Поглядит. Покажет пальцем:
К стенке — и готово!

Опанас

Очень уж его боятся
Различные люди.

Начальник штаба

Всё ж Раиса Николавна
Посурьезней будет!

Опанас

Кто ж она? Скажите честно,
Жена иль невеста?

Адъютант

В пустынном еврейском местечке,
Где козы, молельня, овраг,

В ночи, на скрипучем крылечке,
Девичий послышался шаг.

Начальник штаба

Мы думали раньше — шпионка,
Вотрется, а после продаст;
Иль просто шальная девчонка,
В дороге ненужный балласт.

Адъютант

Откуда она — неизвестно.
Где дом ее? Кто отец?
Помещик ли мелкопоместный?
Фальшивомонетчик? Купец?

Начальник штаба

Она жестока до отказа,
Страданья ее не смутят.

Адъютант

А ну-ка, попробуй приказа
Не выполнить — будешь не рад.

Начальник штаба

Декреты, допросы, расстрелы,
Дела по изъятью зерна
Рукой молодой, загорелой
Подписывает она.
По-моему, дело не чисто.
Недаром, ее увидав,
Лохматые анархисты
Смиряют свой бешеный нрав.

Павла

Да, чертова эта красотка.
Тихоня, но лучше не тронь:
По виду она счетоводка,
А глянет — и вспыхнет огонь!

Входит с грохотом Махно, окруженный штабом. Среди штабных Раиса Николаевна, молодая женщина, одетая по-городскому, с портфелем.

Махно

Всё в порядке. Мы сегодня
Отдохнем немного,
Кони пожуют, а завтра
Новая дорога.

(Павле.)

Ты кого пустила в хату?
Отвечай скорее!

Раиса Николаевна

Гимнастерка да обмотки,
Ясно — продармеец.
Допросить его придется!

Павла

Он жених мой, братцы!

Опанас

Мне, батько, теперь, ей-богу,
Некуда деваться.

Раиса Николаевна

Будешь отвечать винтовке
Под стеной сарая.
Что ж ты станешь делать дальше?
Говори!

Опанас

Не знаю.

Раиса Николаевна

Так. Не знаешь. Добровольно
Ты служил в отряде?

Опанас

Нет, я был мобилизован.

Павла

Бросьте, бога ради!

Махно

Брось, Раиса Николаевна!
Ты же, не виляя,
Отвечай: бежал откуда,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?

Опанас

Я, батько, бежал из Балты
Да за новой долей.
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида.
Я бежал из продотряда
От Когана-жида.
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище.
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
«Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!»
Ну, а кто подымет бучу —
«Не шуми, братишка».
Усом в мусорную кучу:
Расстрелять и крышка.
Чернозем потек болотом
От крови и пота.
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу.
Мне бы нынче за волами
Пойти, распевая.

Махно

У тебя теперь, братишка,
Дорога другая.
У тебя дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!

Раиса Николаевна

Как ни вертись, выхода нет:
С нами иль против нас!
Против — так пулю хватай в ответ.
С нами — вперед сейчас!

Павла

Подумай, Панько, куда идешь.
Что тебя дальше ждет.
Бахча погибнет,
Засохнет рожь,
Последний вол падет.

Махно

Дайте шубу Опанасу
Сукна городского;
Поднесите Опанасу
Вина молодого;
Сапоги подколотите
Кованым железом;
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече
От края до края.

Опанас

Шел домой, а стал бандитом!
Как — не понимаю!

Хор штабных

Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне,
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина — мать родная —
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина — мать родная —
Молодое жито.
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь бандиты.

Третье действие

Внутренность небольшого хутора. Тачанки, колеса, дуги, пулеметные станки. Начальник штаба стоит у дверей хаты. Несколько махновцев работают во дворе. За тыном огромная степь. Утро. Солнца не видно.

Начальник штаба

Проверьте оси. Колеса дегтем
Обмажьте. Крепки ли хомуты?
Подпруги такие, что тронешь ногтем —
И разом разлезутся. Слушай ты,
Григорий! Их надо прошить иглою
На совесть! Ну-ка, поторопись.

Первый махновец

Успеем. Всегда не даешь покою.
Братва отдыхает, а ты трудись.

Начальник штаба

Довольно! Без разговоров! Дмитрий,
Кузов обмой да оглобли вытри.
Петро, зачем разеваешь рот,
Как следует вычисти пулемет.
Коней подковать да покрасить дуги,
Чтоб пела земля, чтоб дрожал уезд.
Григорий! еще раз проверь подпруги:
Бог не выдаст, свинья не съест!

Махновец

(вбегает)

Каких-то красноармейцев трое
Подходят к нашему хуторку.

Начальник штаба

Красноармейцы! Я их накрою,
Как перепела на току.
Убрать пулеметы. Немедля скрыться.
Останутся двое. Петро и ты,
Григорий. У вас аккуратней лица.
Встречайте гостей. Я смываюсь в тыл.

Со стороны степи к хутору подходят Коган и двое красноармейцев.

Коган

Ребята! Сюда мы не заходили.
Степной хуторок, здесь пшеница есть.
Войдем. Отдохнем от проклятой пыли.
Хозяева, может, дадут поесть.

Первый красноармеец

А всё-таки лучше прошли бы мимо.
Здесь, кажется, самое бандитье.

Второй красноармеец

Махорки стрельнуть бы. Ей-ей, без дыму
Совсем уж каторжное житье.

Коган

Пожалуй, войдем.

(Махновцам.)

Как здоровье, братцы?
Позвольте малость передохнуть.

Первый махновец

Садитесь.

Коган

Сумеем ли мы добраться
До станции нынче?

Второй махновец

Недальний путь.

Коган

Так, может быть, можно у вас немного
Поесть да кувшин молока добыть?

Первый махновец

Можно, пожалуй.

Второй красноармеец

А мне, небого,
Хотя бы люльку махрой набить.

Второй махновец

Можно, пойдем.

Махновцы уходят.

Коган

Да, народ корявый, —
Обидел их кто иль просто так?

Первый красноармеец

Об этой округе дурная слава:
Везде бандит, дезертир, кулак.

Коган

Смотрите, солнце встает, ребята,
Такое туманное, как в пыли.
Как тянет горечью!

Первый красноармеец

Это мята.

Коган

Как травы шумят!

Первый красноармеец

Это ковыли.

Медленно встает солнце. Махновцы возвращаются.

Первый махновец

Не обессудьте: вот чашка меду,
Житняк да макотра с молоком.

Второй красноармеец

Шамовки столько, что хватит взводу.
А нам и не справиться втроем.

Едят.

Коган

Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона,
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?

Падают ли овцы?
Не бывают ли налетом
В хуторах махновцы?

Первый махновец

Ну, что самогон. Без него, конечно,
В крестьянской работе не обойтись.

Второй махновец

Посевы? Какие посевы? Вечно
Налоги, разверстки. Бранись, дерись.

Первый махновец

А что до махновцев, у нас в округе
О них и не слышно. Их нет еще.

Из окна хаты вылезает голова начальника штаба.

Начальник штаба

Григорий! Куда подевал подпруги?
Пропил, наверно? Давай отчет!

Первый махновец

Сначала справлюсь с большевиками,
Потом рассчитаюсь.

(Орет.)

На помощь!
Гей!

Спрятанные махновцы набрасываются на красноармейцев.

Второй махновец

Вот гад, как работает кулаками!

Первый махновец

Хватай его за ноги! Камнем бей!
Веревку! Сюда! Прикрутите руки!
Держи! Навались! Не жалейте рук!

Коган

Ребята! Обыкновенные штуки!
Махновские фокусы! Старый трюк!

Из хаты выходит Махно со штабом. Среди штабных Опанас и Раиса Николаевна.

Адъютант

Табуретку! Всё в порядке.
Приведите пленных.

Коган

Братцы! Сколько дезертиров,
Ражих, здоровенных.

Махно

Э, да ты остряк, я вижу!
Отвечай же толком:
Почему ты по округе
Бродишь тихомолком?
Почему ты в этот хутор
Сунулся без спросу?
Почему с тобою двое
Кацапов курносых?

Коган

Я на станцию шагаю
Дорогой недальней.
Кто я? Я простой закройщик
Из армейской швальни.
Двое отпускных со мною
Из нашей же роты.
Мы за молоком и хлебом
Сунулись в ворота.

Махно

Это правда?

Красноармейцы

Правда. Правда.

Махно

Значит, для почину
Добрых шомполов полсотни
Залепить им в спину.
Наша армия портными
Нынче не богата.
Пусть закройщик при обозе
Шьет штаны ребятам.

Опанас

(тихо Раисе Николаевне)

Вон того, в очках который,
Я знаю немного:
Это комиссар отряда —
Мой начальник Коган.

Раиса Николаевна

Говори! Чего ты медлишь!
Говори скорее!

Опанас

Всё-таки я, что ни делай,
Бывший продармеец.

Раиса Николаевна

Говори, когда ты знаешь,
Что это за птица.

Опанас

Здравствуйте, товарищ Коган,
Пожалуйте бриться.

Коган

У меня на этом свете
Множество знакомых;
Ты ж бежал из продотряда,
Чтоб работать дома.
Твой подсолнух знаменитый,
Видно, повалился,
Как на новую работу
Ты определился.

Махно

Коган! Комиссар! Закройщик!
Выдумано ловко.
У тебя к вранью, приятель,
Добрая сноровка!

Коган

При чем тут вранье? Действительно, я
Закройщик, каких немного.

Рука выкраивает моя
Костюм для земли убогой.
Он сшит на совесть — этот наряд, —
Руками как хочешь двигай,
Его наденет пролетариат,
А вы получите фигу!

Махно

Очень здорово! Довольно!
Хватит разговоров.
Разом пуля успокоит
Большевицкий норов.

Раиса Николаевна

Нестор Михалыч, не медля ни часа,
Пошли Опанаса! Пошли Опанаса!

Махно

Правильно! Возьми винтовку,
Выйди за ворота
Да закройщика в яруге
Разменяй в два счета.

Опанас

Что ж, пойдем.

Коган

(красноармейцам)

Прощайте, братцы!
Придется расстаться.
Видно, не поевши надо
Со света убраться.

Выходят. Махно со штабом входит в хату.

Коган

Я устал. Жара. Не стоит
Уходить далече.
Дай-ка малость потолкуем
Для последней встречи.
Я, в предсмертный час покоя,
Этими руками
Барахлишко кой-какое
Подарю на память.

Дам тебе картуз хороший,
Кисет для махорки,
Гимнастерку. Мне не надо
Теперь гимнастерки.

(Раздевается.)

Пары брюк не пожалею —
Пригодятся дома,
Всё же бывший продармеец,
Хороший знакомый.

Опанас

Брось шутить, товарищ Коган,
Для чего мне это?
Повернись ко мне затылком
И глазами к свету.

Коган

Предавать умел — умей же
Посмотреть в глаза мне;
Нечего стоять под солнцем
Придорожным камнем.

Опанас

Не могу! Сгибает руки
Чертова усталость.

(Опускает ружье.)

Слушай, Коган: три патрона
В обойме осталось.
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну.
Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину.
Не свалю тебя ударом —
Разгуливай с богом;
Будешь снова комиссаром
Летать по дорогам.

Коган

(снимает очки и тщательно их протирает)

Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая,

Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая.
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные.
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые.
Не уйдешь никак на волю
От банды окрестной,
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной.

Опанас стреляет. Коган медленно падает. Опанас, опершись на винтовку, склоняется над ним.

Опанас

Больше на село дороги
Мне, убийце, нету.
С горя топочите, ноги,
По белому свету.
За волами шел когда-то,
Воевал солдатом,
Я ли в сахарное утро
В поле вышел катом.
Вижу, кинутая в плясе,
Голосит округа:
«Опанасе, Опанасе,
Катюга, катюга!»
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
«С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело!»
Павла, горькая невеста,
Рыдай неустанно:
Заросла моя дорога
Кустами бурьяна.
Больше не увижу света,
Мертвый колос высох.

Голос Раисы Николаевны

Опанас, откликнись! Где ты?

Опанас

Я иду, Раиса.

Четвертое действие

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Попов лог. В глубине оврага стол, заваленный картами. На столе обыкновенная керосиновая лампа. Ночь. Укрывшись шинелями, спят махновцы на земле вповалку, как половцы. Раиса Николаевна и Опанас сидят в углу. На каждом гребне оврага по часовому. Их черные фигуры темнеют в ночной синеве.

Первый часовой

В зеленом садочке,
У Буга на взгорье,
Цвети, моя вишня, цвети!
На тихие воды,
На ясные зори
Лети, мое сердце, лети!

Второй часовой

Звезда полевая
Над брошенной хатой,
Дождями размыты пути.
На пламя пожара,
На дым языкатый
Лети, мое сердце, лети!

Первый часовой

Я крикну: любовь моя,
Выйди из дому,
Я здесь — только двор перейти.
К высокому тыну
На берег знакомый
Лети, мое сердце, лети!

Второй часовой

Порубан отец,
И потоптано жито,
Невесты моей не найти. . .
На пепел постылый,
На берег размытый
Лети, мое сердце, лети!

Опанас

Кончено! Моя дорога
Назад не вернется.
Только плакать остается,
Как выпь у болотца.

Раиса Николаевна

Если нет назад дороги —
Вперед без оглядки.

Опанас

Что же впереди: тревоги,
Пожары да схватки.
Никогда уже не буду
Я таким, как прежде.
Кровь на пальцах,
Кровь на сабле
И кровь на одежде.

Первый часовой

На синем Дону
Зацветают черешни,
Сильней, соловейко, свисти!
Над озимью сладкой,
Над пасекой вешней
Лети, мое сердце, лети!

Опанас

Убивал я, не жалея,
Поджигал и грабил,
Я врывался, как безумный,
В перебранку сабель.
И теперь один, покинут,
Весь в крови, обруган,
Я без дома, без невесты,
Без жены, без друга!

Раиса Николаевна

Так не думай. За туманом
Сгинуло былое,
Только птичий крик тачанок,
Только поле злое,

Только сабля запевает,
Только мчатся кони,
Только плещется над миром
Черный рой вороний!

Второй часовой

На мертвом пороге
Ковыль вырастает,
По трупам домой не пройти.
За граем вороньим,
За галочьей стаей
Лети, мое сердце, лети!

Шагая через спящих махновцев, проходит Павла. Она ищет Опанаса. Махновцы, лежащие на земле, хватают ее за ноги.

Первый махновец

Стой, молодуха! Ложись со мною.
Я кожухом тебя всю покрою!

Второй махновец

Сюда! У меня на земле привольно.
Скажу тебе сказку — будешь довольна!

Третий махновец

Эх, небось от начальника штаба?
Всегда у него что ни ночь, то баба.

Опанас

Павла? Здесь? Ко мне! Скорее!

Павла

Долго я искала!

Опанас

Что ж, садись рядком со мною,
Разве места мало?

Павла

Ой, Панько, что с тобою сталось?
Почернел ты и похудел.
Видно, в кости вошла усталость,
Видно, запил иль заболел.
Вижу, руки твои ослабли,
Голова твоя тяжела.

Встань! Сломай об колено саблю!
Выйди в степь да покличь вола.
Вся земля в предвесеннем дыме,
Бьют младенческие ручьи,
Колокольцами молодыми
Разливаются соловьи.
Выйди в степь и ярмо тугое
На вола своего надень;
От зари и от перегноя
Сладковатый туман и лень.
Черный чуб твой, намокший потом,
Из-под шапки на лоб падет.
Здравствуй, медленный пот работы,
Здравствуй, трудный крестьянский пот!
Как придешь ты перед закатом,
Я под вишней поставлю стол,
Свежей глиной обмажу хату
Да песком пересыплю пол.
Я еду тебе приготовлю,
Слаще той, что ты здесь едал.
Ты мне скажешь, войдя под кровлю:
«Слушай, Павла, наш час настал!»
Ставни стукнули. Тише. Тише.
Никого. Только я и ты.
Только аист скрипит на крыше,
Да за тыном кричат коты.
А захочет рассвет белесый
В нашу горенку заглянуть,
На затылке скручу я косы,
Под сорочку упрячу грудь.
И мы выйдем с тобою в поле,
Мы вдвоем — только ты да я.
Здравствуй, радостная до боли,
Набухающая земля!

Опанас

Я пойду с тобою. Я снова
Возвращусь в деревню.

Раиса Николаевна

Опанас! Опять работа!
Овцы, куры, певни.

Прошибет тебя до пота
Едкий зной весенний.
Ты в обед поставишь миску
С тюрей на колени,
Чтобы, не доев, за плугом
Двинуться с волами.
Гей, Панько! Ужель ты хочешь
Распрощаться с нами?
В берег грянули с размаху
Реки молодые.
Ржут, почуяв дух полыни,
Кони боевые.
Степь весенняя дымится
Рыжими цветами,
Закипает соловьями,
Клекчет беркутами.
И тачанки наши стонут,
И грохочут бубны,
И повстанцев погоняет
Дикий голос трубный.
И с бичом, летящим косо,
В синеву и пламя,
Я несусь простоволосой,
И взрываются колеса
Где-то под ногами.
И припав к луке высокой,
Пригибая травы,
Опанас, ты скачешь сбоку
С шашкою кровавой.
Гей, весна! Стучат копыта!
Ветер! Ветер! Ветер!
Всё пропето! Всё пропито!
Никого на свете!

Опанас

Я б остался. Только дома
Побывать мне надо.

Павла

Дай мне руку. За холмами
Звезды и прохлада,

И, дыша прохладой этой,
Мы пойдем лугами.

Раиса Николаевна

Брось ее! Панько, не сетуй!
Оставайся с нами.
Ты пойдешь одна. Довольно!
К черту причитанья!

Павла

Собирайся. Нас в дороге
Подвезут крестьяне.
Завтра утром, перед солнцем,
Мы войдем в ворота.

Раиса Николаевна

Поболтала! Хватит! Баста!
Уходи в два счета!

Павла

Не пойду!

Раиса Николаевна

Пойдешь!

Павла

Ни шагу
Не ступлю одна я!

Опанас

Уходи отсюда, Павла,
Уходи, родная!

Павла

Я уйду с тобою вместе,
Я пришла недаром!

Раиса Николаевна
(выхватывает саблю, висящую на боку у Опанаса)

Нет?! Так вот твоей невесте
Свадебный подарок!

(Рубит Павлу.)

Первый часовой

У синего Дона,
В садочке, на взгорье,
Цвети, моя вишня, цвети!
На тихие воды,
На ясные зори
Лети, мое сердце, лети!

Действие переносится к столу, за которым работают Махно и штабные.

Адъютант

Надо биться до отказа —
Всё равно догонит.

Первый штабной

У Котовского, конечно,
Притомились кони.

Второй штабной

Притомиться — притомились,
Но ударят славно.

Махно

Дай послушаем, что скажет
Наш начальник главный.

Начальник штаба

Надобно с большевиками
Нам принять сраженье:
Покрутись перед полками,
Дай распоряженье.

Махно

Если драться, так уж драться!
Нынче спозаранок
Я ударю на комбрига
Армией тачанок.

(Адъютанту.)

Ну-ка, выдай перед боем
Пожирнее пищу,

Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днище.
Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели,
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!

С воза по длинной дощатой сходне скатывают бочку.

Махновцы

Зовите завхоза! Сюда, завхоз!
Выкатывай бочку! Тяни взасос!
Громи прикладом! Еще! Не в счет!
Пошла... Еще раз! Течет! Течет!
Течет! Течет! Котелок давай!
Я прямо в шапку! Крепка! Ув-ва!
До чертиков напился,
В траву повалился.
Лежи в траве, повстанец, —
Окончился танец.
Хоть вылужена глотка,
Да яростна водка.
Лежи, раскинув ноги,
У самой дороги.

Махновец
(подходит к Махно)

Батько, вчера, как взошла заря,
В плен захватили мы кобзаря;
Стар до того, что башкой трясет...
Привести его, что ли. Пускай споет.

Махно

Приведите его.

Махновцы

Он идет сюда.
Белая свитка! Слепой! Борода!

Кобза на ремне! Смотри! Поводырь...
У парубка очи ясней воды...

Кобзарь

Куда я пришел? Не слышу базара.
Здесь дух такой, как после пожара.
Не слышу базара... Волов не слышу.
Здесь пахнет железом. Здесь водкой дышат!
Где я? Здесь бабы не гомонят.
Хлопец! Куда ты привел меня?

Махно

Спой, старик, нам по-казачьи
О нашей удаче.

Старик садится на камень и кладет кобзу на колени. Хлопец с подстриженной челкой становится рядом с ним.

Кобзарь

Пшеница шумит
Перед близкой бедой,
Струится в ушаты
Кровавый удой...
О, горе нам, горе!
Предсмертные зори
Чадят головней
Над сожженной землей.
Зачем, Украина, ты в сумрак идешь?
О ком ты рыдаешь?
Кого еще ждешь?
Твой волос посекся.
Иссохли сосцы.
В корявые ноги
Вонзились волчцы.
Деникин стегал тебя
Плетью тугой,
Пинал тебя гетман
Дворянской ногой.
И с черным туманом
Прошел ураганом
Петлюра над бедной
Твоей головой...
Махно угонял
Перепуганный скот,

Вымаривал
Смертной горилкой народ.
Весь мир наизнанку!
Взлетай на тачанку!
Ложись к пулемету,
И — кони вперед!
Кружится, пыля,
Под ногами земля,
Свистят тополя,
И пожары ревут...
И нет, Украина,
Пощады тебе,
Твой дом опозорен
И проклят твой труд!

Махно

Вот раскаркался, проклятый!
Чего ему надо?

Махновцы

Ну и песня! В ней, ей-богу,
Ни складу ни ладу.

Начальник штаба

Пей, ребята, перед боем,
Ешь, ребята, крепче!
Нечего, ребята, слушать,
Что бродяга шепчет.

Вокруг бочек собирается все больше и больше народу. Какие-то нелепые фигуры пляшут. Часовые спускаются вниз.

Первый часовой

Меня качала в зыбке мать,
Меня слеза ее прожгла.
Уж никогда не вылезать
Мне из казачьего седла.

Второй часовой

От пламени как днем светло.
За речкой пулеметы бьют,
Горит родимое село,
Где петухи мои поют.

Первый часовой

Покуда пуля не пробьет,
Иди вперед! Иди вперед!

Второй часовой

Покуда сабельный удар
Наотмашь не сразит меня,
В ночной набег, в степной пожар
Гони коня! Гони коня!

Первый часовой

Меня крестьяне проклянут:
Убийца! Лодырь! Конокрад!
Глаза крестьянки отвернут:
Постылый! Уходи назад!

Второй часовой

Мой труп полынью зарастет,
Вокруг меня черным-черно,
И ворон весть не принесет
К моей невесте под окно...

Махновцы

Пей, не жалей!
Жри до отвала!
Гей, да зозуля закуковала!
Бабу бы надо!
Лошадь бы надо!
Водки нажрался —
Дрыхни, как падаль!
Бочку выкатывай!
Бочку! Бочку!
Значит, пропляшем целую ночку.
Так и умрешь...
Рваный да пьяный.
Выпьем, ребята, за атамана!

Расталкивая народ, вбегает махновец.

Махновец

Где батько?

Махновцы

Гуляет где-то.

Махновец

Где начальник штаба?

Махновцы

Завалился спозаранок
Под телегу с бабой.

Махновец

Стойте! Слушайте, ребята!
От воды днестровской,
Через Черный Виноградник
Двинулся Котовский.
Он прошел уже Затишье,
Житняки и Дубы...
Хлопцы, слышите над степью
Трубы, трубы, трубы...

Звучат, заглушенные расстоянием, трубы Котовского.

Махновцы

Котовский! Котовский!
...Кончайте пьянку...
...Где батькин стол?
Запрягай тачанку...
Котовский... Котовский...
Огонь... Погоня...
Где часовые?
Котовский... Кони...
...Котовский... Труба...
Командиры, к бою!
Труба... Трубы...
О трубе... Трубою...

На бочку взбирается Махно.

Махно

Без волынки! К пулеметам!
По команде сразу
Передать приказ по ротам —
Биться до отказу!

Голоса

Где пулеметчики?
Спят вповалку...

Где пулеметы?
Свалились в балку.
Огонь! Огонь!
Передать по ротам!
...Котовский...
Не пьяные — к пулеметам.
...Котовский... Труба...
Командиры, к бою!
Труба... Трубы...
О трубе... Трубою...

Кобзарь, не замеченный никем, появляется снова. Он садится на камень, кладет кобзу на колени. Парубок становится рядом с ним.

Кобзарь

Проснись, бедолага,
Проснись, не дремли.
Армейские кони
Заржали вдали.
От окрика сына
Вставай, Украина,
Сын в бурке косматой
До самой земли.

Трубы Котовского трубят тревогу.

Играет нагайкой
Червонный казак,
Широкую рысь
Переводит на шаг.
Из стремени ногу
И — прыг на дорогу,
Целует глаза,
Где слезящийся мрак...

Трубы Котовского трубят рысь:

«Рысью размашистой,
Но не распущенной,
Для сбереженья коней!»

Гей, мать, подымайся!
Скликай сыновей,
Из мертвых домов,
От несжатых полей,
С Карпатских нагорий

До Чернова моря,
От киевских рощ
До херсонских бакчей.

Трубы Котовского играют галоп:

«Ну, в галоп, в поводья, конь!
И шенкель ему в бок,
Собирайся, конь, совсем
В клубок!»

Смотри, как встают они,
Злобой горя, —
Жнецы, кузнецы,
Чабаны, слесаря,
В холщовых рубахах,
В бараньих папахах,
Затылок скребя
И махорку куря.

Трубы Котовского трубят карьер:
«Скачи, лети стрелой!»

Я слышу их голос,
Я слышу их шаг:
Они за холмом,
Они входят в овраг...

Трубы Котовского играют «правое плечо вперед»:

«Ну, правым плечом дружно
На левый фронт врага!»

ВТОРАЯ КАРТИНА

Комната в штабе. За окном празднично убранный провинциальный южный городок. Штабной сидит за столом. Два красноармейца приводят Опанаса.

Штабной

Разрешите папиросу,
Чаю не хотите ль?
Сколько лет вам? Вы какого
Поселенья житель?

Опанас

Что с Махно?

Штабной

Бежал к румынам.

Опанас

Армия?

Штабной

Разбита.
Больше бешеные кони
Не потопчут жито.

За окном музыка. По улицам проходят красноармейские части.

Опанас

В городе народ, тревога,
Музыка и ржанье.

Штабной

Украине на подмогу
Вышли северяне.

(Штабной подходит к окну.)

Вот идут они рядами,
Сбитые толково.
Латыши. За латышами
Кони Примакова.
Москвичи в суконных шлемах,
Петроградцев роты,
На боках коней башкирских
Виснут пулеметы.

Музыка.

(Штабной подходит к столу.)

Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною:
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною!
Говорите без обмана,
Не испуга ради,
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Говорите, но не сразу,

А подумав малость,
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?

Опанас

Что я знал! Коня. Подпругу.
Саблю да поводья.
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами.
Украина — мать родная,
Билась под конями.
Как мы шли в колесном громе,
Так, что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка.
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в бога.
Одного не позабуду:
Как скончался Коган.
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги.
Ну, штабной! Мотай башкою,
Придвигай чернила,
Этой самою рукою
Когана убило!
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито...

Штабной

Гражданин! Надеюсь, боле
Ничего не скрыто.
Всё рассказано как надо.
Распишитесь с края.
Так. Вот здесь!

Опанас

Еще немного:
Я припоминаю!

Он качнулся, понемногу
Оседая в травы.
Посинел. По окулярам
След прошел кровавый.
И еще припоминаю:
Часовые пели,
Кровью вымокла рубашка
На девичьем теле...

Мимо окна конвоиры проводят Раису Николаевну. Она слышит голос Опанаса, останавливается. Часовые подталкивают ее.

Раиса Николаевна

Опанас!

Опанас

Она! Раиса!

Штабной

Гражданин! Ни шагу!

Раиса Николаевна
(ее не видно, доносится только ее голос)
Где ты, Опанас?

Штабной

Ни с места!

Опанас

Отдавай бумагу.

(Рвет допрос.)

Я иду к тебе, Раиса!
Подожди немного.

Раиса Николаевна

Опанас!

Опанас бросается к окну.

Штабной

Стреляйте, хлопцы!
Погибай, небого!

Пауза. Потом музыка. По улице проходит красноармейская часть.

ПЕСНЯ

Как с востока дунул ветер
Буревой.
Закружилось всё на свете,
Конь заржал под грохот бубна
Боевой.
Душен день. Земля в пожаре.
Подымайся, пролетарий!

1932—1933

ПЕСНИ К ЛИБРЕТТО ОПЕРЫ «ДУМА ПРО ОПАНАСА»

1

У стремени стального
Рыдала мать моя:
«Куда ты едешь снова,
Родимое дитя?
Не топтана, не хожена
Степная сторона,
Бандитами обложена
Степная сторона...
Коль будет бой — укройся
В траву, в зеленый свет...»
— «Ой, мать моя, не бойся! —
Я говорю в ответ. —
До командира взвода
Уж дослужился я, —
Из тульского завода
Винтовочка моя.
Объезженный, обученный
Мой коник вороной.
Он за Махной гонялся
По стороне степной.
А если пули злые
Мне в сердце попадут, —
Товарищи лихие
Взамен меня пойдут.
Не плачь же, мать родимая,

Не бейся головой,
Страна моя, сады мои
Лежат передо мной».

2

ПЕСНЯ БАБ

Лежит мой любимый на черной земле,
В крови его шапка и руки в золе.
Не встать ему больше, не сесть на коня,
Сгниет, как трава, и не вспомнит меня.
В зеленом долу соловейка поет.
Мой муж целый день починял пулемет.
За черной тачанкой согнулся ковыль,
И нет никого. Только ветер да пыль.
Ой степь моя, степь, неоглядная ширь,
Могильщик-орел, партизан поводырь.
Он сгорбился чертом над черным холмом,
Хохол подымает да машет крылом.
Лежат наши дети в холодных степях,
Любимые спят в голубых ковылях,
Отцы потонули в днестровской воде,
Веселых мужей не разыщешь нигде.
Лети ж моя песня над тихой водой,
Столкнись моя песня с зеленой звездой,
Рассыпься словами, нырни в тишину,
Взлетая, как чайка, с волны на волну.

3

Мы спим у пулемета,
Ночуем у костра.
Веселая работа —
От ночи до утра...
Крестьянин и рабочий —
Освобожденный труд —
Встают в пожарах ночи,
И поезда ревут...
Вперед! Простор огромен —
Ветра гудят в ушах...

Вперед, за пламя домен,
За счастье наших шахт!
За нашу гибнущую рожь —
Даешь Деникина, даешь!
От пасмурной Сибири
До ясного Днестра —
Мы спим у пулемета,
Ночуем у костра.
Качаемся на седлах,
Идем — к звену звено,
Бьем офицеров подлых
И хитрого Махно...
За кровь, за гибнущую рожь —
Даешь Деникина, даешь!..

4

СТАРИК

Горит Украина, кричит Украина, —
Могильщик-орел на кургане стонет!
По мертвой степи забелели кости,
Ветер волну по лиманам гонит.
Припадают матери к земле кровавой, —
Сыновья убиты и не зарыты.
Кто вспомнит о них? кто споет им славу? —
На черных могилах стучит копыто!..
Ой, нету хлеба! ой, нету воли, —
Разбиты сохи, сломались грабли!..
Махно гуляет в родимом поле —
Горелку пьет да играет саблей.
Махно сосет твою кровь густую,
Ой, Украина, моя Украина!
Дочь обнимает, отца убивает,
К черным делам подстрекает сына.
Гей, собирайтесь, добрые люди!
Ружья берите — коней топите,
Идите в леса, залегайте в травы,
Махно разбейте и прогоните.

5

Шли телеги с юга на закат великий...
Ой, стонали оси, ой, шумели травы, —
А солдат убитый, пулями пробитый —
При большой дороге погребен без славы.
Выходил он в поле за солдатской долей —
Житняком питался, дождем умывался,
Ночевал под стогом, шагал по дорогам,
У встречного люда правды добивался:
«Где, скажите, люди, наша правда будет, —
Солдатская правда, корявая правда?
Может, спит, бедняга, под старым забором,
Может, умирает за тем косогором...»
Встречь ему гетман с бурею да с ветром, —
Ус по ветру бьется, оселедец вьется,
В бок руки уперты, фасон как у черта,
Сапоги со звоном, огонь по погонам...
«Твоей правды нету, исчезла со свету.
Ее ветры сдули, истыкали пули!
Иди ко мне в сотню, без правды вольготней,
В голове — прохладней, да в сердце отрадней...»
Плюнул солдат с горя и дальше потопал,
Затянулся горькой овечьей махоркой...
Встречь ему Петлюра — казацкая шкура, —
В руках — по бутылке, шапка на затылке.
«Твоя правда, братец, в кабаке забыта,
Пропита братвою, съедена с жратвою.
Лучше сам напейся, спляши да засмейся,
Топни каблуком да тряхни головою!..»

1932—1933

ФЕВРАЛЬ

Вот я снова на этой земле.
Я снова
Прохожу под платанами молодыми,
Снова дети бегают у скамеек,
Снова море лежит в пароходном дыме...

Вольноопределяющийся, в погонах,
Обтянутых разноцветным шнуром, —
Это я — вояка, герой Стохода,
Богатырь Мазурских болот, понуро
Ковыляющий в сапогах корявых,
В налезающей на затылок шапке...

Я приехал в отпуск, чтоб каждой мышцей,
Каждой клеточкой принимать движенье
Ветра, спутанного листвою,
Голубиную теплоту дыханья
Загорелых ребят, перебежку пятен
На песке и соленую нежность моря...

Я привык уже ко всему: оттуда,
Откуда я вырвался, мне обычным
Казался мир, прожженный снарядом,
Пробитый штыком, окрученный туго
Колючей проволокой, постыло
Воняющий потом и кислым хлебом...

Я должен найти в этом мире угол,
Где на гвоздике чистое полотенце
Пахнет матерью, подле крана — мыло,
И солнце, бегущее сквозь окошко,
Не обжигает лицо, как уголь...

Вот снова я на бульваре.
Снова
Иван-да-марья цветет на клумбах,
Человек в морской фуражке читает
Книгу в малиновом переплете;
Девочка в юбке выше колена
Играет в дьяболо; на балконе
Кричит попугай в серебряной клетке.

И я теперь среди них как равный,
Захочу — сижу, захочу — гуляю,
Захочу (если нет вблизи офицера) —
Закурю, наблюдая, как вьется плавный
Лист над скамейками, как летают
Ласточки мимо часов управы...

Самое главное совершится
Ровно в четыре.
Из-за киоска
Появится девушка в пелеринке, —
Раскачивая полосатый ранец,
Вся будто распахнутая дыханью
Прохладного моря, лучам и птицам,
В зеленом платье из невесомой
Шерсти, она вплывает, как в танец,
В круженье листьев и в колыханье
Цветов и бабочек над газоном.

Домой из гимназии...
Вместе с нею —
Откуда-то, из позабытого мира,
Кружась, летят звонки перемены,
Шепот подруг, ангелок с тетради
И топот учителя в коридоре.

Пред ней платаны поют, а сзади
Ее, хрипя, провожает море...

Я никогда не любил как надо...
Маленький иудейский мальчик —
Я, вероятно, один в округе
Трепетал по ночам от степного ветра.

Я, как сомнамбула, брел по рельсам
На тихие дачи, где в колючках
Крыжовника или дикой ожины
Шелестят ежи и шипят гадюки,
А в самой чаще, куда не влезешь,
Шныряет красноголовая птичка
С песенкой тоненькой, как булавка,
Прозванная «Воловьим глазом»...

Как я, рожденный от иудея,
Обрезанный на седьмые сутки,
Стал птицеловом — я сам не знаю!

Крепче Майн-Рида любил я Брэма!
Руки мои дрожали от страсти,
Когда наугад раскрывал я книгу...
И на меня со страниц летели
Птицы, подобные странным буквам,
Саблям и трубам, шарам и ромбам.

Видно, созвездье Стрельца застряло
Над чернотой моего жилища,
Над пресловутым еврейским чадом
Гусиного жира, над зубрежкой
Скучных молитв, над бородачами
На фотографиях семейных...

Я не подглядывал, как другие,
В щели купален.
Я не старался
Сверстницу ущипнуть случайно...
Застенчивость и головокруженье
Томили меня.
Я старался боком

Перебежать через сад, где пели
Девочки в гимназических платьях...

Только забывшись, не замечая
Этого сам, я мог безраздумно
Тупо смотреть на голые ноги
Девушки.
Стоя на табурете,
Тряпкой она вытирала стекла...

Вдруг засвистело стекло по-птичьи —
И предо мной разлетелись кругом
Золотые овсянки, сухие листья,
Болотные лужицы в незабудках,
Женские плечи и птичьи крылья,
Посвист полета, журчанье юбок,
Щелканье соловья и песня
Юной соседки через дорогу, —
И наконец, всё ясней, всё чище,
В мире обычаев и привычек,
Под фонарем моего жилища
Глаз соловья на лице девичьем...

Вот и сейчас, заглянув под шляпу,
В слабой тени я глаза увидел.
Полные соловьиной дрожи,
Они, покачиваясь, проплывали
В лад каблукам, и на них свисала
Прядка волос, золотясь на коже...

Вдоль по аллее, мимо газона,
Шло гимназическое платье,
А в сотне шагов за ним, как убийца,
Спотыкаясь о скамьи и натыкаясь
На людей и деревья, шепча проклятья,
Шел я в больших сапогах, в зеленой
Засаленной гимнастерке, низко
Остриженный на военной службе,
Еще не отвыкший сутулить плечи —
Ротный ловчило, еврейский мальчик...

Она заглядывала в витрины,
И средь прозрачных шелков и склянок

Индеец

Таинственно, не по-человечьи,
Отражалось лицо ее водяное...

Она останавливалась у цветочниц,
И пальцы ее выбирали розу,
Плававшую в эмалированной миске,
Как маленькая махровая рыбка.

Из колониального магазина
Потягивало жженым кофе, корицей,
И в этом запахе, с мокрой розой,
Над ворохами листвы в корзинах,
Она мне казалась чудесной птицей,
Выпорхнувшей из книги Брэма...

. . . .

А я уклонялся как мог от фронта...
Сколько рублевок перелетало
Из рук моих в писарские руки!
Я унтеров напаивал водкой,
Тащил им папиросы и сало...
В околодок из околодка,
Кашляющий в припадке плеврита,
Я кочевал.
                    Я пыхтел и фыркал,
Плевал в бутылки, пил лекарство,
Я стоял нагишом, худой и небритый,
Под стетоскопами всех комиссий...

Когда же мне удавалось правдой
Или неправдой — кто может вспомнить? —
Добыть увольнительную записку,
Я начищал сапоги до блеска,
Обдергивал гимнастерку — и бойко
Шагал на бульвар, где в платанах пела
Голосом обожженной глины
Иволга, и над песком аллеи
Платье знакомое зеленело,
Покачиваясь, как дымок недлинный...

Снова я сзади тащился, млея,
Ругаясь, натыкаясь на скамьи...
Она входила в кинематограф,

В стрекочущую темноту, в дрожанье
Зеленого света в квадратной раме,
Где женщина над погасшим камином
Ломала руки из алебастра
И человек в гранитном пластроне
Стрелял из безмолвного revolьвера...

Я знал в лицо всех ее знакомых,
Я знал их повадки, улыбки, жесты.
Замедленный шаг их, когда нарочно
Стараешься грудью, бедром, ладонью
Почувствовать через покров непрочный
Тревожную нежность девичьей кожи...

Я всё это знал...
Улетали птицы...
Высыхала трава...
Погибали звезды...
Девушка проходила по свету,
Собирая цветы, опустив ресницы...
Осень...
Дождями пропитан воздух,
Осень...
Грусти, погибай и сетуй!
Я сегодня к ней подойду.
Я встану
Перед ней.
Я не дам ей свернуть с дороги.
Достаточно беготни.
[Мужайся!]
Возьми себя в руки.
Кончай волынку!
Заколочен киоск...
У часов управы
Суетятся голуби.
Скоро — четыре.
Она появилась за час до срока, —
Шляпа в руках...
Рыжеватый волос,
Просвеченный негреющим солнцем,
Реет у щек...
Тишина.
И голос

Синицы, затерянной в этом мире...
Я должен к ней подойти.
Я должен
Обязательно к ней подойти.
Я должен
Непременно к ней подойти.
Не думай,
Встряхнись — и в догонку.
Довольно бреда!..
А ноги мои не сдвигались с места,
Как будто каменные.
А тело
Как будто приковалось к скамейке.
И встать невозможно...
Бездельник! **Шляпа!**

А девушка уже вышла на площадь,
И в темно-сером кругу музеев
Платье ее, летящее с ветром,
Казалось тоньше и зеленее...

Я оторвался с таким усильем,
Как будто накрепко был привинчен
К скамье.
Оторвался — и без оглядки
Выбежал за нею на площадь.
Всё, о чем я читал ночами,
Больной, голодный, полуодетый, —
О птицах с нерусскими именами,
О людях неизвестной планеты,
О мире, в котором играют в теннис,
Пьют оранжад и целуют женщин, —
Всё это двигалось предо мною,
Одетое в шерстяное платье,
Горящее рыжими завитками,
Покачивающее полосатым ранцем,
Перебирающее каблучками...

Я положу на плечо ей руку:
«Взгляни на меня!
Я — твое несчастье!

Я обрекаю тебя на муку
Неслыханной соловьиной страсти!
Остановись!»
Но за поворотом —
В двадцати шагах зеленеет платье.
Я ее догоняю.
Еще немного
Напрягусь — мы зашагаем рядом...

Я козыряю ей, как начальству,
Что ей сказать? Мой язык бормочет
Какую-то дребедень:
— Позвольте...
Не убегайте... Скажите, можно
Вас проводить? Я сидел в окопах!..

Она молчит.
Она даже глазом
Не поведет.
Она убыстряет
Шаги.
А я рядом бегу, как нищий,
Почтительно нагибаясь.
Где уж
Мне быть ей равным!..
Я как безумный
Бормочу какие-то фразы сдуру...

И вдруг остановка...
Она безмолвно
Поворачивает голову — я вижу
Рыжие волосы, сине-зеленый
Глаз и лиловатую жилку
На виске, дрожащую в напряженьи...
«Уходите немедленно», — и рукою
Показывает на перекресток...

Вот он —
Поставленный для охраны покоя —
Он встал на перепутье, как царство
Шнуров, начищенных блях, медалей,

Задвинутый в сапоги, а сверху —
Прикрытый полицейской фуражкой,
Вокруг которой кружат в сияньи,
Желтом и нестерпимом до пытки,
Голуби из святого писанья
И тучи, закрученные как улитки...
Брюхатый, сияющий жирным потом
Городовой.
С утра до отвала
Накачанный водкой, набитый салом...

Студенческие голубые фуражки;
Солдатские шапки, треухи, кепи;
Пар, летящий из мерзлых глоток;
Махорка, гуляющая столбами...

Круговорот полушубков, чуек,
Шинелей, воняющих кислым хлебом,
И на кафедре, у большого графина —
Совсем неожиданного в этом дыме —
Взволнованный человек в нагольном
Полушубке, в рваной косоворотке
Кричит сорвавшимся от напряженья
Голосом и свободным жестом
Открывает объятья...
Большие двери
Распахиваются.
Из февральской ночи
Входят люди, гримасничая от света,
Топчутся, отряхают иней
С полушубков — и вот они уже с нами,
Говорят, кричат, подымают руки,
Проклинают, плачут.
Сопенье, кашель,
Толкотня.
На хорах трещат перила
Под напором плеч.
И, взлетая кверху,

Пятерни в грязи и присохшей крови
Встают, как запачканные светила...

В эту ночь мы пошли забирать участок...
Я, мой товарищ студент и третий —
Рыжий приват-доцент из эсеров.

Кровью мужества наливается тело,
Ветер мужества обдувает рубашку.
Юность кончилась...
Начинается зрелость...
Грянь о камень прикладом! Сорви фуражку!

Облик мира меняется.
Нынче утром
Добродушно шумели платаны.
Море
Поселилось в заливе.
На тихих дачах
Пели девушки в хороводах.
В книге
Доктор Брэм отдыхал, прислонив централку
К валуну.
Мой родительский дом светился
Язычками свечей и библейской кухней...

Облик мира меняется...
Этой ночью
Гололедица покрывает деревья,
Сучья лезут в глаза, как живые.
Море
Опрокинулось над пустынным бульваром.
Пароходы хрипят, утопая.
Дачи
Заколочены.
На пустынных террасах
Пляшут крысы.
И Брэм, покидая книгу,
Подымает ружье на меня с угрозой...

Мой родительский дом разворован.
Кошка
На холодной плите поднимает лапки...

Юность кончилась нынче... Покой далече...
Ноги шлепают по воде.
Проклятье!
[Подыми] воротник и закутай плечи!
Что же! Надо идти!
Не горюй, приятель!
Дождь!
Суетливая перебранка
Воронья на акациях.
Дождь.
Из прорвы
Катящие в ацетиленовом свете
Мотоциклисты.
И снова черный
Туннель — без конца и начала.
Ветер,
Бегущий неизвестно куда.
По лужам
Шагающие патрули.
И снова —
Дождь.
Мы одни — в этом мокром мире.

Натыкаясь на тумбы у подворотен,
Налезая один на другого, камнем
Падая на мостовую, в полночь
Мы добрели до участка...
Вот он,
Каменный ящик, закрытый сотней
Ржавых цепей и пудовых крючьев, —
Ящик, в который понабивались
Лихорадка, тифозный озноб, запойный
Бред, бормотанье молитв и песни...

Херувимы, одетые в шаровары,
Стояли подле ворот на страже,

Словно усатые самовары,
Один другого тучней и ражей...

Откуда-то изнутри, из прорвы,
Шипящей дождем, вырывался круглый
Лошадиный хрип и необычайный
Заклинательный клич петуха...
Привратник
Нам открыл какую-то щель.
И снова
Загремели замки, закрывая выход...

Мы прошли по коридорам, похожим
На сновиденья.
Кривые лампы
Качались над нами.
По стенам кверху,
К продавленному потолку, взбегали,
Сбиваясь в комки, раскрутясь в спирали,
Косые тени...
На длинных скамьях,
Опершись подбородками на эфесы
Сабель, похрапывали городовые...
И весь этот лабиринт сходился
К дубовым воротам, на которых
Висела квадратная карточка: «Пристав»!!.

Розовый, в лазоревых бакенбардах,
Разлетающихся от легчайшего дуновенья,
Подобно ангелу с гимназической тетради,
Он витал над письменным прибором,
Сработанным из шрапнельных стаканов,
Улыбаясь, тая, изнемогая
От радушия, от нежности, от счастья
Встречи с делегатами комитета...

А мы... стояли, переминаясь
С ноги на ногу, пачкая каблуками
Невероятных лошадей и попугаев,
Вышитых на ковре...
Нам, конечно,
Было не до улыбок.
Довольно...

Сдавай ключи — и катись отсюда к черту!
Нам не о чем толковать.
До свиданья...

Мы принимали дела.
Мы шлялись
По всем закоулкам.
В одной из комнат
В угол навалены были грудой,
Как картофель, браунинги и наганы.
Мы приняли их по счету.
Утром,
Полусонные, разомлев от ночной работы,
Запачканные участковой пылью,
Мы добыли арестантский чайник,
Жестяной, заржавленный, и пили,
Обжигаясь и шлепая губами,
Первый чай победителей, чай свободы...

Голубые дожди омывали землю,
По ночам уже начиналось тайно
Мужественное цветенье каштанов.
[Просыхала земля...]
Разогретой солью
Дуло с берега...
В раковине оркестра,
Потерявшейся в гуще платанов,
Марсельеза, приподнятая смычками,
Исчезала среди фонарей и листьев.

Наша улица, вымытая до блеска
Летним ливнем, улетала к заливу,
Подымавшемуся, как забор зеленый, —
Строй платанов, вытянутый на диво.
И на самом верху, в завитушках пены,
Чуть заметно покачивался картонный
Броненосец «Синоп».
И на сизой туче
Червяком огня извивался вымпел...
Опадали акации.
Невидимкой
Дух гниющих цветов пробирался в море,

И матросы отплясывали в обнимку
С полногрудыми девками из слободки.

За рыбачьими куренями, на склонах
Перевалов, поросших клочкастой мятой,
Под разбитыми шлюпками, у снесенных
Купален, отчаянные ребята —
Дезертиры в болтающихся погонах —
Дулись в двадцать одно, в карася, в солдата,
А в пещере посапывал, как теленок,
Змеевик самогонного аппарата.

Я остался в районе...
Я стал работать
Помощником комиссара...
Вначале
Я просиживал ночи в сырых дежурках,
Глядя на мир, на проходивший мимо,
Чуждый мне, как явленья иной природы.
Из косых фонарей, из густого дыма
Проступали невиданные уроды...

Я старался быть вездесущим...
В бричке
Я толокся по деревенским дорогам
За конокрадами.
Поздней ночью
Я вылетал на моторной гичке
В залив, изогнувшийся черным рогом
Среди камней и песчаных кочек.
Я вламывался в воровские квартиры,
Воняющие пережаренной рыбой.
Я появлялся, как ангел смерти,
С фонарем и револьвером, окруженный
Четырьмя матросами с броненосца...
(Еще юными. Еще розовыми от счастья.
Часок не доспавшими после ночи.
Набекрень — бескозырки. Бушлаты — настежь.
Карабины под мышкой. И ветер — в очи.)

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...

Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь...

. . . .

Я вздрогнул.
                Звонок телефона
Скрежетнул у самого уха...
«Комиссара? Я. Что вам?»
И голос, запрятанный в трубке,
Рассказал мне, что на Ришельевской,
В чайном домике генеральши Клеменц,
Соберутся Семка Рабинович,
Петька Камбала и Моня Бриллиантщик, —
Железнодорожные громилы,
Кинематографические герои, —
Бандиты с чемоданчиками, в которых
Алмазные сверла и пилы,
Сигарета с дурманом для соседа...
Они летали по вагонным крышам
В крылатках, раздуваемых бурей,
С револьвером в рукаве фрака,
Обнимали сторублевых гурий,
И нынче у генеральши Клеменц —
Им будет крышка.
                Баста!

В караулке ребята с броненосца
Пили чай и резались в шашки.
Их полосатые фуфайки
Морщились на мускулатуре...
Розовые розоватостью детства,
Большерукие, с голубыми глазами,
Они передвигали пешки
Восторженно с места на место,
Моргали, шевелили губами,

Задумчиво, без малейшей усмешки
Подпевали, притопывая каблуками...

Мы взгромоздились на дрожки,
Обнимая за талии друг друга,
И остроугольная кляча
Потащила нас в теплую темень....

Нужно было сунуть револьвер
В щелку ворот, чтобы дворник,
Зевая и подтягивая брюки,
Открыл нам калитку.
                    [Молча.]
Мы взошли по красной дорожке,
Устилавшей лестницу.
                    К двери
Подошел я один.
                Ребята,
Зажав меж колен карабины,
Вплотную прижались к стенке.

Всё — как в тихом приличном доме...
Лампа с темно-синим абажуром
Над столом семейным.
                    Гардины,
Стулья с мягкой спинкой.
                        Пианино,
Книжный шкаф, на шкафе — бюст Толстого.
Доброта домашнего уюта
В теплом воздухе.
                Над самоваром
Легкий пар.
            На чайнике накидка
Из плетеной шерсти — всё в порядке...

Мы вошли, как буря, как дыханье
Черных улиц, ног не вытирая
И не сняв бушлатов.
                    Нам навстречу,
Кланяясь и потирая нервно
Руки в кольцах, выкатилась дама
В парике, засыпанная пудрой.

Жирная, с отвислыми щеками...
«Антонина Яковлевна Клеменц!
Это вы? — Мы к вам пришли по делу», —
Я сказал, распахивая двери.

За столом велась беседа.
Трое
Молодых людей в земгусарской форме,
Барышни, смеющиеся скромно.
На столе — пирожные, конфеты.

Я вошел и стал в изумленьи...
Черт возьми! Какая ошибка!
Какой это чайный домик!
Друзья собрались за чаем.
Почему же я им мешаю?..
Мне бы тоже сидеть в уюте,
Разговаривать о Гумилеве,
А не шляться по ночам, как сыщик,
Не врываться в тихие семейства
В поисках неведомых бандитов...

Но какой-то из моих матросов
Подошел к столу и мрачным басом
Проворчал:
«Вот этих трех я знаю.
Руки вверх!
Берите их, ребята!..
Где четвертый?.. Барышни в сторонку!..»
И пошло.
И началось.
На совесть.
У роскошных земгусар мы сняли
Кобуры с наганами.
Конечно,
Это были те, за кем мы гнались...
Мы загнали их в чулан.
Закрыли —
И приставили к ним караул.

Мы толкали двери.
Мы входили
В комнаты, наполненные дрянью...

Воздух был пропитан душной пудрой,
Человечьим семенем и сладкой
<Одурью> ликера.
Сквозь томленье
Синего тумана пробивался
Разомлевший, еле-еле видный
Отсвет фонаря... (как через воду).
На кровати, узкие, как рыбы,
Двигались тела под одеялом...
Голова мужчины подымалась
Из подушек, как из круглой пены...
Мы просматривали документы,
Прикрывали двери, извиняясь,
И шагали дальше.
Снова сладким
Воздухом нас обдавало.
Снова
Подымались головы с подушек
И ныряли в шелковую пену...

В третьей комнате нас встретил парень
В голубых кальсонах и фуфайке.
Он стоял, расставив ноги прочно,
Медленно покачиваясь торсом
И помахивая, как перчаткой,
Браунингом... Он мигнул нам глазом:
«Ой! Здесь целый флот! Из этой пушки
Всех не перекокаешь. Я сдался...»

А за ним, откинув одеяло,
Голоногая, в ночной рубашке,
Сползшей с плеч, кусая папироску,
Полусонная, сидела молча
Та, которая меня томила
Соловьиным взглядом и полетом
Туфелек по скользкому асфальту...
. . . .

«Уходите! — я сказал матросам... —
Кончен обыск! Заберите парня!
Я останусь с девушкой!»
Громоздко

Постучав прикладами, ребята
Вытеснились в двери.
Я остался.
В душной полутьме, в горячей дреме
С девушкой, сидящей на кровати...
«Узнаете?» — но она молчала,
Прикрывая легкими руками
Бледное лицо.
«Ну что, узнали?»
Тишина.
Тогда со зла я брякнул:
«Сколько дать вам за сеанс?»
И тихо,
Не раздвинув губ, она сказала:
«Пожалей меня! Не надо денег...»

Я швырнул ей деньги.
Я ввалился,
Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстегивая гимнастерки,
Прямо в омут пуха, в одеяло,
Под которым бились и вздыхали
Все мои предшественники, — в темный,
Неразборчивый поток видений,
Выкриков, развязанных движений,
Мрака и неистового света...

Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!

Я беру тебя, как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!

Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться, —
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.

Будут ливни, будет ветер с юга,
Лебедей влюбленное ячанье.

1933—1934

СТИХОТВОРЕНИЯ 1915—1934 ГОДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

КРЕОЛКА

Когда наскучат ей лукавые новеллы
И надоест лежать в плетеных гамаках,
Она приходит в порт смотреть, как каравеллы
Плывут из смутных стран на зыбких парусах.

Шуршит широкий плащ из золотистой ткани;
Едва хрустит песок под красным каблучком,
И маленький индус в лазоревом тюрбане
Несет тяжелый шлейф, расшитый серебром.

Она одна идет к заброшенному молу,
Где плещут паруса алжирских бригантин,
Когда в закатный час танцуют фарандолу,
И флейта дребезжит, и стонет тамбурин.

От палуб кораблей так смутно тянет дегтем,
Так тихо шелестят расшитые шелка.
Но ей смешней всего слегка коснуться локтем
Закинувшего сеть мулата-рыбака...

А дома ждут ее хрустальные беседки,
Амур из мрамора, глядящийся в фонтан,
И красный попугай, висящий в медной клетке,
И стая маленьких бесхвостых обезьян.

И звонко дребезжат зеленые цикады
В прозрачных венчиках фарфоровых цветов,
И никнут дальних гор жемчужные громады
В беретах голубых пушистых облаков.

Когда ж проснется ночь над мраморным балконом
И крикнет козодой, крылами трепеща,
Она одна идет к заброшенным колоннам,
Окутанным дождем зеленого плюща...

В аллее голубой, где в серебре тумана
Прозрачен чайных роз тягучий аромат,
Склонившись, ждет ее у синего фонтана
С виолой под плащом смеющийся мулат.

Он будет целовать пугливую креолку,
Когда поют цветы и плачет тишина...
А в облаках, скользя по голубому шелку,
Краями острыми едва шуршит луна...

1915

КОНЕЦ ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА

Надтреснутых гитар так дребезжащи звуки,
Охрипшая труба закашляла в туман,
И бьют костлявые безжалостные руки
В большой, с узорами, турецкий барабан...

У красной вывески заброшенной таверны,
Где по сырой стене ползет зеленый хмель,
Напившийся матрос горланит ритурнель,
И стих сменяет стих, певучий и неверный...

Струится липкий чад над красным фонарем.
Весь в пятнах от вина передник толстой Марты,
Два пьяных боцмана, бранясь, играют в карты;
На влажной скатерти дрожит в стаканах ром...

Береты моряков обшиты галунами,
На пурпурных плащах в застежке — бирюза.
У бледных девушек зеленые глаза
И белый ряд зубов за красными губами...

Фарфоровый фонарь — прозрачная луна,
В розетке синих туч мерцает утомленно,



Узорчат лунный блеск на синеве затона,
О полусгнивший мол бесшумно бьет волна...

У старой пристани, где глуше пьяниц крик,
Где реже синий дым табачного угара,
Безумный старый бриг Летучего Корсара
Раскрашенными флагами поник.

1915

РУДОКОП

Я в горы ушел изумрудною ночью,
В безмолвье снегов и опаловых льдин...
И в небе кружились жемчужные клочья,
И прыгать мешал на ремне карабин...

Меж сумрачных пихт и берез шелестящих
На лыжах скользил я по тусклому льду,
Где гномы свозили на тачках скрипящих
Из каменных шахт золотую руду...

Я видел на глине осыпанных щебней
Медвежьих следов перевитый узор,
Хрустальные башни изломанных гребней
И синие платья застывших озер...

И мерзлое небо спускалось всё ниже,
И месяц был льдиной над глыбами льдин,
Но резко шипели шершавые лыжи,
И мерно дрожал на ремне карабин...

В морозном ущелье три зимних недели
Я тяжкой киркою граниты взрывал,
Пока над обрывом, у сломанной ели,
В рассыпанном кварце зажегся металл...

И гасли полярных огней ожерелья,
Когда я ушел на далекий Восток...
И встал, колыхаясь, над мглою ущелья
Прозрачной весны изумрудный дымок...

Я в город пришел в ускользающем мраке,
Где падал на улицы тающий лед.
Я в лужи ступал. И рычали собаки
Из ветхих конур, у гниющих ворот...

И там, где фонарь над дощатым забором
Колышется в луже, как желтая тень,
Начерчены были шершавым узором
На вывеске буквы «Бегущий Олень»..

И там, где плетет серебристые сетки
Над визгом оркестра табачный дымок,
Я бросил у круга безумной рулетки
На зелень сукна золотистый песок...

А утром, от солнца пьяна и туманна,
Огромные бедра вздымала земля...
Но шею сжимала безмолвно и странно
Холодной змеею тугая петля.

1915

СЛАВЯНЕ

Мы жили в зеленых просторах,
Где воздух весной напоен,
Мерцали в потупленных взорах
Костры кочевавших племен...

Одеты в косматые шкуры,
Мы жертвы сжигали тебе,
Тебе, о безумный и хмурый
Перун на высоком столбе.

Мы гнали стада по оврагу,
Где бисером плещут ключи,
Но скоро кровавую брагу
Испьют топоры и мечи.

Приходят с заката тевтоны
С крестом и безумным орлом,
И лебеди, бросив затоны,
Ломают осоку крылом.

Ярила скрывается в тучах,
Стрибог подымается в высь,
Хохочут в чащобах колючих
Лишь волк да пятнистая рысь...

И желчью сырой опоенный,
Трепещет Перун на столбе.
Безумное сердце тевтона,
Громовник, бросаю тебе...

Пылают холмы и овраги,
Зарделись на башнях зубцы,
Проносят червонные стяги
В плащах белоснежных жрецы.

Рычат исступленные трубы,
Рокочут рыдания струн,
Оскалив кровавые зубы,
Хохочет безумный Перун!..

1915

ВРАГ

Сжимает разбитую ногу
Гвоздями подбитый сапог,
Он молится грустному богу:
Молитвы услышит ли бог?

Промечут холодные зори
В поля золотые огни...
Шумят на багряном просторе
Зеленые вязы одни.

Лишь ветер, сорвавшийся с кручи,
Взвихрит серебристую пыль,
Да пляшет татарник колючий,
Да никнет безмолвно ковыль.

А ночью покроет дороги
Пропитанный слизью туман,
Протопчут усталые ноги,
Тревогу пробьет барабан.

Идет, под котомкой сгибаясь,
В дыму погибающих сел,
Беззвучно кричит, задыхаясь,
На знамени черный орел.

Протопчет, как дикая пляска,
Коней ошалелый галоп...
Опускается медная каска
На влажный запыленный лоб.

Поблекли засохшие губы,
Ружье задрожало в руке;
Запели дозорные трубы
В деревне на ближней реке...

Сейчас над сырыми полями
Свой веер раскроет восток...
Стучит тяжело сапогами
И взводит упругий курок...

Сентябрь 1914

СУВОРОВ

В серой треуголке, юркий и маленький,
В синей шинели с продранными локтями, —
Он надевал зимой теплые валенки
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы,
И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах;
По вечерам, в гостиницах, веселые девушки пели романсы,
И в низких залах струился мятный запах.

Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты,
На грязных окнах подымались зеленые шторы,
В темных залах смолкали нежные дуэты,
И раздавался шепот: «Едет Суворов!»

На узких лестницах шуршали тонкие юбки,
Растворялись ворота услужливыми казачками,
Краснолицые путники почтительно прятали трубки,
Обжигая руки горячими угольками.

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,
На котором стояли саксонские часы и уродцы
из фарфора,
Читал французский роман, открыв его с середины,
«О мученьях бедной Жульетты, полюбившей знатного
сеньора».

Утром, когда пастушьи рожки поют напевней
И толстая служанка стучит по коридору башмаками,
Он собирался в свои холодные деревни,
Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;
Старчески кряхтя, он сходил во двор, держась
за перила;
Кучер в синем кафтане стегал рыжую лошадку,
И мчались гостиница, роща, так что в глазах рябило.

Когда же перед ним выплывали из тумана
Маленькие домики и церковь с облупленной крышей,
Он дергал высокого кучера за полу кафтана
И кричал ему старческим голосом: «Поезжай
потише!»

Но иногда по первому выпавшему снегу,
Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,
К нему в деревню приезжал фельдъегерь
И привозил письмо от матушки-императрицы.

«Государь мой, — читал он, — Александр Васильич!
Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой тревожить,
Вы, как древний Цинциннат, в деревню свою
удалились,
Чтоб мудрым трудом и науками свои владения
множить...»

Он долго смотрел на надушенную бумагу —
Казалось, слова на тонкую нитку нижет;
Затем подходил к шкафу, вынимал ордена и шпагу
И становился Суворовым учебников и книжек.

1915

НАРУШЕНИЕ ГАРМОНИИ

Ультрамариновое небо,
От бурь вспотевшая земля,
И развернулись желчью хлеба
Шахматною доской поля.

Кто, вышедший из темной дали,
Впитавший мощь подземных сил,
В простор земли печатью стали
Прямоугольники вонзил.

Кто, в даль впиваясь мутным взором,
Нажатьем медленной руки
Геодезическим прибором
Рвет молча землю на куски.

О Землемер, во сне усталом
Ты видишь тот далекий скат,
Где треугольник острым жалом
Впился в очерченный квадрат.

И циркуль круг чертит размерно,
И линия проведена,
Но всё ж поет, клонясь неверно,
Отвеса медного струна:

О том, что площади покаты
Под землемерною трубой,
Что изумрудные квадраты
Кривой рассечены межой;

Что, пыльной мглою опьяненный,
Заняв квадратом ближний скат,

Углом в окружность заключенный,
Шуршит ветвями старый сад;

Что только памятник, бессилен,
Застыл над кровью поздних роз,
Что в медь надтреснутых извилин
Впился зеленый купорос.

1915

ГИМН МАЯКОВСКОМУ

Озверевший зубр в блестящем цилиндре —
Ты медленно поводишь остеклевшими глазами
На трубы, ловящие, как руки, облака,
На грязную мостовую, залитую нечистотами.
Вселенский спортсмен в оранжевом костюме,
Ты ударил землю кованым каблуком,
И она взлетела в огневые пространства
И несется быстрее, быстрее, быстрей...
Божественный сибарит с бронзовым телом,
Следящий, как в изумрудной чаше Земли,
Подвешенной над кострами веков,
Вздуваются и лопаются народы.
О Полководец Городов, бешено лающих на Солнце,
Когда ты гордо проходишь по улице,
Дома вытягиваются во фронт,
Поворачивая крыши направо.
Я, изнеженный на пуховиках столетий,
Протягиваю тебе свою выхоленную руку,
И ты пожимаешь ее уверенной ладонью,
Так что на белой коже остаются синие следы.
Я, ненавидящий Современность,
Ищущий забвения в математике и истории,
Ясно вижу своими всё же вдохновенными глазами,
Что скоро, скоро мы сгинем, как дымы.
И, почтительно сторонясь, я говорю:
«Привет тебе, Маяковский!»

1915

ДЕРИБАСОВСКАЯ НОЧЬЮ
(ВЕСНА)

На грязном небе выбиты лучами
Зеленые буквы: «Шоколад и какао»,
И автомобили, как коты с придавленными хвостами,
Неистово визжат: «Ах, мяу! мяу!»

Черные деревья растрепанными метлами
Вымели с неба нарумяненные звезды,
И краснорыжие трамваи, погромыхивая мордами,
По черепам булыжников ползут на роздых.

Гранитные дельфины — разжиревшие мопсы —
У грязного фонтана захотели пить,
И памятник Пушкина, всунувши в рот папиросу,
Просит у фонаря: «Позвольте закурить!»

Дегенеративные тучи проносятся низко,
От женских губ несет копеечными сигарами,
И месяц повис, как оранжевая сосиска,
Над мостовой, расчесавшей пробор тротуарами.

Семиэтажный дом с вывесками в охапке,
Курит уголь, как денди сигару,
И красноносый фонарь в гимназической шапке
Подмигивает вывеске — он сегодня в ударе.

На черных озерах маслянистого асфальта
Рыжие звезды служат ночи мессу...
Радуйтесь, сутенеры, трубы дома подымайте —
И у Дерибасовской есть поэтесса!

1915

О ЛЮБИТЕЛЕ СОЛОВЬЕВ

Я в него влюблена,
А он любит каких-то *соловьев*...
Он не знает, что не моя вина,
То, что я в него влюблена

Без щелканья, без свиста и даже без слов.
Ему трудно понять,
Как его может полюбить *человек:*
До сих пор его любили только *соловьи.*
Милый! Дай мне тебя обнять,
Увидеть стрелы опущенных век,
Рассказать о муках любви.
Я знаю, он меня спросит: «А где твой хвост?
Где твой клюв? Где у тебя прицеплены крылья?»
— «Мой милый! Я не *соловей,* не *славка,*
не *дрозд*...
Полюби меня — ДЕВУШКУ,
ПТИЦЕПОДОБНЫЙ
и
хилый... Мой милый!»

1915

ОСЕНЬ

Литавры лебедей замолкли вдалеке,
Затихли журавли за топкими лугами,
Лишь ястреба кружат над рыжими стогами,
Да осень шелестит в прибрежном тростнике.

На сломанных плетнях завился гибкий хмель,
И никнет яблоня, и утром пахнет слива,
В веселых кабачках разлито в бочки пиво,
И в тихой мгле полей, дрожа, звучит свирель.

Над прудом облака жемчужны и легки,
На западе огни прозрачны и лиловы.
Запрятавшись в кусты, мальчишки-птицеловы
В тени зеленых хвой расставили силки.

Из золотых полей, где синий дым встает,
Проходят девушки за грузными возами,
Их бедра зыблются под тонкими холстами,
На их щеках загар как золотистый мед.

В осенние луга, в безудержный простор
Спешат охотники под кружевом тумана.
И в зыбкой сырости пронзительно и странно
Звучит дрожащий лай нашедших зверя свор.

И Осень пьяная бредет из темных чащ,
Натянут темный лук холодными руками,
И в Лето целится и пляшет над лугами,
На смуглое плечо накинув желтый плащ.

И поздняя заря на алтарях лесов
Сжигает темный нард и брызжет алой кровью,
И к дерну летнему, к сырому изголовью
Летит холодный шум спадающих плодов.

1915

ПОЛКОВОДЕЦ

1

За пыльным золотом тяжелых колесниц,
Летящих к пурпуру слепительных подножий,
Курчавые рабы с натертой салом кожей
Проводят под уздцы нубийских кобылиц.

И там, где бронзовым закатом сожжены
Кроваво-красных гор обрывистые склоны,
Проходят медленно тяжелые слоны,
Влача в седой пыли расшитые попоны.

2

Свирепых воинов сзывают в бой рога;
И вот они ползут, прикрыв щитами спины,
По выжженному дну заброшенной стремнины
К раскинутым шатрам — становищу врага.

Но в тихом лагере им слышен хрип трубы,
Им видно, как орлы взнеслись над легионом,
Как пурпурный закат на бронзовые лбы
Льет медь и киноварь потоком раскаленным.

3

Ржавеет густо кровь на лезвиях мечей,
Стекает каплями со стрел, пронзивших спины,
И трупы бледные сжимают комья глины
Кривыми пальцами с огрызками ногтей.

Но молча он застыл на выжженной горе,
Как на воздвигнутом веками пьедестале,
И профиль сумрачный сияет на заре,
Как будто выбитый на огненной медали.

1916

* * *

О Полдень, ты идешь в мучительной тоске
Благословить огнем те берега пустые,
Где лодки белые и сети золотые
Лениво светятся на солнечном песке.
Но в синих сумерках ты душен и тяжел —
За голубую соль уходишь дымной глыбой,
Чтоб ветер, пахнущий смолой и свежей рыбой,
Ладонью влажною по берегу провел.

1916

ОСЕНЬ

Я целый день шатаюсь по дорогам,
Хожу в деревни и сижу в корчмах.
В мою суму дорожную бросают
Потертый грош, творожную лепешку
Или кусок соленой ветчины.
Я вижу, как пирожница-Зима
Муку и сахар на дороги сыплет,

Развешивает леденцы на елках,
И пачкает лицо свое мукой,
И в нос украдкой песню напевает.
Но вот — задумается хлопотунья,
Забудет печь закрыть засовом плотным,
И теплый дух, откуда ни возьмись,
Повеет вдруг, и леденцы растают,
И почернеет рыхлая мука.
И вот по кочкам, по буграм и тропам
Сначала робко, а потом смелее,
Подняв рукою платье до колен
И розовые ноги обнажив,
Вприпрыжку, брызгая водой из луж,
Уже спешит к нам девушка-Весна.
Тогда на холм зеленый я взбираюсь,
Гляжу из-под ладони в даль сухую —
И вижу, как развалистой походкой,
На лоб надвинув вязаный колпак
И потный лоб рукою отирая,
К нам Лето добродушное плетется.
Оно придет и сядет у дороги,
Раскинет ноги в башмаках тяжелых,
Закурит трубку и заснет на солнце.
Но и над ним склоняется лицо
Работницы, и сумрачная Осень
Дремотное расталкивает Лето.
И, пробужденное, оно встает,
Зевает и бранится потихоньку,
Чтобы, избави бог, не услыхала
Работница печальной воркотни;
И медленно, через леса и долы,
Оно бредет развалистой походкой
В неведомый никем простор. А Осень
Спешит в сады, где соком благодатным
Наполнены тяжелые плоды.
Она весь день работает. В корзины
Навалены и яблоки и груши.
Из ячменя варят по селам пиво.
От мертвых туш струится дым веселый,
И пахнут воском ульи на припеке.
Привет тебе, о благостная Осень,
Питательница сирых и убогих,

Склонившаяся над корзиной тяжкой,
Откуда мерно падают на землю
То рыжий колос, то созревший плод.
И мы бродяги подбираем жадно
В свои подолы сладкие подарки.
Когда ж окончится страда степная
И над скрипящими в полях возами
Курлыканье раздастся журавлей, —
Я, бедный странник, подымаю руки
И говорю: иди, иди, родная,
Святая из святых. Да путь твой будет
Душист и ясен. Да не тяготят
Тебя плодов тяжелые корзины.
И ты идешь, ведомая станицей
Летящих журавлей. Идешь и таешь.
И только плащ твой треплет на ветру.
Еще мгновенье — и за поворотом
Исчез и он. Кружится пыль, и листья
Взлетают над холодною землей.

1916

ОСЕННЯЯ ЛОВЛЯ

Осенней ловли началась пора,
Смолистый дым повиснул над котлами,
И сети, вывешенные на сваях,
Колышутся от стука молотков.
И мы следим за утреннею ловлей,
Мы видим, как уходят в море шхуны,
Как рыбаков тяжелые баркасы
Соленою нагружены треской.
Кто б ни был ты: охотник ли воскресный,
Или конторщик с пальцами в чернилах,
Или рыбак, или боец кулачный,
В осенний день, в час утреннего лова,
Когда уходят парусные шхуны,
Когда смолистый дым прохладно тает
И пахнет вываленная треска,
Ты чувствуешь, как начинает биться
Пирата сердце под рубахой прежней.
Хвала тебе! Ты челюсти сжимаешь,

Чтоб не ругаться боцманскою бранью,
И на ладонях, не привыкших к соли,
Мозоли крепкие находишь ты.
Где б ни был ты: на берегу Аляски,
Закутанный в топорщащийся мех,
На жарких островах Архипелага
Стоишь ли ты в фланелевой рубахе,
Или у Клязьмы с удочкой сидишь ты,
На волны глядя и следя качанье
Внезапно дрогнувшего поплавка, —
Хвала тебе! Простое сердце древних
Вошло в тебя и расправляет крылья,
И ты заводишь боевую песню, —
Где грохот ветра и прибой морей.

1918

КОШКИ

Ал. Соколовскому

Уже на крыше, за трубой,
Под благосклонною луною,
Они сбираются толпой,
Подняв хвосты свои трубою.
Где сладким пахнет молоком
И нежное белеет сало,
Свернувшись бархатным клубком,
Они в углу ворчат устало.
И возбужденные жарой,
Они пресыщены едою,
Их не тревожит запах твой,
Благословенное жаркое.
Как сладок им весенний жар
На кухне, где плита пылает,
И супа благовонный пар
Там благостно благоухает.
О черных лестниц тишина,
Чердак, пропахнувший мышами,
Где из разбитого окна
Легко следить за голубями.
Когда ж над домом стынет тишь,

Волной вечернего угара,
Тогда, скользя по краю крыш,
Влюбленные проходят пары.
Ведь ты, любовь, для всех одна,
Ты всех страстей нежней и выше,
И благосклонная луна
Зовет их на ночные крыши.

1919

* * *

Я сладко изнемог от тишины и снов,
От скуки медленной и песен неумелых,
Мне любы петухи на полотенцах белых
И копоть древняя суровых образов.
Под жаркий шорох мух проходит день за днем,
Благочестивейшим исполненный смиреньем,
Бормочет перепел под низким потолком,
Да пахнет в праздники малиновым вареньем.
А по ночам томит гусиный нежный пух,
Лампада душная мучительно мигает,
И, шею вытянув, протяжно запевает
На полотенце вышитый петух.
Так мне, о господи, ты скромный дал приют,
Под кровом благостным, не знающим волненья,
Где дни тяжелые, как с ложечки варенье,
Густыми каплями текут, текут, текут.

1919

БАЛЛАДА О НЕЖНОЙ ДАМЕ

Зачем читаешь ты страницы
Унылых, плачущих газет?
Там утки и иные птицы
В тебя вселяют ужас. — Нет,
Внемли мой дружеский совет:
Возьми ты объявлений пачку,
Читай, — в них жизнь, в них яркий свет:

«Куплю японскую собачку!»
О дама нежная! Столицы
Тебя взлелеяли! Корнет
Именовал тебя царицей,
Бела ты как вишневый цвет.
Что для тебя кровавый бред
И в горле пушек мяса жвачка, —
Твоя мечта светлей планет:
«Куплю японскую собачку».
Смеживши черные ресницы,
Ты сладко кушаешь шербет.
Твоя улыбка как зарница,
И содержатель твой одет
В тончайший шелковый жилет,
И нанимает третью прачку, —
А ты мечтаешь, как поэт:
«Куплю японскую собачку».
Когда от голода в скелет
Ты превратишься и в болячку,
Пусть приготовят на обед
Твою японскую собачку.

1919

ТРАКТИР

ПОСВЯЩЕНИЕ 1 (ИРОНИЧЕСКОЕ)

Всем неудачникам хвала и слава!
Хвала тому, кто, в жажде быть свободным,
Как дар, хранит свое дневное право —
Три раза есть и трижды быть голодным.
Он слеп, он натыкается на стены.
Он одинок. Он ковыляет робко.
Зато ему пребудут драгоценны
Пшеничный хлеб и жирная похлебка.
Когда ж, овеяно предсмертной ленью,
Его дыханье вылетит из мира,
Он сытое найдет успокоенье
В тени обетованного трактира.

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне.
Припомним же попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.
Сырая ночь окутана туманом...
Что из того? Наш голос не умолк
В тех погребах, где юношам и пьяным
Не отпускают вдохновенья в долг.
Женаты мы. Любовь нас не волнует.
Домашней лирики приходит срок.
Пора! Пора! Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.
И у сосновой струганой постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине
Веселые попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Сцена изображает чердак в разрезе. От чердака к низким и рыхлым облакам подымается витая лестница и теряется в небе. Поэт облокотился о стол, опустив голову. На авансцену выходит Чтец.

Чтец

Для тех, кто бродит по дворам пустым
С гитарой и ученою собакой,
Чей голос дребезжит у черных лестниц,
Близ чадных кухонь, у помойных ям,
Для тех неунывающих бродяг,
Чья жизнь, как немощеная дорога,
Лишь лужами и кочками покрыта,
Чье достоянье — посох пилигрима
Или дырявая сума певца, —
Для вас, о неудачники мои,
Пройдет нравоучительная повесть
О жизни и о гибели певца.
О вы, имеющие теплый угол,
Постель и стеганое одеяло,
Вы, греющие руки над огнем,
Прислушиваясь к нежному ворчанью
Похлебки в разогретом котелке, —
Внемлите этой повести печальной
О жизни и о гибели певца.

Певец

Окончен день, и труд дневной окончен.
Башмачник, позабывший вколотить
Последний гвоздь в широкую подошву,
Встречает ночь, удобно завалившись
С женою спать. Портной, мясник и повар
Кончают день в корчме гостеприимной
И пивом, и сосисками с капустой
Встречают наступающую ночь.
Десятый час. Теперь на скользких крышах
Кошачьи начинаются свиданья.
Час воровской работы и любви,
Час вдохновения и час разбоя,
Час, возвещающий о жарком кофе,
О булках с маслом, о вишневой трубке,
Об ужине и о грядущем сне.
И только я, бездельник, не узнаю
Чудесных благ твоих, десятый час.
И сон идет и пухом задувает
Глаза, но только веки опущу,
И улица плывет передо мною
В сиянии разубранных витрин.
Там розовая стынет ветчина,
Подобная прохладному рассвету,
И жир, что обволакивает мясо,
Как облак, проплывающий в заре.
О пирожки, обваренные маслом,
От жара раскаленной духовой
Коричневым покрытые загаром,
Вас нежный сахар инеем покрыл,
И вы лежите маслянистой грудой
Средь ржавых груш и яблок восковых.
И в темных лавках, среди туш, висящих
Меж ящиков и бочек солонины,
Я вижу краснощеких мясников,
Колбасников в передниках зеленых.
Я вижу, как шатаются весы
Под тягой гирь, как нож блестит и сало,
Свистя, разрезывает на куски.
И мнится мне, что голод скользкой мышью
По горлу пробирается в желудок,
Царапается лапками тугими,

Барахтается, ноет и грызет.
О господи, ты дал мне голос птицы,
Ты языка коснулся моего,
Глаза открыл, чтобы сокрытое узреть,
Дал слух совы и сердце научил
Лад отбивать слагающейся песни.
Но, господи, ты подарить забыл
Мне сытое и сладкое безделье,
Очаг, где влажные трещат дрова,
И лампу, чтоб мой вечер осветить.
И вот глаза я подымаю к небу
И руки складываю на груди —
И говорю: «О боже, может быть,
В каком-нибудь неведомом квартале
Еще живет мясник сентиментальный,
Бормочущий возлюбленной стихи
В горячее и розовое ухо.
Я научу его язык словам,
Как мед тяжелый, сладким и душистым,
Я дам ему свой взор, и слух, и голос, —
А сам — под мышки фартук подвяжу,
Нож наточу, лоснящийся от жира,
И молча стану за дубовой стойкой
Медлительным и важным продавцом».
Но ни один из мясников не сменит
Свой нож и фартук на судьбу певца.
И жалкой я брожу теперь дорогой,
И жалкий вечер без огня встречаю —
Осенний вечер, поздний и сырой.

Чтец

Так, что ни вечер, сетует певец
На господа и промысел небесный.
И вот сквозь пенье скрипок и фанфар,
Сквозь ангельское чинное хваленье,
Господь, сидящий на высоком троне,
Услышал скорбную мольбу певца
И так сказал:

Голос

Сойди, гонец послушный,
С небес на землю. Там, в пыли и прахе,

Измученного отыщи певца.
И за руку возьми и приведи
Его ко мне — в мой край обетованный.
Дай хлеб ему небесный преломить
И омочи его гортань сухую
Вином из виноградников моих.
Дай теплоту ему, и тишину,
И ложе жаркое приуготовь,
Чтоб он вкусил безделие и отдых.
Сойди, гонец!

Чтец

И уж бежит к земле
По лестнице высокой и скрипучей
Гонец ширококрылый. И к нему
Всё ближе придвигается земля:
Уже он смутно различает крыши,
Верхи деревьев, купола соборов,
Он видит свет из-за прикрытых ставень.
И в уличном сиянье фонарей
Вечерний город — смутен и спокоен.
По лестнице бежит гонец послушный,
Распугивая голубей земных,
Заснувших под застрехами собора.
И грузный разговор колоколов
Гонец впивает слухом непривычным...
Всё ниже, ниже в царство чердаков,
В мир черных лестниц, средь стропил гниющих,
Бежит гонец, и в паутине пыльной
Легко мелькает ясная одежда
И крылья распростертые его.
О, как близка голодная обитель,
Где изможденный молится певец!
Так поспеши ж, гонец ширококрылый,
Сильней стучи в незапертую дверь,
Чтоб он услышал голос избавленья
От голода и от скорбей земных.

Стук в дверь.

Певец

Кто в этот час ко мне стучит! .. Сосед ли,
Пришедший за огнем, чтоб раскурить

Погаснувшую трубку, иль, быть может,
Товарищ мой, голодный как и я?
Войди, пришелец!

Чтец

И в комнату идет
Веснушчатый, и красный, и румяный
Рассыльный из трактира, и певец
Глядит на бойкое его лицо,
На руки красные, как сок морковный,
На ясные лукавые глаза,
Сияющие светом неземным.

Певец

О, посещенье странное. Зачем
Пришел ко мне рассыльный из трактира?
Давно таких гостей я не встречал
С румянцем жарким и веселым взглядом.

Гонец

Хозяин мой вас приглашает нынче
Отужинать и выпить у него.

Певец

Но кто же ваш хозяин и откуда
Он знает обо мне?

Гонец

Хозяин мой
Все песни ваши помнит наизусть.
Хоть и трактирщик он, но всё же муза
Поэзии ему близка, и вот
Он нынче приглашает вас к себе.
Скорее собирайтесь. Долог путь —
Остынет ужин, прежде чем дойдем,
И зачерствеет нежный хлеб пшеничный.
Быстрее собирайтесь.

Певец

Только в плащ
Закутаюсь и шапку нахлобучу.

Гонец

Пора идти, хозяин ждать не любит.

Певец

Сейчас иду. Где мой дорожный шарф?

Чтец

Они идут от чердаков сырых,
От влажных крыш, от труб, покрытых сажей,
От визга кошек, карканья ворон
И звона колокольного, всё выше
По лестнице опасной и крутой.
Шатаются истертые ступени
Под шагом их. И ухватился крепко
За пальцы провожатого певец.
Всё выше, выше, к низким облакам,
Сырым и рыхлым, сквозь дождливый сумрак;
Раскачиваема упорным ветром,
Крутая лестница ведет гонца.
И падая, и оступаясь вниз,
И за руку вожатого хватаясь,
Певец идет всё выше, выше, выше,
От въедливого холода дрожа.

Певец

Опасен путь, и неизвестно мне,
Куда ведет он.

Гонец

Не волнуйся. Ты
Сейчас найдешь приют обетованный...

Певец

Но я боюсь, от сырости ночной
Скользит нога и лестница трещит...

Гонец

Будь стойким, не гляди через перила,
Держись упорней, вот моя рука —
Она крепка и удержать сумеет.

Чтец

Конец дороги скользкой и крутой.
Раздергиваются облака, треща,
Как занавес из коленкора. Свет
От фонаря, повисшего над дверью,
Слепящей пылью дунул им в глаза.
И вывеску огромную певец
Разглядывает с жадным любопытством:
Там кисть широкая намалевала
Оранжевую сельдь на блюде синем,
Малиновую колбасу и чашки
Зеленые с разводом золотым.
И надпись неуклюжая гласит:
«Заезжий двор — спокойствие сердец».
О, вечно восхваляемый трактир,
О, запах пива, пар, плывущий тихо
Из широко распахнутых дверей,
У твоего заветного порога
Перекрестились все пути земные,
И вот сюда пришел певец и жадно
Глядит в незапертую дверь твою.
Да, лучшего он пожелать не смел:
Под потолком, где сырость разрослась
Пятном широким, на крюках повисли
Огромные окорока, и жир
С них каплет мерно на столы и стулья.
У стен, покрытых краскою сырой,
Большие бочки сбиты обручами,
И медленно за досками гудит,
Шипит и бродит хмель пивной. А там,
На низких стойках, жареные рыбы
С куском салата, воткнутым во рты,
Коричневой залитые подливой,
Распластаны на длинных блюдах. Там
Дырявый сыр, пропахший нежной гнилью,
Там сало мраморным лежит пластом,
Там яблок груды, и загар медовый
Покрыл их щеки пылью золотой.
А за столом, довольные, сидят
На стульях гости. Чайники кругом,
Как голуби ленивые, порхают,

И чай, журча, струится в чашки. Вот
Куда пришел певец изнеможденный.
И ангел говорит ему:
«Иди
И за столом усядься. Ты обрел
Столь долгожданное успокоенье —
Хозяин всё тебе дарует».

Певец

Но
Чем расплачусь я?

Гонец

Это только мзда
За песни, что слагал ты на земле...

Чтец

С утра до вечера — еда, и только...
Певец толстеет. Вместо глаз уже
Какие-то гляделки. Вместо рук —
Колбасы. А стихи давным-давно
Забыл он. Только напевает в нос
Похабщину какую-то. Недели
Проходят за неделями. И вот
Еда ему противной стала. Он
Мечтает о работе, о веселых
Земных дорогах, о земной любви,
О голоде, который обучил
Его стихам, о чердаке пустом,
О каплях стеарина на бумаге...
Он говорит:

Певец

Ну, хватит, погулял!
Теперь пора домой. Моя работа
Заброшена. Пусти меня. Пора!

Чтец

Но тот, кто пригласил его к себе,
Не отпускает бедного поэта...
Он лучшее питье ему несет,
Он лучшие подсовывает блюда:

Пусть ест! Пусть поправляется! Зачем
Певцу земля, где голод и убийства:
Сиди и ешь! Чего тебе еще?

Певец

Пусти меня. Не то я перебью
Посуду в этой комнате постылой.
Я крепок. Я отъелся, и теперь
Я буду драться, как последний грузчик.
Пусти меня на землю. У меня
Товарищи остались. Целый мир,
Деревьями поросший и водой
Обрызганный — в туманах и сияньях
Оставлен мной. Пусти меня! Пусти!
Не то я плюну в бороду твою,
Проклятый боров! .. Говорю: пусти!

Чтец

Тогда раздался голос:

Голос

Черт с тобой!
Довольно! Уходи! Катись на землю!

1919—1920, 1933

РАССЫПАННОЙ ЦЕПЬЮ

Трескучей дробью барабанят ружья
По лиственницам сизым и по соснам.
Случайный дрозд, подраненный, на землю
Валится с криком, трепеща крылом!
Холодный лес, и снег, и ветер колкий...

И мы стоим рассыпанною цепью,
В руках двустволки, и визжат протяжно
Мордашки на отпущенных ремнях...
Друзья, молчите! Он залег упорно,
И только пар повиснул над берлогой,
И только слышен храп его тяжелый
Да низкая и злая воркотня...

Друзья, молчите! Пусть, к стволу прижавшись,
Прицелится охотник терпеливый!
И гром ударит между глаз звериных,
И туша, вздыбленная, затрепещет
И рухнет в мерзлые кусты и снег!

Так мы теперь раскинулись облавой —
Поэты, рыбаки и птицеловы,
Ремесленники, кузнецы, — широко
В лесу холодном, где колючий ветер
Нам в лица дует. Мы стоим вокруг
Берлоги, где засел в кустах замерзших
Мир, матерой и тяжкий на подъем...
Эй, отпускайте псов, пускай потреплют!
Пускай вопьются меткими зубами
В затылок крепкий. И по снегу быстро,
По листьям полым, по морозной хвое,
Через кусты катясь шаром визжащим,
Летят собаки. И уже встает
Из темноты берлоги заповедной
Тяжелый мир, огромный и косматый,
И под его опущенною лапой
Тяжелодышащий скребется пес!

И мы стоим рассыпанною цепью —
Поэты, рыбаки и птицеловы.
И, вздыбленный, идет на нас, качаясь,
Мир матерой. И вот один из нас —
Широкоплечий, русый и упорный —
Вытаскивает нож из сапога
И, широко расставив ноги, ждет
Хрипящего и бешеного зверя.

И зверь идет. Кусты трещат и гнутся,
Испуганный, перелетает дрозд,
И мы стоим рассыпанною цепью,
И руки онемели, и не можем
Прицелиться медведю между глаз...

А зверь идет... И сумрачный рабочий
Стоит в снегу и нож в руке сжимает,

И шею вытянул, и осторожно
Глядит в звериные глаза! Друзья,
Облава близится к концу! Ударит
Рука рабочья в сердце роковое,
И захрипит, и упадет тяжелый
Свирепый мир — в промерзшие кусты...

А мы, поэты, что во время боя
Стояли молча, мы сбежимся дружно,
И над огромным и косматым трупом
Мы славу победителю споем!

1920

ЗНАКИ

Шумели и текли народы,
Вскипела и прошла волна —
И ветер Славы и Свободы
Вздувал над войском знамена...
И в каждой битве знак особый
Дела героев освещал
И страшным блеском покрывал
Земле не преданные гробы...
Была пора: жесток и горд,
Безумно предводя бойцами,
С железным топотом когорт
Шел Цезарь галльскими полями...
И над потоком желтой мглы
И к облакам взметенной пыли
Полет торжественный кружили
Квирита медные орлы...
И одноок, неукротимо,
Сквозь пыль дорог и сумрак скал,
Шел к золотым воротам Рима
Под рев слоновий Ганнибал...

Текли века потоком гулким,
И новая легла тропа,
Как по парижским переулкам
Впервые ринулась толпа, —
Чтоб, как взволнованная пена,
Сметая золото палат,

Зеленой веткой Демулена
Украсить стогны баррикад...
И вот, возвышенно и юно,
Посланницей высоких благ, —
Взнесла Парижская Коммуна
В деснице нищей красный флаг...

И знак особый выбирая
У всех народов и времен,
Остановились мы, не зная,
Какой из них нам присужден...
Мы не узнали... И над нами
В туманах вспыхнула тогда,
Сияя красными огнями,
Пятиконечная звезда!..

1920

* * *

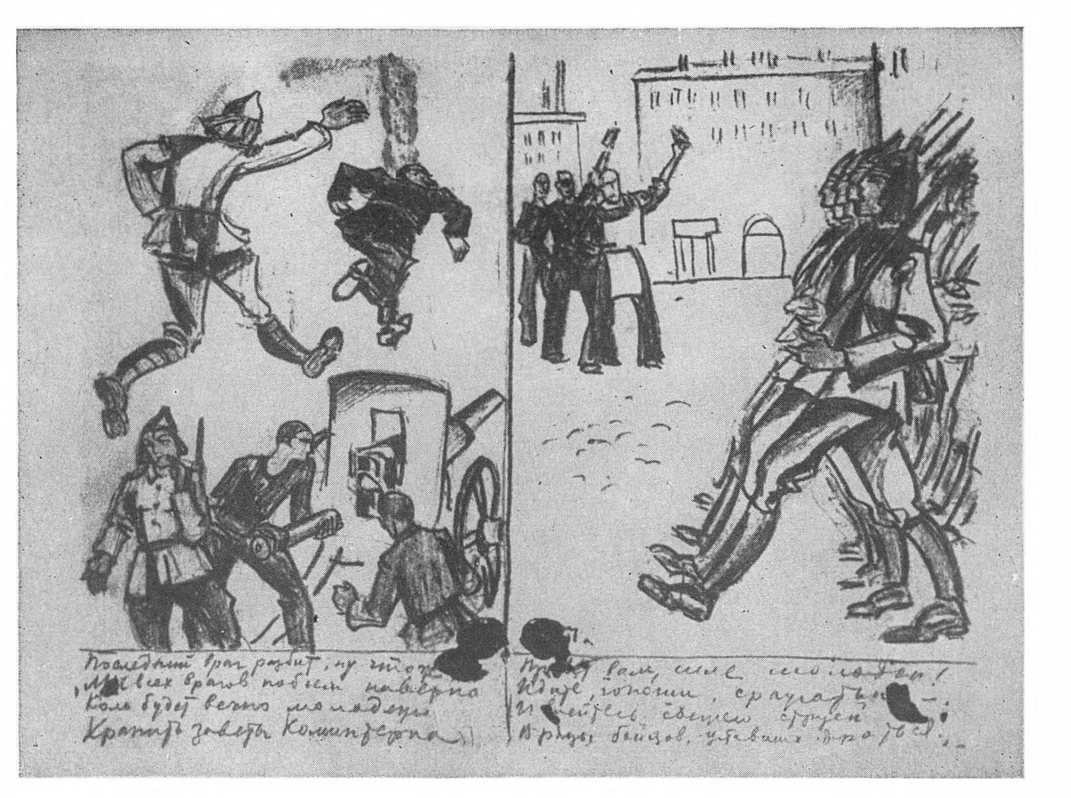
Здесь гулок шаг. В пакгаузах пустых
Нет пищи крысам. Только паутина
Подернула углы. И голубиной
Не видно стаи в улицах немых.
Крик грузчиков на площадях затих.
Нет кораблей... И только на старинной
Высокой башне бьют часы. Пустынно
И скучно здесь, среди домов сырых.
Взгляни, матрос! Твое настало время,
Чтоб в порт, покинутый и обойденный всеми,
Из дальних стран пришли опять суда.
И красный флаг над грузною таможней
Нам возвестил о правде непреложной,
О вольном крае силы и труда.

1921

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

От крутоседлой конницы татарской
Упрямый дух кумыса и конины
Смолой потек по городам и весям
До скопидомной ключницы Москвы.

Перепелиные стояли ночи,
И ржавый месяц колосом налитым
Тянулся к травам низким и сырым.
А за рекой стоял собачий лай,
Да резал воздух свист бича тугого,
Да бабий визг, да цокот соловья
Купеческого. А на Лобном месте
Бездомные собаки копошились
Над воровскою головой. Гудел
Сусальный перезвон. Пред византийской
Широкоглазой важностью иконы
Кудлатый инок плакал и вопил.
Потом кричал барашком недобитым
Вихрастый Дмитрий — и бродил суровый
Широкоплечий Годунов. А там
От тополей и лиственниц литовских
Вскрутилась пыль; там рыжие литвины
В косматых шапках и плащах медвежьих
Раскачивались в седлах; там в пыли
Маячили невиданные крылья
Варшавской конницы. И грузным шагом
Там коренастая брела пехота.
И трубные тугие голоса
Коней бесили: «На Москву, вперед!»
И белобрысый человек глядел
На солнечные головы соборов.
А в черных дебрях, в пустынях медвежьих,
Корявым плугом ковыряя землю,
Ждал крестьянин ночного бездорожья,
Чтоб, напустив на терема бояр
Багрового и злого петуха,
Удариться на Волгу и на Дон,
Пройти на Яик, сгинуть в Забайкалье,
Лишь изредка далекую Москву
Разбойной перекличкой беспокоить.
«Сарынь на кичку!» — начинает Дон.
«Сарынь на кичку!» — отвечает Волга.
«Сарынь на кичку!» — стонет по тайге
И замирает в чаще и чапыге...
Дождь пролетел. Крутые облака
Прошли медлительными косяками.
Будяк колючий и дурман белесый


Последний враг разбит, ну что ж —
Мы всех врагов побили наверно
Коль будет вечно молодежь
Хранить заветы Коминтерна.


Копаю яму для советов
И ты, мой злейший враг, идешь


Ты не увидишь больше света
И сам в ту яму попадешь!

Повырастали из замков ружейных,
Да ловкая завила повилика на них
Щиты с нерусскими словами.
Дождь прошумел. И вновь сусальный звон
Повис над деревянною Москвою.
Седобородым духовенством снова
Задымлены широкие соборы.
И вновь венец напяливают туго
Послушнику на отроческий лоб.
А вниз по Волге, к синим Жигулям,
К хвалынским волнам пролетают струги,
Саратов падает, кровоточа,
Самара руки в ужасе ломает,
Смерд начинает наводить правеж,
И вся земля кричит устами смерди:
«Смерть! Смерть! Убей и по́ ветру раздуй
Гнездо гадюк и семена крапивы,
Бей кистенем ярыжек и бояр,
Наотмашь бей, наметься без промашки,
Чтоб на костях, на крови их взошла
Иная рожь и новая пшеница...»
Но деньги свой не потеряли вес,
Но золото еще блестит под солнцем...
И движутся наемные полки,
Нерусские сверкают алебарды,
И пушечный широкогорлый рев
Нерусским басом наполняет степи...
Палач поет, не покладая рук,
И свищет ветер по шатрам пустынным.
Давно истлели кости казаков,
Давно стрелецкая погибла воля,
Давно башка от звона и кажденья
Бурлящим квасом переполнена.
И бунтовщицкая встает слободка,
И женщина из темного оконца,
Целуя крест, холодным синим ногтем
На жертву кажет... А пила грызет,
Подскакивает молоток, и отрок
Стирает пот ладонью заскорузлой
С упрямого младенческого лба.
О, брадобрей! Уже от ловких ножниц
Спасаются брюхатые бояре,

И стриженые бороды упрямо
Топорщатся щетиною седой,
А ты гвардейским ржавым тесаком
Нарыв вскрываешь, пальцем протирая
Глаза от гноя брызнувшего. Ты
У палача усталого берешь
Его топор, — и головы стрельцов,
Как яблоки, валятся. И в лицо
Европе изумленной дышишь ты
Горячим и вонючим перегаром.
Пусть крепкой солью и голландской водкой
И въедливой болезнью ты наказан,
Всё так же величаво и ужасно
Кошачье крутоскулое лицо.
И вот, напялив праздничный камзол,
Ты в домовину лег, скрестивши руки,
Безумный трудолюбец.
Во дворце ж
Растрепанная рыжая царевна
Играет в прятки с певчим краснощеким
И падает на жаркие подушки, —
И арапчонок в парчево́й чалме
Под дребезжанье дудки скоморошьей
Задергивает занавесь, смеясь.
Еще висящих крыс не расстрелял
Курносый немчик в парике кудрявом,
Еще игрушечные спят бригады
И генералы дремлют у дверей,
А женщина в гвардейском сюртуке
Взбесившуюся лошадь направляет, —
И средь кипящих киверов и шляп
Немецкий выговор и щек румянец
Военным блудом распалились. Пыль
Еще клубится, выстрелы еще
Звучат неловко в воздухе прохладном,
А пудреная никнет голова
На лейб-гвардейское сукно кафтана,
Да ражий офицер, откинув шпагу,
Целует губы сдобные.
В степях,
Где Стенькин голос раздуваем ветром,
Опять шумит, опять встает орда,

Опять глаза налиты вдохновеньем,
Жгут гарнизоны, крепости громят,
Чиновники на виселицах пляшут,
Скрипят телеги, месяц из травы
Вылазит согнутым татарским луком.
Вот-вот гроза ударит в Петербург,
Вот-вот царицу за́ косы потащат
По мостовой и заголят на срам
Толпе, чтоб каждый, в ком еще живет
Любовь к свободе, мог собрать слюну
И плюнуть ей на про́клятое чрево...
Нет Пугачева... Кровь его легла
Ковром расшитым по́д ноги царице,
И шла по нем царица — и пришла
К концу, а на конце — ночной горшок
Принял ее последнее дыханье...
И труп был сизым, как осенний день,
И осыпалась пудра на подушки
С двойного подбородка...
Налетай
И падай мертвым, сумасшедший рыцарь.
И белокурый мальчик вытирает
Широкий лоб батистовым платком.
А там гудит и ссорится Париж,
И между тел, повиснувших уныло
С визгливых фонарей, уже бредет
Артиллерист голодный. Может быть,
Песков египетских венец кипящий
Венчает голову с космою черной,
И папская трехглавая тиара
Упала к узким сапогам его.
И дикий снег посеребрил виски
Под шляпой треугольною и брови
Осыпал нежной пудрой снеговой...
Всё может быть... А нынче только свист
Стремящегося вниз ножа да голос
Судьи, читающего приговор.
А там, в России, тайные кружки,
На помочах ведомая свобода
Да лысый лоб, склоненный меж свечей
К листам бумаги — скользким и шуршащим.
Поездки по дорогам столбовым,

Шлагбаумы, рожки перед восходом,
И, утомленный скукой трудовой,
Царь падает в подушки шарабана.
А в Таганроге — смерть. Дощатый гроб,
Каждения, цветы и панихиды,
А к северу яругами бредет
Веселый странник, ясные глаза
Подняв в гремящее от песен небо.
И солнце пробегает суетливо
По лысому сияющему лбу...
Цареубийцам нет пощады ныне.
Пусть бегает растрепанный певец
Средь войска оробелого. Пускай
Моряк перчатку теребит и жадно
Ждет помощи. Но серые глаза
И бакенбарды узкие проходят
Промеж солдат, и пьяный канонир
Наводит пушку на друзей народа.
Так в год из года. Тот же грузный шаг,
Немецкий говор, холод глаз стеклянных,
Махорочная радость, пьяный стон и...
И повинующиеся солдаты.
Но месть старинная еще жива,
Еще не сгибла в камне и железе,
Еще есть юноши с огнем в глазах,
Еще есть девушки с любовью к воле.
Они выходят на широкий путь
Разведчиками будущих восстаний.
...Карета сломана... На мостовой
Сырая куча тряпок, мяса, крови,
И рыжий дворник навалился враз
На юношу в студенческой фуражке.
Но восстают загубленные люди,
И Стенька четвертованный встает
Из четырех сторон. И голова
Убитого Емельки на колу
Вращается, и приоткрылся рот,
Чтоб вымолвить неведомое слово.

1921

ОСВОБОЖДЕНИЕ

(Отрывки из поэмы)

1

За топотом шагов неведом
Случайной конницы налет,
За мглой и пылью —
Следом, следом
Уже стрекочет пулемет.

Где стрекозиную повадку
Он, разгулявшийся, нашел?
Осенний день,
Сырой и краткий,
По улицам идет, как вол...

Осенний день
Тропой заклятой
Медлительно бредет туда,
Где под защитою Кронштадта
Дымят военные суда.

Матрос не встанет, как бывало,
И не возьмет под козырек,
На блузе бант пылает алый,
Напруженный взведен курок.

И силою пятизарядной
Оттуда вырвется удар,
Оттуда, яростный и жадный,
На город ринется пожар.

Матрос подымет руку к глазу
(Прицел ему упорный дан),
Нажмет курок —
И сразу, сразу
Зальется тенором наган.

А на плацдармах
Дождь и ветер,

Колеса, пушки и штыки,
Сюда собрались на рассвете
К огню готовые полки.

Здесь:
Галуны кавалериста,
Папаха и казачий кант,
Сюда идут дорогой мглистой
Сапер,
Матрос
 И музыкант.

Сюда путиловцы с работы
Спешат с винтовками в руках,
Здесь притаились пулеметы
На затуманенных углах.

Октябрь!
Взнесен удар упорный
И ждет падения руки.
Готово всё:
И сумрак черный,
И телефоны, и полки.

Всё ждет его:
Деревьев тени,
Дрожанье звезд и волн разбег,
А там, под Гатчиной осенней,
Худой и бритый человек.

Октябрь!
Ночные гаснут звуки,
Но Смольный пламенем одет,
Оттуда в мир скорбей и скуки
Шарахнет пушкою декрет.

А в небе над толпой военной,
С высокой крыши,
В дождь и мрак,
Простой и необыкновенный,
Летит и вьется красный флаг.

2

Он струсил!
Английский костюм
И кепи не волнуют боле
Солдатской бунтовщицкой воли
И пленный не тревожат ум.
И только кучка юнкеров,
В шинелях путаясь широких,
Осталась верной.
Путь готов —
Для крепких, страстных и жестоких.
«Стой, кто идет?!»
Осенний дождь
И мрак, овеянный туманом,
Страшны как смерть:
«Я — новый вождь!»
И мимо шагом неустанным,
В пустую ночь и в талый снег,
Сквозь блеск штыков и говор злобы,
Спеша, идет высоколобый,
Широкоплечий человек.

О вы, рожденные трудом,
О вас пройдет из рода в роды
Хвала! Вы пулей и штыком
Ковчег построили свободы.
Куда низринулся удар
Руки рабочей?
Пробегая
Через торцовый тротуар,
Кто восклицает, умирая:
«Коммуна близко...»
На стенах,
Пропахших краскою газетной,
Декреты плещут...
Смерть и страх
По подворотням, незаметно,
Толкутся, как биржевики,
Бормочут, ссорятся и ноют.
Торцы трещат.
Броневики
Сокрытою сиреной воют.

Там закипает и гудит
Случайный бой.
Матрос огромный
В огне и грохоте стоит
Среди камней, под пушкой темной,
Литейщик приложил щеку,
Целясь, к морозному прикладу.
И защищая баррикаду —
Трамвай разбитый на боку.
Гремя доспехами стальными,
Весь в саже, копоти и дыме,
Катится броневик!
Пора
Игру окончить...
Нет пощады
Всем слабым духом...
До утра
Огнем гремели баррикады...
А в небе над толпой военной,
С высокой крыши, в дождь и мрак,
Простой и необыкновенный,
Летит и плещет красный флаг.

1921—1923

УРОЖАЙ

Дух весны распаленный и новый
Распирает утробу земли,
По лесам, где топорщатся совы,
По болотам, где спят журавли,
После зимнего ветра и стужи,
После вьюг и летучих снегов,
Теплый дождь ударяет о лужи,
Каплет мед из набухших цветов.
И голодная доля пред нами
Не маячит туманом степным,
Степь родными желтеет хлебами,
Зимний мрак улетает, как дым.
Богатырская воля родная!
Стынут степи в зеленом пуху,

И Микула, коня распрягая,
Тащит сам по раздольям соху.
Ходят зори над мглою суровой,
Птичьим цокотом полнится май,
И на дудке играет громовой
По лугам молодой урожай.
Что ж, за долгую темную зиму
Поистратилась сила у нас,
Иль простор золотой и любимый
Наш усталый не радует глаз,
Или птиц перелетная стая
Нам грядущий посев не сулит,
Иль земля молодая, родная
Мощь побегов в себе не таит?
Мы копили упор и терпенье
Тяжкой осенью, нищей зимой,
Чтоб полдневной порою весенней
С хитрым голодом двинуться в бой.
Эй, товарищи дружные, где вы?
Блещут сохи, и плуги звенят,
Вырастают тугие посевы,
Как бойцы, что построились в ряд.
Это хлебное воинство ныне
Тяжкий колос подъемлет вперед
И по нищей и скудной пустыне
Благоденствие вдаль разольет.

1922

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

От славословий ангельского сброда,
Толпящегося за твоей спиной,
О Петербург семнадцатого года,
Ты косолапой двинулся стопой.
И что тебе прохладный шелест крылий,
Коль выстрелы мигают на углах,
Коль дождь сечет, коль в ночь автомобили
На нетопырьих мечутся крылах.
Нам нужен мир! Простора мало, мало!
И прямо к звездам, в посвист ветровой,

Из копоти, из сумерек каналов
Ты рыжею восходишь головой.
Былые годы тяжко проскрипели,
Как скарбом нагруженные возы,
Засыпал снег цевницы и свирели,
Но нет по ним в твоих глазах слезы.
Была цыганская любовь, и синий,
В сусальных звездах, детский небосклон.
Всё за спиной.
Теперь слепящий иней,
Мигающие выстрелы и стон,
Кронштадтских пушек дальние раскаты.
И ты проходишь в сумраке сыром,
Покачивая головой кудлатой
Над черным адвокатским сюртуком.
И над водой у мертвого канала,
Где кошки мрут и пляшут огоньки,
Тебе цыганка пела и гадала
По тонким линиям твоей руки.
И нагадала: будет город снежный,
Любовь сжигающая, как огонь,
Путь и печаль...
Но линией мятежной
Рассечена широкая ладонь.
Она сулит убийства и тревогу,
Пожар и кровь и гибельный конец.
Не потому ль на страшную дорогу
Октябрьской ночью ты идешь, певец?
Какие тени в подворотне темной
Вослед тебе глядят в ночную тьму?
С какою ненавистью неуемной
Они мешают шагу твоему.
О широта матросского простора!
Там чайки и рыбачьи паруса,
Там корифеем пушечным «Аврора»
Выводит трехлинеек голоса.
Еще дыханье! Выдох! Вспыхнет! Брызнет!
Ночной огонь над мороком морей...
И если смерть — она прекрасней жизни,
Прославленней, чем тысяча смертей.

1922, 1933

51

На Колчака! И по тайге бессонной,
На ощупь, спотыкаясь и кляня,
Бредем туда, где золотопогонный
Ночной дозор маячит у огня...
Ой, пуля, пой свинцовою синицей!
Клыком кабаньим навострися, штык!
Удар в удар! Кровавым пóтом лица
Закапаны, и онемел язык!
Смолой горючей закипает злоба,
Упрись о пень, штыком наддай вперед.
А сзади — со звездой широколобой
Уже на помощь конница идет.
Скипелась кровь в сраженьи непрестанном,
И сердце улеем поет в дупле;
Колчак развеян пылью и туманом
В таежных дебрях, по крутой земле.
И снова бой. От дымного потопа
Не уберечься, не уйти назад,
Горячим ветром тянет с Перекопа,
Гудит пожар, и пушки голосят.
О трудная и тягостная слава!
В лиманах едких, стоя босиком
В соленом зное, медленном, как лава,
Мы сторожим, склонившись над ружьем.
И, разогнав крутые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы яростное знамя пронесли.
И Перекоп перешагнув кровавый,
Прославив молот
                    и гремучий серп,
Мы грубой и торжественною славой
Свой пятипалый окружили герб.

1922

МОСКВА

Смола и дерево, кирпич и медь
Воздвиглись городом, а вкруг, по воле,
Объездчик-ветер подымает плеть
И хлещет закипающее рожью поле.
И крепкою ты встала попадьей,
Румяною и жаркою, пуховой,
Торгуя иорданскою водой,
Прохладным квасом и посконью новой.
Колокола, акафисты, посты,
Гугнивый плач ты помнила и знала.
Недаром же ключами Калиты
Ты ситцевый передник обвязала.
Купеческая, ражая Москва, —
Хмелела ты и на кулачки билась...
Тебе в потеху Стеньки голова,
Как яблоко скуластое, скатилась.
Посты и драки — это ль не судьба...
Ты от жары и пота разомлела,
Но грянул день — веселая труба
Над кирпичом и медью закипела...
Не Гришки ли Отрепьева пора,
Иль Стенькины ушкуйники запели,
Что с вечера до раннего утра
В дождливых звездах лебеди звенели;
Что на Кремле горластые сычи
В туман кричали, сизый и тяжелый,
Что медью перекликнулись в ночи
Колокола убогого Николы...
Расплата наступает за грехи
На Красной площади перед толпою:
Кружатся ветровые петухи,
И царь Додон закрыл глаза рукою...
Ярись, Москва... Кричи и брагу пей,
Безбожничай — так без конца и края.
И дрогнули колокола церквей,
Как страшная настала плясовая.
И — силой развеселою горда —
Ты в пляс пошла раскатом — лесом, лугом...
И хлопают в ладоши города,
Вокруг тебя рассевшись полукругом.

В такой ли час язык остынет мой,
Не полыхнет огнем, не запророчит,
Когда орлиный посвист за спиной
Меня поднять и кинуть в пляску хочет;
Когда нога отстукивает лад
И волосы вздувает ветер свежий;
Когда снует перед глазами плат
В твоей руке, протянутый в безбрежье.

1922

ТЕАТР

Театр. От детских впечатлений,
От блеска ламп и голосов
Китайские остались тени,
Идущие во тьму без слов.
Всё было радостно и ново:
И нарисованный простор,
Отелло черный, Лир суровый
И нежной Дездемоны взор.
Всё таяло и проходило,
Как сквозь волшебное стекло.
Исчезло то, что было мило,
Как дым растаяло, прошло.
Спустились тучи ниже, ниже,
И мрак развеялся кругом,
И стал иной театр нам ближе,
Не жестяной ударил гром:
И среди ночи злой и талой
Над Русью нищей и больной
Поднялся занавес иной —
И вот театр небывалый
Глазам открылся...
Никогда
В стране убогого труда
Такого действа не видали.
И старый, одряхлевший мир
Кричал, как ослепленный Лир,
Бредя в неведомые дали.
Широкий лег в раздольях путь,
Леса смолистые шумели,

И крепкая вдыхала грудь
Горючий дух травы и прели.
И были войны. Плыл туман
По шумным нивам и дубравам,
И, крепкой волей обуян,
Промчался на коне кровавом
Свободный всадник.
                                        И тогда
Иною жизнью города
Наполнились. Могучим током
Ходил взволнованный народ,
И солнце пламенем широким
Прозрачный заливало свод.
Октябрьский день, как день весенний,
Нам волю ясную принес.
И новый мир без сожалений
Над старым тяжкий меч занес.
Но что с театром! То же, то же,
Всё тот же нищенский убор,
И женщины из темной ложи
Всё тот же устремляют взор.
Оркестр бормочет оробелый,
А там, на сцене, средь огней
Всё тот же Лир или Отелло
Иль из Венеции еврей.
Или Кабаниха страдает,
Или хлопочет Хлестаков,
Иль три сестры, грустя, мечтают
В прохладной тишине садов.
Всё, как и прежде, лямку тянет.
Когда ж падет с театра ржа,
Актер освобожденный встанет,
И грянет действо мятежа.

1922

ЛЕНИНГРАД

Что это — выстрел или гром,
Резня, попойка иль работа,
Что под походным сапогом
Дрожат чухонские болота?

За клином клин,
К доске — доска.
Смола и вар. Крепите сваи,
Чтоб не вскарабкалась река,
Остервенелая и злая...
Зубастой щекочи пилой,
Доску строгай рубанком чище.
Удар и песня...
Над водой —
Гляди — восходит городище...
Кусает щеки мерзлый пух,
Но смотрят, как идет работа,
На лоб надвинутый треух
И плащ, зеленый, как болото...
Скуластый царь глядит вперед,
Сычом горбясь...
А под ногою
Болото финское цветет
Дремучим тифом и цингою...
Ну что ж, скрипит холопья кость,
Холопья плоть гниет и тлеет...
Но полыхает плащ — и трость
По спинам и по выям реет...
Стропила — к тучам,
Сваи — в гать,
Плотину настилайте прямо,
Чтоб мог уверенней стоять
Царь краснолицый и упрямый...
О город пота и цинги!
Сквозь грохот волн и крик оленей
Не слышатся ль тебе шаги,
Покашливанье страшной тени?..
Болотной ночью на углах
Маячат огоньков дозоры,
Дворцами встал промерзший прах,
И тиной зацвели соборы...
И тягостный булыжник лег
В сырую гать
И в мох постылый,
Чтобы не вышла из берлог
Погибшая холопья сила;
Чтоб из-под свай,

Из тьмы сырой
Холопья крепь не встала сразу,
Тот — со свороченной скулой,
Тот — без руки, а тот — без глаза.
И куча свалена камней
Оледенелою преградой...
Говядиною для червей,
Строители, лежать вам надо.
Но воля в мертвецах жила,
Сухое сердце в ребрах билось,
И кровь, что по земле текла,
В тайник подземный просочилась.
Вошла в глазницы черепов,
Их напоив живой водою,
Сухие кости позвонков
Стянула бечевой тугою,
И финская разверзлась гать,
И дрогнула земля от гула,
Когда мужичья встала рать
И прах болотный отряхнула...

1922

«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ»

И снова мрак. Лишь полотно
Сияет белыми лучами,
И жизнь, изжитая давно,
Дрожа, проходит пред глазами.

И снова свет. Встает, встает
Широкий зал, и стулья стынут.
Звонок. И тьмы водоворот
Лучом стремительным раздвинут.

И, как кузнечик, за стеной
Скрежещет лента, и, мелькая,
Дрожащих букв проходит стая
Туманной легкой чередой.

Леса, озера и туман,
И корабли, и паровозы;

Беззвучный плещет океан,
Беззвучные кружатся грозы.

И снова буквы. Вновь и вновь.
Тяжелый мрак по залу ходит,
Беззвучная течет любовь,
И смерть беззвучная приходит.

Мы были в бурях и огне,
Мы бились, пели и сгорали,
Но только здесь, на полотне,
Великий отдых от печали.

И сердце легкое летит
Из кресел к белому квадрату,
Где море тихое кипит
И берегов лежат раскаты;

Где за неловким чудаком,
Через столы, повозки, стены,
Погоня мчится неизменно
Под бешеной мазурки гром;

Где лица, бледные, как воск,
Без слов томятся и мечтают,
Цилиндры вычищены в лоск,
Ботинки пламенем сверкают.

Так стрекочи звончей, звончей,
Тугая лента, за стеною,
Стремительный поток лучей,
С туманною сражайся мглою.

И в белом ледяном огне,
Под стон убогого рояля,
Идите в ряд на полотне,
Мои восторги и печали!

1922

ОКТЯБРЬ

Неведомо о чем кричали ночью
Ушастые нахохленные совы;
Заржавленной листвы сухие клочья
В пустую темень ветер мчал суровый,
И волчья осень по сырым задворкам
Скулила жалобно, дрожмя дрожала;
Где круто вымешенным хлебом, горько
Гудя, труба печная полыхала,
И дни червивые, и ночи злые
Листвой кружились над землей убогой;
Там, где могилы стыли полевые,
Где нищий крест схилился над дорогой.
Шатался ливень, реял над избою,
Плевал на стекла, голосил устало,
И жизнь, картофельною шелухою
Гниющая, под лавкою лежала.
Вставай, вставай! Сидел ты сиднем много,
Иль кровь по жилам потекла водою,
Иль вековая тяготит берлога,
Или топор тебе не удержать рукою?
Уж предрассветные запели певни
На тынах, по сараям и оврагам,
Вставай! Родные обойди деревни
Тяжеловесным и широким шагом.
И встал Октябрь. Нагольную овчину
Накинул он и за кушак широкий
На камне выправленный нож задвинул,
И в путь пошел, дождливый и жестокий.
В дожди и ветры, в орудийном гуле,
Ты шел вперед веселый и корявый,
Вокруг тебя пчелой звенели пули,
Горели нивы, пажити, дубравы!
Ты шел вперед, колокола встречали
По городам тебя распевным хором,
Твой шаг заслышав, бешеные, ржали
Степные кони по пустым просторам.
Твой шаг заслышав, туже и упрямей
Ладонь винтовку верную сжимала,
Тебе навстречу дикими путями
Орда голодная, крича, вставала!

Вперед, вперед. Свершился час урочный,
Всё задрожало перед новым клиром,
Когда, поднявшись над страной полночной,
Октябрьский пламень загудел над миром.

1922

УКРАИНА

От ленью поливающего жара,
Растекшегося жидкою смолой,
Земля разбухла, как в печи опара,
И коркою потрескалась ржаной...
И мы ль не помним ветер и раздолье,
Чертополох и крылья ветряков,
Возы с таранью...
И в широком поле
Дырявые кафтаны чумаков.
Куда ведет степное бездорожье —
Не всё ль равно!
Но посреди реки
Гудит камыш,
Дымится Запорожье,
Курятся чубы, веют бунчуки.
Встает, встает веселая ватага,
Под сапогами клонится репье...
Что нужно вам, когда полна баклага,
И длинное заряжено ружье!
Какие горькие уронит слезы
Шляхтянка в жесткую степную пыль...
Уже казачьи проползли обозы,
Уж сохнет кровь
И стелется ковыль.
Уже ползет медлительною тучей
Степной пожар...
И высохла трава...
Уже в бурьян, высокий и колючий,
Чубатая скатилась голова...
Так отступает чрез поля ржаные,
К вишневому сиянию зари,
На тихий Днепр,

На хутора родные,
Где древние рыдают кобзари...
        И пролетели журавлиной стаей
        Века над Украиною...
        ...И вот,
Тугие струны в лад перебирая,
О новой вольнице кобзарь поет...
И жаворонков дробные свирели
Стекают в молодые города,
Где, как волы ворочаясь, ревели
Медлительные бронепоезда.
И тракторист, поющий за работой,
Припоминает, как во ржи густой
Перепелами били пулеметы,
Тянулся дым горячей полосой.
Весенние сияющие грозы,
Над влагой озими
Грачиный гам,
Мычат стадами
Грузные совхозы,
И агрономы ходят по лугам...
Гей, Ненасытец!
Где ты, Запорожье?
Блеск бунчуков...
Литавр тяжелый строй...
Знобимый электрическою дрожью,
Дорогу вод взрывает Днепрострой.
Коммуна мира!
Мы твои навеки!
Да здравствует веселая орда...
Мы дружно поворачиваем реки,
Мы грозно подымаем города!
      О Украина!
      Этого ли мало?..
      Стучит бензин...
      Шатается огонь...
      Ты с севера протянутую сжала
      Широкую и жесткую ладонь.

1922

«IV»

Кремлевская стена, не ты ль взошла
Зубчатою вершиною в туманы,
Где солнце, купола, колокола,
И птичьи пролетают караваны.
Еще недавно в каменных церквах
Дымился ладан, звякало кадило,
И на кирпичной звоннице монах
Раскачивал медлительное било.
И раскачавшись, размахнувшись, в медь
Толкалось било. И густой, и сонный,
Звон пробужденный начинал гудеть
И вздрагивать струною напряженной.
Развеян ладан, и истлел монах.
Репьем былая разлетелась сила;
В дырявой блузе, в драных сапогах
Иной звонарь раскачивает било.
И звонница расплескивает звон
Чрез города, овраги и озера
В пустую степь, в снега и волчий гон,
Где конь калмыцкий вымерил просторы.
И звонница взывает и поет.
И звон течет густым и тяжким ладом
За океан, где мачтовый встает
Лес ржавых труб и день овеян чадом.
Клокочет голос меди трудовой
В осенний полдень, сумрачный и мглистый,
Над Азией, песчаной и сухой,
Над Африкой, горячей и кремнистой.
И погляди: на дальний звон идут
Из городов, из травяных раздолий
Те, чей удел — крутой, жестокий труд,
Чей тяжек шаг и чьи крепки мозоли.
Там, где кирпичная гудит Москва,
Они сойдутся. А на их дороге
Скрежещут рельсы, стелется трава,
Трещат костры и дым клубится строгий.
Суданский негр, ирландский рудокоп,
Фламандский ткач, носильщик из Шанхая —
Ваш заскорузлый и широкий лоб
Венчает потом слава трудовая.

Какое слово громом залетит
В пустынный лог, где, матерой и хмурый,
Отживший мир мигает и сопит
И копит жир под всклоченною шкурой.
Разноплеменные. Всё та же кровь
Рабочая течет по вашим жилам.
Распаханную засевайте новь
Посевом бурь, посевом легкокрылым.
Заботой дивной ваши дни полны,
И сладкое да не иссякнет пенье,
Пока не вырастет из целины
Святой огонь труда и вдохновенья!..

1922

БОЛЬШЕВИКИ

(Отрывки из поэмы)

1

ОТЪЕЗД

Да совершится!
По ложбинам в ржавой
Сырой траве еще не сгнили трупы
В штиблетах и рогатых шапках. Ветер
Горячим прахом не занес еще
Броневики, зарывшиеся в землю,
Дождь не размыл широкой колеи,
Где греческие проползали танки.
Да совершится!
Кровью иль баканом
Дощатые окрашены теплушки,
Скрежещут двери, и навозный чад
Из сырости вагонной выплывает:
Там лошади просовывают морды
За жесткие перегородки, там
Они тугими топчутся ногами
В заржавленной соломе и, подняв
Хвосты крутые над широким крупом,
Горячие вываливают комья.
И неумелою зашит рукой

В жестокую холстину, острым краем
Топорщась, в темноту и тишину
Задвинут пулемет. А дальше, медным
И звонким животом прогрохотав,
На низкую нагружена платформу
Продымленная кухня. И поет
Откуда-то, не разберешь откуда,
Из будки ли, где стрелочник храпит,
Иль из теплушки, где махорка бродит,
Скрипучая гармоника. Уже
Размашистым написанные мелом
На крови иль бакане письмена
Об Елисаветграде возвещают,
Уже по жирным рельсам просопел,
Весь в нетопырьей саже и угаре,
Широкозадый паровоз. И вдруг
Толчок и свист. Назад, с размаху, в стены
Дощатые толкаются, гремя,
Закутанные пулеметы. Кони
Шатаются и, растопырив ноги
И шеи вытянув, храпят и ржут.
И далеко, за косогором, свист,
Скрипение колес и дребезжанье
Невидимых цепей. И по краям,
Мигая и подпрыгивая, мчатся
Столбы, деревья, избы и овины.
Кружатся степи, зеленью горячей
И черными квадратами сверкая.
И снова свист. Зеленый флаг дорогу
Свободную нам указует. Ветер
Клубящийся относит дым. И вот
Бормочущей кирпичною змеей
На повороте изогнулся поезд.
Лети скорее! Пусть гремят мосты,
Пускай коровы, спящие в дорожной
Траве, испуганно приподнимают
Внимательные головы, пускай
Кружатся степи и трясутся шпалы.
Не всё ль равно. Наш путь широк и буен.
И кажется, что впереди, вдали,
Привязанное натуго к вагонам,
Скрежещет наше сердце и летит

По скользким рельсам, грохоча и воя,
Чугунное и звонкое, насквозь
Проеденное копотью и дымом.
Сопит насосами, и сыплет искры,
И дымом истекает небывалым.
И мы, в теплушках, сбившиеся в кучу,
Мы чувствуем, как лихорадка бьет
И как чудовищный озноб колотит
Набухшее огнем и дымом сердце.
Вперед. Крути, Гаврила. И Гаврила
Накручивает. И уже не поезд,
А яростный летит благовеститель
Архангел Гавриил. И голосит
Изъеденная копотью и ржою
Его труба. И дымные воскрылья
Над запотевшей плещутся спиной!

2

ГОРОД

Открой окно и выгляни.
...Под ветром
Костлявые акации мотают
Ветвями, и по лужам осторожно
Подпрыгивает дождевая рябь...
И ты припоминаешь дождь и ветер,
И улицы в акациях и лужах,
И горький запах, что идет от моря,
И голоса, и грохот колеса...

В те дни настороженные предместья
Винтовки зарывали по подвалам,
Шептались, перемигивались, ждали,
Как стая лаек, броситься готовых
В медвежий лог, чтобы рычать и грызть.
А город жил необычайной жизнью...
Огромными нарывами вспухали
Над кабаками фонари — и гулко
Нерусский говор смешивался с бранью
Извозчиков и забулдыг ночных.
Пехота иностранцев проходила
По мостовым. И голубые куртки

Морскою отливали синевой,
А фески, вспыхивая, расцветали
Не розами, а кровью. Дни за днями
По улицам на мулах, на тачанках
Свозили пулеметы, хлеб и сахар...

. . . .

Предместья ожидали.
                                        На заводах
Листовки перечитывались...
                                                  Слово
О людях, двигающихся, как буря,
Входило в уши и росло в сердцах...
Но город жил в горячем перегаре
Пивных, распахнутых наотмашь, в чаде
Английских трубок, в топоте тяжелых
Морских сапог, в румянах и прическах
Беспутных женщин, в шорохе газетных
Листов и звяканьи стаканов, полных
Вином, пропахнувшим тоской и морем.

. . . .

А в это время с севера вставала
Орда, в папахах, в башлыках, в тулупах.
Она топтала снежные дороги,
Укатанные ветром и морозом.
Она дышала потом и овчиной,
Она отогревалась у случайных
Костров и песнями разогревала
Морозный воздух, гулкий, как железо.
Здесь были все:
                                  Румяные эстонцы,
Привыкшие к полету лыж и снегу,
И туляки, чьи бороды примерзли
К дубленым кожухам, и украинцы
Кудлатые и смуглые, и финны
С глазами скользкими, как чешуя.
На юг, на юг!..
                                  Из деревень, забытых
В колючей хвое, из рыбачьих хижин,
Из городов, где пропитался чадом
Густой кирпич, из юрт, покрытых шерстью, —
Они пошли, ладонями сжимая

Свою пятизарядную надежду,
На юг, на юг, — в горячий рокот моря,
В дрожь тополей, в раскинутые степи.
А город ждал...

1922—1923

СКАЗАНИЕ О МОРЕ, МАТРОСАХ И ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ

Знаешь ли ты сказание о Валгалле? Ходят по морю викинги, скрекинги ходят по морю. Ветер надувает парус, и парус несет ладью. И неизвестные берега раскидываются перед воинами. И битвы, и смерть, и вечная жизнь в Валгалле. Сходят валкирии — в облаке дыма, в пении крыльев за плечами — и руками, нежными, как ветер, подымают души убитых. И летят души на небо и садятся за стол, где яства и мед. И Один приветствует их. И есть ворон на троне у Одина, и есть волк, растянувшийся под столом. Внизу скалы, тина и лодки, наверху — Один, воины и ворон. И если приходит в бухту судно, встает Один, и воины приветствуют мореходов, подымая чаши. И валкирии трубят в рога, прославляя храбрость мореходов. И пируют внизу моряки, а наверху души героев. И говорят: «Вечны Валгалла, Один и ворон. Вечны море, скалы и птицы».

Знайте об этом, сидящие у огня, бродящие под парусами и стреляющие оленей!

(Из сказаний Свена-Песнетворца)

Замедлено движение земли
Развернутыми нотными листами.
О флейты, закипевшие вдали,
О нежный ветр, гудящий под смычками...
Прислушайся: в тревоге хоровой
Уже труба подъемлет глас державный,
То вагнеровский двинулся прибой,
И восклицающий, и своенравный...

1

ПЕСНЯ О МОРЕ И НЕБЕ

К этим берегам, поросшим шерстью,
Скользкими ракушками и тиной,
Дивно скрученные ходят волны,
Растекаясь мылом, закипевшим
На песке. А над песками скалы,
Растопыренные и крутые. —
Та, посмотришь, вытянула лапу
К самой тине, та присела крабом,
Та плавник воздела каменистый
К мокрым тучам. И помет бакланий
Известью и солью их осыпал. . .
А над скалами, над птичьим пухом
Северное небо, и как будто
В небе ничего не изменилось:
Тот же ворон на дубовом троне
Чистит клюв, и тот же волк поджарый
Растянулся под столом, где чаши
Рыжим пивом налиты и грузно
В медные начищенные блюда
Вывалены туши вепрей. Вечен
Дикий пир. Надвинутые туго
Жаркой медью полыхают шлемы,
Груди волосатые расперты
Легкими, в которых бродит воздух.
И как медные и злые крабы,
Медленно ворочаясь и тяжко
Громыхая ржавыми щитами,
Вкруг стола, сколоченного грубо
Из досок сосновых, у кувшина
Крутогорлого они расселись —
Доблестные воины. И ночью
Слышатся их голоса и ругань,
Слышно, как от кулака крутого
Стонет стол и дребезжит посуда.
Поглядишь: и в облаках мигают
Суетливые зарницы, будто
Отблески от вычищенных шлемов,
Жарких броней и мечей широких. . .

2

ПЕСНЯ О МАТРОСАХ

А у берега рыбачьи лодки,
Весла и плетеные корзины
В чешуе налипшей. И под ветром
Сети, вывешенные на сваях,
Плещут и колышутся... Бывает,
Закипит вода под рыбьим плеском.
И оттуда, из морозной дали,
Двинется треска, взовьются чайки
Над водой, запрыгают дельфины,
Лакированной спиной сверкая,
Затрещат напруженные сети,
Женщины заголосят... И в стужу,
Полоща полотнищем широким,
Медленные выплывают лодки...
День идет серебряной трескою,
Ночь дельфином черным проплывает...
Те же голоса на прибережье,
Те же неводы, и та же тина.
Валуны, валы и шорох крыльев...
Но однажды, наклонившись набок,
Разрезая волны и стеная,
В бухту судно дивное влетело.
Ветер вел его, наполнив парус
Крепостью упрямою, как груди
Женщины, что молоком набухли...
Ворот заскрипел, запели цепи
Над заржавленными якорями,
И по сходням с корабля на берег
Выбежали страшные матросы...
Тот — как уголь, а глаза пылают
Белизной стеклянною, тот глиной
Будто вымазан и весь в косматой
Бороде, а тот окрашен охрой,
И глаза, расставленные косо,
Скользкими жуками копошатся...

И матросы не зевали: ночью,
В расплескавшемся вдали пыланье
Пламени полярного, у двери

Рыбака, стрелка иль китолова
Беспокойные шаги звучали,
Голоса, и пение, и шепот...
И жена протягивала руки
К мерзлому оконцу, осторожно,
Жаркие подушки покидая,
Шла к дверям... И вот в ночи несется
Щелканье ключа и дребезжанье
Растворяющейся двери... Ветер —
Соглядатай и веселый сторож
Всех влюбленных и беспутных — снегом
У дверей следы их заметает...
А в трактирах затевались драки,
Из широких голенищ взлетали
Синеглазые ножи, и пули
Застревали в потолочных балках...
Пой, матросская хмельная сила,
Голоси, целуйся и ругайся!
Что покинуто вдали... Размерный
Волн размах, качанье на канатах
И спокойный голос капитана.
Что развертывается вдали... Буруны,
Сединой гремящие певучей,
Доски, стонущие под ногами,
Жесткий дождь, жестокий ломоть хлеба
И спокойный голос капитана...

3

ПЕСНЯ О КАПИТАНЕ

Кто мудрее стариков окрестных,
Кто видал и кто трудился больше?...
Их сжигало солнце Гибралтара,
Им афинские гремели волны.
Горький ветр кремнистого Ассама
Волосы им ворошил случайно...
И, спокойной важностью сияя,
Вечером они сошлись в трактире,
Чтоб о судне толковать чудесном!
Там расселись старики, поставив

Ноги врозь и в жесткие ладони
Положив крутые подбородки...
И когда старейшиною было
Слово сказано о судне дивном, —
Заскрипела дверь, и грузный грянул
В доски шаг, и налетел веселый
Ветер с моря, снег и гул прибоя...
И осыпан снегом и овеян
Зимним ветром, встал пред стариками
Капитан таинственного судна.
Рыжекудрый и огромный, в драном
Он предстал плаще, широколобой
И кудлатой головой вращая,
Рыжий пух, как ржавчина, пробился
На щеках опухших, и под шляпой
Чешуей глаза окоченели...

4

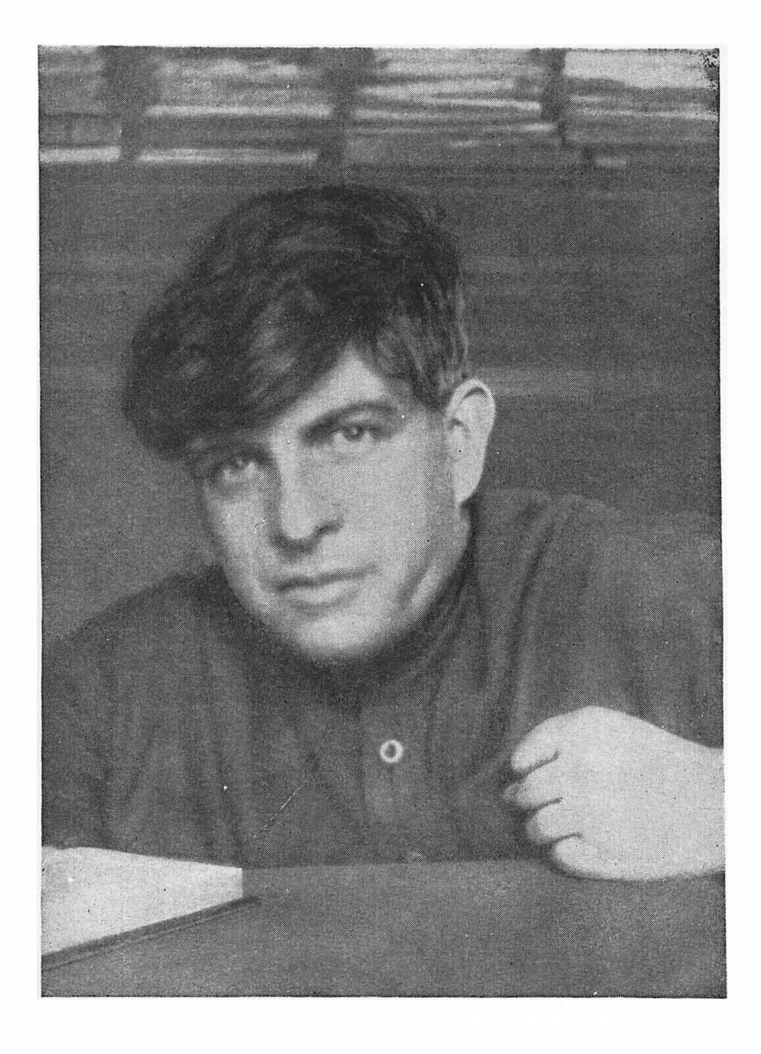
ПЕСНЯ О РОЗЕ И СУДНЕ

Что сказали старцы капитану,
И о мудром капитанском слове.
— Уходи! Распахнутые воют
Пред тобой чужие океаны,
Южный ветер, иль заиндевелый
Пламень звезд, иль буйство рулевого
Паруса твои примчало в бухту...
— Уходи! Гудит и ходит дикий
Мыльный вал, на скалы налетая!
Горный ветр вольется в круглый парус.
Зыбь прибрежная в корму ударит,
И распахнутый — перед тобою —
Пламенный зияет океан! —
Мореходная покойна мудрость,
Капитан откинул плащ и руку
Протянул. И вот на мокрых досках
Роза жаркая затрепыхалась...
И, пуховою всклубившись тучей,
Запах поднялся, как бы от круглой
Розовой жаровни, на которой

Крохи ладана чадят и тлеют.
И в чаду и в запахе плавучем
Увидали старцы: закипает
В утлой комнате чужое море,
Где крутыми стружками клубится
Пена. И медлительно и важно
Вверх плывут ленивые созвездья
Над соленой тишиной морскою
Чередой располагаясь дивной.
И в чаду и в запахе плавучем
Развернулся город незнакомый,
Пестрый и широкий, будто птица
К берегу песчаному прильнула,
Распустила хвост и разбросала
Крылья разноцветные, а шею
Протянула к влаге, чтоб напиться.
Проплывали облака, вставали
Волны, и, дугою раскатившись,
Подымались и тонули звезды...
И сквозь этот запах и сквозь пенье
Всё грубей и крепче выступали
Утлое окно, сырые бревна
Низких стен и грубая посуда...
И когда растаял над столами
Стаей ласковою и плавучей
Легкий запах, влажная лежала
В черствых крошках и пролитом пиве
Брошенная роза, рассыпая
Лепестки, а на полу огромный
Был оттиснут шаг, потекший снегом.
А в окне виднелся каменистый
Берег, и, поскрипывая в пене
Грузною дощатой колыбелью,
Вздрагивало и моталось судно.
Видно было, как взлетели сходни,
Как у ворота столпились люди,
Как, толкаемые, закружились
Спицы ворота, как из кипящей
Пены медленная выползала
Цепь, наматываясь на точеный
И вращающийся столб, а после
По борту, разъеденному солью,

Вверх пополз широколапый якорь.
И чудесным опереньем вспыхнув,
Развернулись паруса. И ветер
Их напряг, их выпятил, и, круглым
Выпяченным полотном сверкая,
Судно дрогнуло и загудело...
И откинулись косые мачты,
И поет пенька, и доски стонут,
Цепи лязгают, и свищет пена...
Вверх взлетай, свергайся вниз с разбегу,
Снова к тучам, грохоча и воя,
Прыгай, судно!.. Видишь — над тобою
Тучи разверзаются, и в небе —
Топот, визг, сияние и грохот...
Воют воины... На жарких шлемах
Крылья раскрываются и хлещут,
Звякают щиты, в ножнах широких
Движутся мечи, и вверх воздеты
Пламенные копья... Слышишь, слышишь,
Древний ворон каркает и волчий
Вой несется!.. Из какого жбана
Ты черпал клубящееся пиво,
Сумасшедший виночерпий? Жаркой
Горечью оно пошло по жилам,
Разгулялось в сердце, в кровь проникло
Дрожжевою силой, вылетая
Перегаром и хрипящей песней...
И летит, и прыгает, и воет
Судно, и полощется на мачте
Тряпка черная, где человечий
Белый череп над двумя костями...
Ветр в полотнище, и волны в кузов,
Вымпел в тучу. Поворот. Навстречу
Высятся полярные ворота,
И над волнами жаровней круглой
Солнце выдвигается, и воды
Атлантической пылают солью...

1922



ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

МОНОЛОГ

Отец мой умер на костре, а мать
Сошла с ума от пытки. И с тех пор
Родимый Дамме я в слезах покинул.
Священный пепел я собрал с костра,
Зашил в ладонку и на грудь повесил, —
Пусть он стучится в грудь мою и стуком
К отмщению и гибели зовет!
Широк мой путь: от Дамме до Остенде,
К Антверпену от Брюсселя и Льежа.
Я с толстым Ламме на ослах плетусь.
Я всем знаком: бродяге-птицелову,
Несущему на рынок свой улов;
Трактирщица с улыбкой мне выносит
Кипящее и золотое пиво
С горячею и нежной ветчиной;
На ярмарках я распеваю песни
О Фландрии и о Брабанте старом,
И добрые фламандцы чуют в сердце,
Давно заплывшем жиром и привыкшем
Мечтать о пиве и душистом супе,
Дух вольности и гордости родной.
Я — Уленшпигель. Нет такой деревни,
Где б не был я; нет города такого,
Чьи площади не слышали б меня.
И пепел Клааса стучится в сердце,
И в меру стуку этому протяжно
Я распеваю песни. И фламандец
В них слышит ход медлительных каналов,
Где тишина, и лебеди, и баржи,
И очага веселый огонек
Трещит пред ним, и он припоминает
Часы довольства, тишины и неги,
Когда, устав от трудового дня,
Вдыхая запах пива и жаркого,
Он погружается в покой ленивый.
И я пою: Эй, мясники, довольно
Колоть быков и поросят. Иная
Вас ждет добыча. Пусть ваш нож вонзится
В иных животных. Пусть иная кровь

Окрасит ваши стойки. Заколите
Монахов и развесьте вверх ногами
Над лавками, как колотых свиней.
И я пою: Эй, кузнецы, довольно
Ковать коней и починять кастрюли,
Мечи и наконечники для копий
Пригодны нам поболее подков;
Залейте глотку плавленым свинцом
Монахам, краснощеким и пузатым,
Он более придется им по вкусу,
Чем херес и бургундское вино.
Эй, корабельщики, довольно барок
Построено для перевозки пива.
Вы из досок еловых и сосновых
Со скрепами из чугуна и стали
Корабль освобождения постройте.
Фламандки вам соткут для парусов
Из самых тонких ниток полотно,
И, словно бык, готовящийся к бою
Со стаей разъярившихся волков,
Он выйдет в море, пушки по бортам
Направив на бунтующийся берег.
И пепел Клааса стучится в сердце,
И сердце разрывается, и песня
Гремит грозней. Уж не хватает духа,
Клубок горячий к языку подходит, —
И не пою я, а кричу, как ястреб:
Солдаты Фландрии, давно ли вы
Коней своих забыли, оседлавши
Взамен их скамьи в кабаках? Довольно
Кинжалами раскалывать орехи
И шпорами почесывать затылки,
Дыша вином у непотребных девок.
Стучат мечи, пылают города.
Готовьтесь к бою. Грянул страшный час.
И кто на посвист жаворонка вам
Ответит криком петуха, тот — с нами.
Герцог Альба! Боец
Твой близкий конец пророчит;
Созрела жатва, и жнец
Свой серп о подошву точит.
Слезы сирот и вдов,

Что из мертвых очей струятся,
На чашку страшных весов
Тяжким свинцом ложатся.
Меч — это наш оплот,
Дух на него уповает.
Жаворонок поет,
И петух ему отвечает.

1922

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

МОНОЛОГ

Я слишком слаб, чтоб латы боевые
Иль медный шлем надеть! Но я пройду
По всей стране свободным менестрелем,
Я у дверей харчевни запою
О Фландрии и о Брабанте милом.
Я мышью остроглазою пролезу
В испанский лагерь, ветерком провею
Там, где и мыши хитрой не пролезть.
Веселые я выдумаю песни
В насмешку над испанцами, и каждый
Фламандец будет знать их наизусть.
Свинью я на заборе нарисую
И пса ободранного, а внизу
Я напишу: «Вот наш король и Альба».
Я проберусь шутом к фламандским графам,
И в час, когда приходит пир к концу,
И погасают уголья в камине,
И кубки опрокинуты, — я тихо,
Перебирая струны, запою:
«Вы, чьим мечом прославлен Гравелин,
Вы, добрые владетели поместий,
Где зреет розовый ячмень, — зачем
Вы покорились мерзкому испанцу?
Настало время — и труба пропела,
От сытной жизни разжирели кони,
И дедовские боевые седла
Покрылись паутиной вековой.
И ваш садовник на шесте скрипучем
Взамен скворешни выставил шелом,

И в нем теперь скворцы птенцов выводят.
Прославленным мечом на кухне рубят
Дрова и колья, и копьем походным
Подперли стену у свиного хлева!
Так я пройду по Фландрии родной
С убогой лютней, с кистью живописца
И в остроухом колпаке шута.
Когда ж увижу я, что семена
Взросли, и колос влагою наполнен,
И жатва близко, и над тучной нивой
Дни равноденственные протекли,
Я лютню разобью об острый камень,
Я о колено кисть переломаю,
Я отшвырну свой шутовской колпак
И впереди несущих гибель толп
Вождем я встану. И пойдут фламандцы
За Тилем Уленшпигелем — вперед.
И вот с костра я собираю пепел
Отца, и этот прах непримиренный
Я в ладонку зашью и на шнурке
Себе на грудь повешу! И когда
Хотя б на миг я позабуду долг
И увлекусь любовью или пьянством
Или усталость овладеет мной, —
Пусть пепел Клааса ударит в сердце.
И силой новою я преисполнюсь,
И новым пламенем воспламенюсь,
Живое сердце застучит грозней
В ответ удару мертвенного пепла.

1922

МОРЯКИ

Только ветер да звонкая пена,
Только чаек тревожный полет,
Только кровь, что наполнила вены,
Закипающим гулом поет.
На галерах огромных и смрадных,
В потном зное и мраке сыром,
Под шипенье бичей беспощадных
Мы склонялись над грузным веслом.

Мы трудились, рыдая и воя,
Умирая в соленой пыли,
И не мы ли к божественной Трое
Расписные триремы вели?
Соль нам ела глаза неизменно,
В круглом парусе ветер гудел,
Мы у гаваней Карфагена
Погибали от вражеских стрел.
И с Колумбом в просторы чужие
Уходили мы, силой полны,
Чтобы с мачты увидеть впервые
Берега неизвестной страны.
Мы трудились средь сажи и дыма
В черных топках, с лопатой в руках,
Наши трупы лежат под Цусимой
И в прохладных балтийских волнах.
Мы помним тревогу и крики,
Пенье пули — товарищ убит;
На «Потемкине» дружный и дикий
Бунт горячей смолою кипит.
Под матросскою волею властной
Пал на палубу сумрачный враг,
И развертывается ярко-красный
Над зияющей бездною флаг.
Вот заветы, что мы изучили,
Что нас учат и мощь придают:
Не покорствуя вражеской силе,
Помни море, свободу и труд.
Сбросив цепи тяжелого груза
(О, Империи тягостный груз),
Мы, как братья, сошлись для союза,
И упорен и крепок союз.
Но в суровой и трудной работе
Мы мечтали всегда об одном —
О рабочем сияющем флоте,
Разносящем свободу и гром.
Моряки, вы руками своими
Создаете надежный оплот,
Подымается в громе и дыме
Революции пламенный флот.
И летят по морскому раздолью,
По волнам броневые суда,

Порожденные крепкою волей
И упорною силой труда.
Так в союзе трудясь неустанно,
Мы от граней советской земли
Поведем в неизвестные страны
К восстающей заре корабли.
Посмотрите: в просторах широких
Синевой полыхают моря
И сияют на мачтах высоких
Золотые огни Октября.

1923

ПУШКИН

Когда в крылатке, смуглый и кудлатый,
Он легкой тенью двигался вдали,
Булыжник лег и плотью ноздреватой
Встал известняк в прославленной пыли.
Чудесный поселенец! Мы доселе
Твоих стихов запомнили раскат,
Хоть издавна михайловские ели
О гибели бессмысленной гудят.
Столетия, как птицы, промелькнули.
Но в поэтических живет сердцах
Шипение разгоряченной пули,
Запутавшейся в жилах и костях.
Мы по бульварам бродим опустелым,
Мы различаем паруса фелюг,
И бронзовым нас охраняет телом
Широколобый и печальный Дюк.
Мы помним дни: над синевой морскою
От Севастополя наплыл туман,
С фрегатов медью брызгали шальною
Гогочущие пушки англичан.
Как тяжкий бык, копытом бьющий травы,
Крутоголовый, полный страшных сил,
Здесь пятый год, великий и кровавый,
Чудовищную ношу протащил.
Здесь, на Пересыпи, кирпичной силой
Заводы встали, уголь загудел,

Кровь запеклась, и капал пот постылый
С окаменелых и упрямых тел.
Всему конец! От севера чужого,
От Петербурга, от московских стен
Идут полки, разбившие суровый
И опостылевший веками плен.
Они в снегах свои костры разводят,
Они на легких движутся конях,
В ночной глуши они тревожно бродят
Среди сугробов, в рощах и лесах.
О, как тревожен их напор бессонный...
За ними реки, степи, города;
Их мчат на юг товарные вагоны,
Где мелом нарисована звезда.
Свершается победа трудовая...
Взгляните: от песчаных берегов
К ним тень идет, крылаткой колыхая,
Приветствовать приход большевиков.
Она идет с подъятой головою
Туда, где свист шрапнелей и гранат,
Одна рука на сердце, а другою
Она стихов отмеривает лад.

1923

ОДЕССА

Клыкастый месяц вылез на востоке,
Над соснами и костяками скал...
Здесь он стоял...
Здесь рвался плащ широкий,
Здесь Байрона он нараспев читал...
Здесь в дымном
Голубином оперенье
И ночь и море
Стлались перед ним...
Как летний дождь,
Приходит вдохновенье,
Пройдет над морем
И уйдет, как дым...
Как летний дождь,

Приходит вдохновенье,
Осыплет сердце
И в глазах сверкнет...
Волна и ночь в торжественном движенье
Слагают ямб...
И этот ямб поет...
И с той поры,
Кто бродит берегами
Средь низких лодок
И пустых песков, —
Тот слышит кровью, сердцем и глазами
Раскат и россыпь пушкинских стихов.
И в каждую скалу
Проникло слово,
И плещет слово
Меж плотин и дамб,
Волна отхлынет
И нахлынет снова, —
И в этом беге закипает ямб...
И мне, мечтателю,
Доныне любы:
Тяжелых волн рифмованный поход,
И негритянские сухие губы,
И скулы, выдвинутые вперед...
Тебя среди воинственного гула
Я проносил
В тревоге и боях.
«Твоя, твоя!» — мне пела Мариула
Перед костром
В покинутых шатрах...
Я снова жду:
Заговорит трубою
Моя страна,
Лежащая в степях;
И часовой, одетый в голубое,
Укроется в днестровских камышах...
Становища раскинуты заране,
В дубовых рощах
Голоса ясней,
Отверженные,
Нищие,
Цыгане —

Мы подымаем на поход коней...
О, этот зной!
Как изнывает тело, —
Над Бессарабией звенит жара...
Поэт походного политотдела,
Ты с нами отдыхаешь у костра...
Довольно бреда...
Только волны тают,
Москва шумит,
Походов нет как нет...
Но я благоговейно подымаю
Уроненный тобою пистолет...

1923, 1929

КРАСНАЯ АРМИЯ

Окончен путь тревожный и упорный,
Штыки сияют, и полощет флаг,
Гудит земля своей утробой черной,
Тяжеловесный отражая шаг.
Верховного припомним адмирала.
Он шел, как голод, мор или потоп.
Где властелин? Его подстерегала
Лишь пуля, всаженная в лысый лоб.
Еще летят сквозь ночь и воздух сонный
Через овраги, через мертвый шлях
Те воины, которых вел Буденный, —
В крылатых бурках, с шашками в руках.
Жары страшиться нам или сугроба?
Бойцы в седле.
Тревога. И ведет
Нас коренастый и упрямый Жлоба
Кудлатой тенью на врага вперед.
Кубанка сбита набекрень, и дрожью
Порхает легкий ветер по глазам.
Куда идти? Какое бездорожье
Раскинулось по весям и лесам!
И помнится: взлетая, упадали
Снаряды в шпалы, на гудящий путь,
Поляки голубые наступали —
Штык со штыком и с крепкой грудью грудь.

Они под Фастовом, во тьме суровой,
Винтовки заряжали. А вдали,
За полотном, сквозь мрак и гай сосновый
Уже буденновцы летят в пыли.
Идет пехота тяжким гулом грома,
Солдатский шаг гремит в чужих полях,
На таратайках едут военкомы,
И командиры мчатся на конях.
И трубный возглас двигает сраженье —
И знамена, и пушки, и полки.
Прицел. Еще. И воющею тенью
Летит снаряд, и звякают штыки.
И помнится: расплавленною лавой
В безудержной атаке штыковой
Мы лагерь наш разбили под Варшавой,
Мы встали на границе роковой.
Не справиться с красноармейской славой,
Она — как ветер, веющий в степях.
За Каспием сверкает флаг кровавый —
На желтых энзелийских берегах.
Окончен путь тревожный и упорный,
Штыки сияют, и полощет флаг,
Гудит земля своей утробой черной,
Тяжеловесный отражая шаг.

1923

ФЕВРАЛЬ

Темною волей судьбины
(Взгляд ее мрачен и слеп)
Остановились машины,
Высохшим сделался хлеб...
Дымные на горизонте
Мечутся облака.
Расположились на фронте
Серою лавой войска.
Флаг полыхает трехцветный,
Флаг полыхает вдали...
Стелется мрак предрассветный,
Солнце укрыто в пыли,

Воют снаряды, и глухо
Гул их летит в города...
Близится голодуха,
Движется с фронта беда.
Пламенем невеселым
Пестрый полощется флаг,
Ночью кочует по селам
В старой кибитке сыпняк.
Рожью гнилою и ржавой
Вдаль раскатились поля.
Так императорской славой
Вкрай наполнялась земля!
Гаснут февральские пурги,
Ветер кружит и ревет;
В каменном Петербурге
Грозно предместье встает.
Мечется ветер неловкий,
Воет и рыщет, как волк,
Вниз опускает винтовки
Братский Волынский полк.
Выше, и выше, и выше
Красное знамя плывет:
Городовые на крышу
Выкатили пулемет.
Мечется как угорелый
Царский поезд вдали, —
Красный, синий и белый
Флаг растоптан в пыли!
Пули рокочут, как осы,
Пушек тревожен вой,
Мерно выходят матросы
На берег грузной толпой.
Там позади роковое
Море ревет и гудит,
Тяжкое и броневое
Судно дрожмя дрожит.
Тяжкое и броневое
Воет, как бешеный пес;
И для последнего боя
Сходит с оружьем матрос.
В бой он идет спозаранку,
В бой он идет налегке,

Выстирана голландка,
Верный винчестер в руке.
А за матросом солдаты,
А за солдатом батрак, —
«Смерть иль свобода!» Крылатый
Красный полощется флаг.

Новые дали открылись,
Новые дали — заре.
Так в феврале мы трудились,
Чтоб победить в Октябре!

1923

КОММУНАРЫ

О барабанщики предместий,
Стучите детскою рукой
По коже гулкой.
Голос мести
Вы носите перед толпой.
Воспоминания не надо
О прошлом, дальнем и чужом,
Когда мигают баррикады
Перелетающим огнем.
Когда в пылании пожара,
Когда в залитый дымом час
У сумрачного коммунара
Для выстрела прищурен глаз.
И в переулках заповедных,
Где ветер пел с флюгаркой в лад,
Воздвигнут баррикад победных
Теперь неумолимый ряд.
Ложатся пули ближе, ближе —
И вот (благословенный день!)
Летит по мертвому Парижу
Кровавая Марата тень.
Она летит в бряцаньи стали,
В гудении военных гроз,
Обвязана широкой шалью
Сухая прядь его волос...

Над баррикадами взлетает
Огонь ружейный. Но Марат
Летит. И ветер развевает
Его истрепанный халат.
Запомните! Из гулкой теми
Он вышел в бешеный простор,
Чтоб новое увидеть племя,
Чтоб новый слышать разговор.
О барабанщики предместий,
Пусть будет яростней раскат.
Научит вас науке мести
Из гроба вышедший Марат.
Пусть вражеские пушки лают,
Шальной выбрасывая груз,
Над вами руки простирают
Бланки, Домбровский, Делеклюз!
Тот сохранит любовь и веру
В себя и трудовой народ,
В чьем сердце голос Робеспьера
Чрез восемьдесят лет живет.
Вы падаете, коммунары,
С ружьем в повиснувшей руке,
Но пламень вашего пожара
Уже восходит вдалеке.
Чрез горы и поля пустые
Рекой потек он. И зажег
В таинственных снегах России
И каждый куст, и каждый лог.
О барабанщики предместий,
Когда же среди гулких плит
Ваш голос ярости и мести
Вновь над Парижем прогремит?
Когда ж опять предместье встанет
И заклокочет в ночь набат,
Когда ж огонь ружейный грянет
С воспламененных баррикад?
Когда ж суровей и бесстрашней
Вы первый сделаете шаг,
Когда ж над Эйфелевой башней
Пылающий взовьется флаг?

1923

БАЛЛАДА О ВИТТИНГТОНЕ

Он мертвым пал. Моей рукой
Водила дикая отвага.
Ты не заштопаешь иглой
Прореху, сделанную шпагой.
Я заплатил свой долг, любовь,
Не возмущаясь, не ревнуя,
Недаром помню: кровь за кровь
И поцелуй за поцелуи.
О ночь, в дожде и в фонарях,
Ты дуешь в уши ветром страха.
Сначала судьи в париках,
А там палач, топор и плаха.
Я трудный затвердил урок
В тумане ночи непробудной,
На юг, на запад, на восток
Мотай меня по волнам, судно.
И дальний берег за кормой,
Омытый морем, тает, тает,
Там шпага, брошенная мной,
В дорожных травах истлевает.
А с берега несется звон,
И песня дальная понятна:
«Вернись обратно, Виттингтон,
О Виттингтон, вернись обратно!»

Был ветер в сумерках жесток.
А на заре сырой и алой
По днищу заскрипел песок,
И судно, вздрогнув, затрещало.
Вступила в первый раз нога
На незнакомые от века
Чудовищные берега,
Не видевшие человека.
Мы сваи подымали в ряд,
Дверные прорубали ниши,
Из листьев пальмовых накат
Накладывали вместо крыши.
Мы балки подымали ввысь,
Лопатами срывали скалы.
«О Виттингтон, вернись, вернись», —

Вода у взморья ворковала.
Прокладывали наугад
Дорогу средь степных прибрежий.
«О Виттингтон, вернись назад», —
Нам веял в уши ветер свежий.
И с моря доносился звон,
Гудевший нежно и невнятно:
«Вернись обратно, Виттингтон,
О Виттингтон, вернись обратно!»

Мы дни и ночи напролет
Стругали, резали, рубили,
И грузный сколотили плот,
И оттолкнулись, и поплыли.
Без компаса и без руля
Нас мчало тайными путями,
Покуда корпус корабля
Не встал, сверкая парусами.
Домой. Прощение дано.
И снова сын приходит блудный.
Гуди ж на мачтах, полотно,
Звени и содрогайся, судно.
А с берега несется звон,
И песня близкая понятна:
«Уйди отсюда, Виттингтон,
О Виттингтон, вернись обратно!»

1923

1 МАЯ

В тот вечер мы стояли у окна.
Была весна, и плыл горячий запах
Еще не распустившихся акаций
И влажной пыли. Тишина стояла
Такой стеною плотной, что звонки
Трамваев и пролеток дребезжанье
Высокого окна не достигали.
Весенний дух, веселый и беспутный,
Ходил повсюду. Он на мокрых крышах
Котов и кошек заставлял мяукать,
И маленькие быстрые зверьки
Царапались, кувыркались, кусались.

И пе́репела в клетке над окном
Выстукивать он песню заставлял, —
И перепел метался, и вавакал,
И клювом проводил по частым прутьям,
Водою брызгал, и бросал песком.
В такие вечера над нами небо
Горячею сияет глубиною,
И звезды зажигаются, и ветер
Нам в лица дует свежестью морской.
Пусть будет так. Недаром пела флейта
Сегодня утром. И недаром нынче,
Когда ударит на часах двенадцать,
Умрет апрель. Припоминаю вьюгу,
И сизые медлительные тучи,
И скрип саней, и топот заглушенный
Копыт, и ветер, мчащийся с разбегу
В лицо, в лицо. И так за днями день,
Неделя за неделей, год за годом
Младенческое улетает время.
И вижу я — широкий мир лежит
Как на ладони предо мной.
И нежно поет во мне и закипает сладко
Та буйная отвага, что толкала
Меня когда-то в битвы и удачи.
Я вспоминаю: длинный ряд вагонов,
И паровоз, летящий вдаль, и легкий,
Назад откинувшийся дым. А после
Мы наступали с гиканьем и пеньем,
И перед нами полыхало знамя,
Горячее, как кровь, и цвета крови.
Мы рассыпались легкими цепями,
Мы наступали, вскидывая ловко
К плечам винтовки, — выстрел, и вперед
Бежали мы. И снова знамя в небе
Кровавое к победе нас вело.
И в эту ночь, последнюю в апреле,
Наполненную звездами и ветром,
Благословляю шумное былое
И в светлое грядущее гляжу.
И первомайской радостью гудит
Внизу, внизу освобожденный город.

1923

ПЕСНЯ О РАЗЛУКЕ

Из английских морских песен

Если Дженни выйдет ночью
Посмотреть на злое море, —
Пусть припомнит ночь и скалы,
Месяц, вставший над водой.

Если ж я на вахту выйду, —
Память добрая напомнит
Гул прибоя, ночь и скалы,
Месяц, вставший над водой.

Может быть, ты вышла замуж,
Может быть, твой муж суровый
Руганью твой день встречает,
Злобной яростью корит.

Может быть, с утра до ночи
Ты спины не разгибаешь,
Вяжешь сеть, готовишь пищу,
Колыбель качаешь ты.

Муж приходит поздней ночью,
Пахнущий смолой и рыбой,
Ужин съест, закурит трубку —
И не глянет на тебя.

А в твоих глазах, как прежде,
Голубеет зыбь морская,
Зори медленные ходят,
Чайки легкие летят.

А твое лицо, как прежде,
В нежно-золотом загаре,
И медовые веснушки
Выступают на щеках.

А над лбом твоим, как прежде,
Рыжим пламенем сверкают

Косы, скрученные в узел, —
В узел крепкий и тугой.

В час, когда работу кончишь,
Выходи на тихий берег
И припомни ночь и скалы,
Месяц, вставший над водой.

В этот час и я на вахте
Вспоминаю, вспоминаю,
Как далекий сон, как песню,
Месяц, берег и любовь...

Мне в лицо несется ветер,
Жжет глаза мне соль морская,
Надо мной несутся тучи,
Злое море подо мной.

Но прохладною ладонью
Ты лицо мне отираешь,
Но твои глаза сияют
Сладостной голубизной.

И опять, опять в тумане
Мчится судно, стонут мачты,
Подо мной гудит машина,
Ходит пена за кормой.

Если Дженни выйдет ночью
Посмотреть на злое море, —
Пусть припомнит ночь и скалы,
Месяц, вставший над водой...

1923

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще не смолкли рокоты громов,
И пушечные не остыли дула,
Но диким зноем с чуждых берегов
Нам в лица пламенем дохнуло.

Там, среди волн, тая зловещий гнев,
Рыча в томлении недобром,
Британии ощерившийся лев
Стучит хвостом по жестким ребрам.
Косматою он движет головой,
Он точит когти, скалит зубы,
Он слушает: с востока, пред зарей,
Свободу возвещают трубы.
Там, на востоке, с молотом в руках
Рабочий встал в сиянье алом,
Там кровь поет в ликующих сердцах,
Наполненных Интернационалом.
А лев рычит. И, грозный слыша зов,
Что над волнами пролетает,
Ему воинственно из черных городов
Французский петел отвечает.
А на востоке пламенем летит
Огонь, великий и свободный,
И, глядя на него, скрежещет и храпит
Европа — сворою голодной.
Гляди и знай! Еще в твоих дворцах
Вино клокочет роковое,
Еще томится в тяжких кандалах
Народа право трудовое;
И кровь, пролитая твоей рукой,
Не высохла и вопиет о мщенье,
И жжет пожар, и грозен мрак ночной,
И неоткуда ждать спасенья.
И ветер с востока прилетит в ночи,
И над твоей стезей бездольной
Опять, опять залязгают мечи
И грянет голос колокольный.
И вечер твой таинственен и хмур,
И низких звезд погасло пламя,
И каменный ты сотрясаешь Рур
Своими хищными руками.
Кровавый ты благословляешь Труд,
Ты будишь злобные стихии, —
И вот в ночи убийцы стерегут
Послов из пламенной России.
Европа! Мы стоим на рубеже,
Мы держим молот заповедный,

Мы в яростном кипели мятеже,
Мы шли дорогою победной.
Нас к творчеству дорога привела
Через овраги и пустыни,
Над нами веяла и выла мгла, —
Над нами солнце светит ныне.

1923

САКСОНСКИЕ ТКАЧИ

(Песня)

На воле — в лазури нежной
Прохладный день онемел...
Судьба —
Чтоб станок прилежный
Под ловкой рукою пел...

И песня —
Любви не ждите,
Сияющий мир далек...
За нитями вьются нити,
В основе снует челнок...

Ткачи —
Наступает осень,
Сентябрьский звездопад,
Но тихо скрипят колеса —
И нити летят, летят.

Шерстинка дрожит —
И снова,
Наматываясь, поет...
На воле дорогой новой
Сияющий мир идет.

На воле — огонь и ветер,
Тревога и барабан...
Полей и заводов дети
Тяжелый смыкают стан...

И встали ткачи, чтоб снова
Принять в свои руки власть,

Чтобы канат суровый
Для капитала спрясть...

Как тяжек на повороте
Их ткацких колес раскат —
Из жил и рабочей плоти
Они прядут канат.

Он натуго будет связан,
Упрямый и дикий враг, —
И заполощет разом
Обрызганный кровью флаг...

Из Дрездена недалеко
И до Берлина дойти.
Дойдем...
А там широко
Раскинулись пути.

Теперь мы узнаем, кто ты?
Как руки твои ловки?
На улицу — пулеметы,
На крышу лезьте стрелки...

Отрите же лбы от пота,
Пусть радостным будет лик.
За взводом взвод,
И рота
К сраженью готова вмиг...

Из Дрездена недалеко
И до Берлина дойти.
Дойдем...
А там широко
Раскинулись пути.

1923

К ОГНЮ ВСЕЛЕНСКОМУ

Шли дни и годы неизменно
В огне желаний и скорбей,
И занавес взлетел — и сцена

Пылала заревом огней.
И в парике, в костюме старом,
Заученный поднявши взор,
Всё с тем же пафосом и жаром
Нам декламировал актер.
Казалось, от созданья мира
Всё так же выл и хлопотал
И бороду седую Лира
Всё тот же ветер раздувал.
Всё было скучно и знакомо,
Как примелькавшиеся сны,
От гула жестяного грома
До романтической луны.
Кисть декоратора писала
Всем надоевший павильон,
А зритель? Из пустого зала
Всё так же восторгался он.
О театральные химеры!
Необычаен трудный вольт:
Пышноголового Мольера
Сменяет нынче Мейерхольд.
Он ищет новые дороги,
Его движения грубы...
Дрожи, театр старья, в тревоге:
Тебя он вскинет на дыбы.
И сердце радостное рвется
В еще неведомый туман,
Где новый Сганарель смеется,
Где рыщет новый Дон-Жуан.
Театр уже скончался старый
Под рокот лир и трубный гром.
Пора романтиков гитару
Фабричным заменить гудком.
Иди ж вперед тропой бессонной,
Назад с тревогой не гляди,
Дорогой революционной
К огню вселенскому иди.

1923

ПАМЯТНИК ГАРИБАЛЬДИ

Были битвы — и люди пели...
По дорогам, летящим вдаль,
Оси пушечные скрипели,
Ржали мулы, сияла сталь...
Белый конь, выгибая шею,
Шел приплясывая...
А за ним
С бивуаков, где ветер веял,
Над кострами шатался дым...
Волонтерами смерть и слава
Предводительствовали...
        Вот
        Нож пастуший
        И штык кровавый,
        В парусах и знаменах флот.
        От Сицилии до Милана
        Гарибальди прошел —
        И встал
        Телом бронзового истукана
        На обтесанный пьедестал...
А кругом горизонт огромен...
И, куда долетает взгляд,
Острой грудой каменоломен
Альпы яростные лежат...
Ветер дует оттуда горный,
Долетает оттуда снег,
И, студеной узде покорный,
Конь на камне замедлил бег...
А внизу,
У его подножья,
На базарах и площадях,
Ветер смутной тревожит дрожью
Густо-черный поход рубах...
И прислушивается к кличу
Конник...
        Кажется, будто в ряд
        Гроздья воронов на добычу
        Опустились — и говорят...
Нож и ночь —
Вот закон упорный;

Столб с петлею —
Вот верный дар...
По зрачкам только ветер черный
Да разбойничий перегар...
    Это тех ли повстанцев дети,
    Что, покинув костры вдали,
    Через реки, обвалы, ветер
    Штык на Австрию навели...
Над Миланом
На пьедестале
Страшный всадник
И страшный конь;
Пальцы грозно узду зажали,
И у пристальных глаз ладонь;
С окровавленного гранита
В путь!
    На север!
        В снега и мрак!
Крепче конское бей копыто,
Отчеканивая шаг...

1923

ФРОНТ

По кустам, по каменистым глыбам
Нет пути — и сумерки черней...
Дикие костры взлетают дыбом
Над собраньем веток и камней.
Топора не знавшие купавы
Да ручьи, не помнящие губ,
Вы задеты горечью отравы:
Душным кашлем, перекличкой труб.
Там, где в громе пролетали грозы,
Протянулись дымные обозы...
Над болотами, где спят чирки,
Не осока встала, а штыки...
Сгустки стеарина под свечами,
На трехверстке рощи и поля...
Циркулярами и циркулями
Штабы переполнены в края...
По масштабам точные расчеты

(Наизусть заученный урок)...
На трехверстке протянулись роты,
И передвигается флажок...
И передвигаются по кругу
Взвод за взводом...
Скрыты за бугром,
Батареи по кустам, по лугу
Ураганным двинули огнем...
И воронку за воронкой следом
Роет крот — и должен рыть опять...
Это фронт —
И, значит, непоседам
Нечего по ящикам лежать...
Это фронт —
И, значит, до отказа
Надо прятаться, следить и ждать,
Чтоб на мушке закачался сразу
Враг — примериваться и стрелять.
Это полночь,
Вставшая бессонно
Над болотом, в одури пустынь,
Это черный провод телефона,
Протянувшийся через кусты...
Тишина...
Прислушайся упрямо
Утлым ухом,
И поймешь тогда,
Как несется телефонограмма,
Вытянувшаяся в провода...
Приглядись:
Подрагивают глухо
Провода, протянутые в рань,
Где бубнит телефонисту в ухо
Телефона узкая гортань...
Это штаб...
И стынут под свечами
На трехверстке рощи и поля,
Циркулярами и циркулями
Комнаты наполнены в края...
В ночь ползком — и снова руки стынут,
Взвод за взводом по кустам залег.
Это значит:

В штабе передвинут
Боем угрожающий флажок.
Гимнастерка в дырьях и заплатах,
Вошь дотла проела полотно,
Но бурлит в бутылочных гранатах
Взрывчатое смертное вино...
Офицера, скачущего в поле,
Напоит и с лошади сшибет,
Гайдамак его напьется вволю —
Так, что и костей не соберет.
Эти дни, на рельсах, под уклоны
(Пролетают... пролетели... нет...)
С громом, как товарные вагоны,
Мечутся — за выстрелами вслед.
И на фронт, кострами озаренный,
Пролетают... Пролетели... Нет...
Песнями набитые вагоны,
Ветром взмыленные эскадроны,
Эскадрильи бешеных планет.
Катится дорогой непрорытой
В разбираемую бурей новь
Кровь, насквозь пропахнувшая житом,
И пропитанная сажей кровь...
А навстречу — только дождь постылый,
Только пулей жгущие кусты,
Только ветер небывалой силы,
Ночи небывалой черноты.
В нас стреляли —
И не дострелили;
Били нас —
И не могли добить!
Эти дни,
Пройденные навылет,
Азбукою должно заучить.

1923

ТРУД

Этой зимой в заливе
Море окоченело.
Этой зимой не виден
Парус в студеной дали.

Встанет апрельское солнце,
Двинется лед заповедный,
В море, открытое море
Вылетит шлюпка моя.

И за кормою высокой
Сети по волнам польются;
И под свинцовым грузилом
Станут на зыбкое дно.

Сельди, макрели, мерланы,
Путь загорожен подводный,
Жабры сожмите — и мимо,
Мимо плывите сетей!

Знает рыбацкая удаль
Рыбьи становища. Полон
Легкий баркас золотистой
И голубой чешуей.

Руль поверни, и на берег
Вылетит лодка. И руки,
Жадные и сухие,
Рыбу мою разберут.

Выйди, апрельское солнце,
Солнце труда и веселья,
Встань над соленой водою
В пламени жарких лучей!

Но за окном разгулялась
Злая февральская вьюга,
Снег пролетает, и ветер
Пальцем в окошко стучит.

В комнате жарко и тихо,
В миске картофель дымится,
Маятник ходит, и мерно
Песню бормочет сверчок.

Выйди, апрельское солнце,
Солнце труда и простора!
Лодка просмолена. Парус
Крепкой заштопан иглой.

1924

СМЕРТЬ

Страна в снегах, страна по всем дорогам
Исхожена морозом и ветрами;
Сугробы в сажень, и промерзла в сажень
Засеянная озимью земля.
И города, подобно пешеходам,
Оделись в лед и снегом обмотались,
Как шарфами и башлыками.
                                        Грузно
Закопченные ночи надвигали
Гранитный свод, пока с востока жаром
Не начинало выдвигаться солнце,
Как печь, куда проталкивают хлеб.
И каждый знал свой труд, свой день и отдых.
Заводы, переполненные гулом,
Огромными жевали челюстями
Свою каменноугольную жвачку,
В донецких шахтах звякали и пели
Бадьи, несущиеся вниз, и мерно
Раскачивались на хрипящих тросах
Бадьи, несущиеся вверх.
                                    Обычен
Был суток утомительный поход.

. . . .

И в это время умер человек.

. . . .

Страна в снегах, страна по всем дорогам
Исхожена морозом и ветрами.
А посредине, выструганный гладко
Сосновый гроб, и человек в гробу.
И вкруг него, дыша и топоча,

Заиндевелые проходят люди,
Пронесшие через года, как дар,
Его слова, его завет и голос.
Над ним клонятся в тихие снега
Знамена, видевшие дождь и ветер,
Знамена, видевшие Перекоп,
Тайгу и тундру, реки и лиманы.
И срок настал:
Фабричная труба
Завыла, и за нею загудела
Другая, третья, дрогнул паровоз,
Захлебываясь паром, и, натужась
Котлами, засвистел и застонал.
От Николаева до Сестрорецка,
От Нарвы до Урала в голос, в голос
Гудки раскатывались и вздыхали,
Оплакивая ставшую машину
Огромной мощности и напряженья.
И в диких дебрях, где, обросший мхом.
Бормочет бор, где ветер повалил
Сосну в болото, где над тишиною
Один лишь ястреб крылья распахнул,
Голодный волк, бежавший от стрелка,
Глядит на поезд и, насторожив
Внимательное ухо, слышит долгий
Гудок и снова убегает в лес.
И вот гудку за беспримерной далью
Другой гудок ответствует. И плач
Котлов клубится над продрогшей хвоей.
И, может быть, живущий на другой
Планете, мечущейся по эфиру,
Услышит вой, похожий на полет
Чудовищной кометы, и глаза
Подымет вверх, к звезде зеленоватой.

. . . .

Страна в снегах, страна по всем дорогам
Исхожена морозом и ветрами,
А посредине выструганный гладко
Сосновый гроб, и человек в гробу.

1924

СССР

Она в лесах, дорогах и туманах,
В болотах, где качается заря,
В острожной мгле и в песнях неустанных,
В цветеньи Мая, в буйстве Октября.
Средь ржавых нив, где ветер пробегает,
Где перегноем дышит целина,
Она ржаною кровью набухает,
Огромная и ясная страна.
Она глядит, привстав над перевалом,
В степной размах, в сырой и древний лог,
Где медленно за кряжистым Уралом
Ворочается и сопит Восток.
Выветриваются и насквозь пробиты
Дождями идолы. У тайных рек,
С обтесанного наклонясь гранита,
Свое белье полощет человек.
Промышленные шумные дороги
Священных распугали обезьян,
И высыхающие смотрят боги
В нависнувший над пагодой туман.
Восток замлел от зноя и дурмана, —
Он грузно дышит, в небо смотрит он.
Она подует, с вихрем урагана
Враз опостылевший растает сон.
Восток подымется в дыму и громе,
Лицо скуластое, загар — как мед;
Прислушайся: грознее и знакомей
Восстание грохочет и поет.
Она глядит за перевал огромный,
В степной размах, в сырой и древний лог,
Под этим взглядом сумрачный и темный
Ворочается и сопит Восток...
Кружатся ястребы, туманы тают,
Клубятся реки в сырости долин,
Она лицо на запад обращает,
В тяжелый чад и в суету машин.
Она лицо на запад обращает,
Над толпами, кипящими котлом,
И голову свою приподымает
Рабочий, наклоненный над станком.

Там едкий пот — упорен труд жестокий.
Маховики свистят и голосят,
Там корабельные грохочут доки,
Парят лебедки, кабели гудят.
Там выборы, там крики и удары,
Там пули временное торжество,
Но посмотри: проходят коммунары, —
Их сотни, тысячи, их большинство.
И мировое закипает вече,
Машины лязгают, гудки поют;
Затекшие там разминает плечи
От пут освобождающийся труд.
Мы слышим гул тяжелого прибоя,
Не сердце ли колотится в груди,
Мы ждем тебя, восстанье мировое,
Со всех сторон навстречу нам иди!

1924

О ПУШКИНЕ

...И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег. Он знает — здесь конец...
Недаром в кровь его влетел крылатый,
Безжалостный и жалящий свинец.
Кровь на рубахе... Полость меховая
Откинута. Полозья дребезжат.
Леса и снег и скука путевая,
Возок уносится назад, назад...
Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова
То, что влюбленному забыть нельзя, —
Рассыпанные кудри Гончаровой
И тихие медовые глаза.
Случайный ветер не разгонит скуку,
В пустынной хвое замирает край...
...Наемника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!
Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса
Следит — упорно, взведены ль курки,
Глядят на узкий пистолет Дантеса
Его тупые скользкие зрачки.

И мне ли, выученному, как надо
Писать стихи и из винтовки бить,
Певца убийцам не найти награду,
За кровь пролитую не отомстить?
Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.
И сердце колотилось безотчетно,
И вольный пламень в сердце закипал,
И в свисте пуль, за песней пулеметной
Я вдохновенно Пушкина читал!
Идут года дорогой неуклонной,
Клокочет в сердце песенный порыв...
...Цветет весна — и Пушкин отомщенный
Всё так же сладостно-вольнолюбив.

1924

СКУМБРИЯ

Улов окончен. Баламутом сбита
В серебряную груду скумбрия.
Шаланда легкой осыпью покрыта,
И на рубахе стынет чешуя.
Из лозняка плетеные корзины
Скумбриями набиты до краев.
Прохладной сталью отливают спины,
И сталь сквозит в отливах плавников.
Мы море видели, мы ветры знаем,
Мы верим в руку, что вертит рулем,
С веселой песней в море отплываем
И с песнею через валы плывем.
За нами порт и говорливый город,
Платаны и акации в цвету,
Здесь ветры нам распахивают ворот
И парус надувают на лету.
Низовый дует — и звенит у мола
Волна — мартын ныряет и кричит,
Кренит шаланда, и скрипит шпринтола,
И кливер, понатужившись, трещит.

Мы начинаем дружную работу,
На смуглых лбах соленый тает пот.
Мы слышим крик: готовься к повороту!
И паруса полощут — поворот!
Нам бьет в лицо пропахший солью ветер,
Качает нас соленая струя,
В сырую тьму мы высыпаем сети,
И в сети путается скумбрия.
Потом назад дорогою веселой,
Густая пена за рулем бежит.
Кренит шаланда, и скрипит шпринтола,
И кливер, понатужившись, трещит.

1924

БАСТИЛИЯ

Бастилия! Ты рушишься камнями,
Ты падаешь перед народом ниц...
Кружится дым! Густое свищет пламя,
Ножами вырываясь из бойниц.
Над Францией раскат борьбы и мести!
(Из дальних улиц барабанный бой...)
Гляди! Сент-Антуанское предместье
Мушкетом потрясает над тобой.
Оно шумит и движется, как пена,
Волнуется, клокочет и свистит...
И голосом Камилла Демулена
Народному восстанию говорит!
Король! Пора! К тебе народ взывает!
К тебе предместий тянется рука!
Гремит охота. Ветер раздувает
Напудренные букли парика...
Олений парк. Английская кобыла
Проносится по вереску... А там
Трясутся стены воспаленной силой
И отблески танцуют по камням.
Король, ты отдыхаешь от охоты,
Рокочут флейты, соловьи поют...
...Но близок час! В Париже санкюлоты
Республику руками создают!

В ком сердце есть, в ком воля закипает,
Вперед! вперед! По жилам хлещет дрожь!..
И Гильотэн уже изобретает
На плаху низвергающийся нож.
Еще в сердцах не разгулялось пламя,
Еще сжимает жесткий нож ладонь,
Но Робеспьер скрывает за очками
Сверкающую радость и огонь...
Но барабанов мерные раскаты
Восстаний отчеканивают шаг,
Но выщербленное лицо Марата,
Прищурившись, оглядывает мрак...
Бастилия! Ты рушишься камнями,
Ты сотрясаешь площадей гранит...
Но каждый камень зажигает пламя,
И в каждом сердце барабан гремит!

1924

СЛОВО — В БОЙ

(На смерть т. Малиновского)

Плавится мозолистой рукою
Трудовая, крепкая страна.
Каждый шаг еще берется с бою,
В каждом сердце воля зажжена.
Были дни — винтовкой и снарядом
Отбивался пролетариат.
Кровь засохла — под землею кладом
Кости выбеленные лежат.
А над ними, трудовой, огромный,
Мир встает, яснеет кругозор...
И на битву с крепью злой и темной
От завода движется рабкор.
Сталь пера, зажатая сурово,
Крепче пули и острей ножа...
И печатное стегает слово
Тех, кто в темень прячется, дрожа.
И печатное грохочет слово
Над виновными, как грузный гром,
Разрываясь яростью свинцовой
Над склоняющимся в прах врагом.

Что сильней рабочего напора!
Слово едкое, как сталь остро!
В героической руке рабкора
Заливается, звенит перо!
Голосом маховиков и копей
Говорит рабкор. И перед ним
Сила вражья мечется, как хлопья
Черной сажи, и летит, как дым.
Но не дремлет вражеская сила,
Сила вражеская не легка:
Вот рабкора, притаясь, убила
Хитрая, лукавая рука...
Слишком смело он пером рабочим
Обжигал, колол и обличал,
Слишком грозно поглядел ей в очи,
Слишком громко правду закричал.
Гей рабкор! Свое перо стальное
Зажимай мозолистой рукой,
Чтоб ты мог за право трудовое
Дать решительный, последний бой.

1924

ПОРТ
(ЛЕТНИЙ ДЕНЬ)

Он входит в порт, огромный, неуклюжий,
Обглоданный ветрами пароход,
Из труб куделью, душной и верблюжьей,
Сползает дым и за корму плывет.
А порт не спит... Товарные вагоны
По рельсам двигаются и скрипят...
Течет зерно струей неугомонной,
И грузчики у сходен голосят.
И дни текут, пропахшие душистой
Пшеничной пылью, дымом и смолой;
Всё тот же зной, томительный и мглистый,
И плачущий мартын над головой...
А дальше, там где не дымятся трубы
И копоть не покрыла небеса,
Там гички вылетают из яхт-клуба,
И яхты расправляют паруса...

За маяком, за вольным поворотом,
Свежеет ветер и плывут дубки,
Там высыпают в воду переметы
С Фонтана прибывшие рыбаки. . .
И сквозь простор, заснувший непробудно,
Подергивает рябью ветровой,
Из Севастополя проходит судно,
И красный флаг полощет за кормой.
А дальше тишь, а дальше соль и птицы,
Смолистая, тяжелая вода. . .
Но вот дымок — плывут из-за границы
В советский порт торговые суда.

1924

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Кто услышал раковины пенье,
Бросит берег — и уйдет в туман;
Даст ему покой и вдохновенье
Окруженный ветром океан. . .

Кто увидел дым голубоватый,
Подымающийся над водой,
Тот пойдет дорогою проклятой,
Звонкою дорогою морской. . .

Так и я. . .
Мое перо писало,
Ум выдумывал,
А голос пел;
Но осенняя пора настала,
И в деревьях ветер прошумел. . .

И вдали, на берегу широком
О песок ударилась волна,
Ветер соль развеял ненароком,
Чайки раскричались дотемна. . .

Буду скучным я или не буду —
Всё равно!
Отныне я другой. . .

Мне матросская запела удаль,
Мне трещал костер береговой...

Ранним утром
Я уйду с Дальницкой,
Дынь возьму и хлеба в узелке,
Я сегодня
Не поэт Багрицкий,
Я — матрос на греческом дубке...

Свежий ветер закипает брагой,
Сердце ударяет о ребро...
Обернется парусом бумага,
Укрепится мачтою перо...

Этой осенью я понял снова
Скуку поэтической нужды;
Не уйти от берега родного,
От павлиньей,
Радужной воды...

Только в море —
Бесшабашней пенье,
Только в море —
Мой разгул широк:
Подгоняй же, ветер вдохновенья,
На борт накренившийся дубок...

1924

ОСЕНЬ

Осень морская приносит нам
Гулко клокочущее раздолье.
Ворот рубахи открыт ветрам,
Ветер лицо обдувает солью.
Я в это утро открыл глаза,
Полные тьмы и смолистой дрёмы, —
Вижу: прозрачное как слеза,
Море стоит полосой знакомой.
Хворост по дачам приятель мой

С ночи собрал — и теперь протяжно
Чайник звенит... А над головой
Небо обмазано синькой влажной.
Нынче в редакцию не пойду
(Не одолеть мне осенней дури).
В пыльном сарае свой прут найду,
Лёску поправлю на самодуре...
Снова иду на рыбачий труд,
К старому вновь возвращаюсь делу;
Вьется, звенит за кормою прут,
Воду взрезает лесиной белой.
«Что же, — приятель мне говорит, —
Нет скумбрии, искупаться надо!»
В море с размаху! И вот кипит
Солью пропитанная прохлада.
Ветер за солнцем идет кругом:
Утром — низовый, горышний — ночью...
В сети залезем и спим вдвоем.
Холод шевелит рубахи клочья.
Солнце приветствуют петухи,
Мрак улетает, и месяц тонет;
Так начинаются стихи, —
Ветер случайную рифму гонит.
Слово за словом, строка к строке,
Сердце налито соленой брагой.
Крепко зажат карандаш в руке,
Буквами кроется бумага.
Осень морская приносит нам
Песенный дух и зыбей раздолье.
Ворот рубахи открыт ветрам,
Ветер лицо обдувает солью.

1924

КИНБУРНСКАЯ КОСА

Сквозь сумерки —
Судороги перепелов.
От сумерек
Степь неприкаяннней,
А к берегу движется переполох,

Волны раскачнувшийся маятник...
Он вместе с восходом
Уходит в туман,
Он вместе с закатом
По берегу бьет...
Вокруг маяка
Сходит с ума,
Стучит по бортам
И качает бот...
Я ветер вдыхаю...
И с каждым глотком
По жилам проносится соль,
Крылатые волны над желтым песком
Прокатывают колесо...
Из круглого танца морских фанаберий,
Ударя вприсядку, выходит берег...,
Выходит вприсядку
И машет кустом,
Прибрежною машет лозиной.
К воде надвигается солончаком
И отодвигается глиной...
Кустарником свищет, норд-вестом звенит,
Сухую сосну устремляет в зенит...
Я знаю пропитанный песнями дух
Трагической этой земли,
Я знаю, о чем запевает пастух,
Чем кормится стадо вдали.
И вот, проплывая под берегом рослым,
Баркас, будто цыган, кочует,
И пальцы, прижатые натуго к веслам,
Подводную фауну чуют...
(Присоски и щупальцы, радуга рыб,
Бродячей медузы пылающий гриб,
Да белый мартын над простором воды
Кидается за отраженьем звезды...)
И слышится голос
Рыбацкой тоски,
Что мечется в берег, стеня,
И вот надвигаются солончаки,
И вот захлестнули меня...
О, с этого берега в тысячу раз
Ясней и приметнее море,

Как будто какой-нибудь дом иль баркас
Его заслоняли от пристальных глаз,
И нынче — оно разлетается враз,
Качается в пылком уборе...
И тина цветет, и горят маяки,
И ветры по сумеркам шарят...
Ладонь над глазами — глядят моряки
В сияющих вод полушарье.

1924, 1927

У МОРЯ

Над лиманской солью невеселой
Вечер намечается звездой...
Мне навстречу выбегают села,
Села нависают над водой...

В сумраке, без формы и без веса,
Отбежав за синие пески,
Подымает черная Одесса
Ребра, костяки и позвонки...

Что же? Я и сам еще не знаю,
Где присяду, где приют найду:
На совхозе ль, что ютится с краю,
У рыбачки ль в нищенском саду?

Я пойду тропинкою знакомой
По песку сухому, как навоз,
Мне навстречу выбежит из дому
Косоглазый деревенский пес...

Вспугнутая закружится чайка,
Тени крыльев лягут на песок,
Из окошка выглянет хозяйка,
Поправляя на плечах платок.

Я скажу: «Маруся, неужели
Вырос я и не такой, как был?
Год назад, в осенние недели,
Я на ближнем неводе служил...»

Сердце под голландкою забьется,
Заиграет сердце, запоет.
Но Маруся глянет, повернется,
Улыбнется и в курень пойдет.

Я — не тот. Рыбацкая сноровка
У меня не та, что год назад, —
Вышла сила, и сидит неловко
Неудобный городской наряд.

Над лиманом пролетают галки,
Да в заливе воет пароход...
Я не буду нынче у спасалки
Перекатывать по бревнам бот.

Я не буду жадными глазами
Всматриваться в тлеющий восток,
С переливами и бубенцами
Не заслышу боцманский свисток.

Я пойду дорогою знакомой
По песку, сухому, как навоз;
Мне навстречу выбежит из дому
Космогий деревенский пес.

1924

ДЕТСТВО

На базаре ссорились торговки;
Шелушилась рыбья чешуя;
В этот день, в пыли, на Бугаевке
В первый раз увидел солнце я...
На меня столбы горячей пыли
Сыпало оно сквозь зеленя;
Я не помню, как скребли и мыли,
В одеяла кутали меня...
Я взрастал пшеничною опарой,
Сероглазый, с белой головой,
В бурьянах, за будкой квасовара,
Видел ветер над сухой травой...

Бабы ссорятся, проходят люди,
Свищет поезд, и шумят кусты;
Бугаевка! Никогда не будет
Местности прекраснее, чем ты...
И твое веселое наследство
Принял я, и я навеки твой, —
Ведь недаром прокатилось детство
Звонким обручем по мостовой,
И недаром в летние недели
Я бродил на хуторах степных,
И недаром джурбаи гремели,
В клетках, над окошками пивных...
Сколько лет... Уходит тень за тенью,
И теперь сквозь бестолочь годов
Начинается сердцебиенье
У меня от свиста джурбаев...
Бугаевка! Выйдешь на дорогу,
А из степи древнею тоской
По забытому степному богу
Веет ветер, наплывает зной —
Долетают дальние раскаты
Грома — и повиснет тишина,
Только, свистнув, суслик полосатый
Встанет над колючками стерна,
Только ястреб задрожит над стогом,
Крыльями расплескивая зной, —
И опять по жнитвам, по дорогам
Тихо веет древностью степной.
Может, это ничего не значит,
Я не знаю, — только не уйти
От платанов на пустынной даче,
От степного славного пути...

Ветер, ветер, бей по огородам
Свеклу и подсолнухи; крути
Дерезу; неистовым походом
Проплыли поселки и пути...
И сквозь ветер матушка проходит
В хлев, в соломенный, коровий дух,
Где скотина мордою поводит
И в навозе роется петух...
Матушка! Ты через двор щербатый

Возвращаешься обратно в дом,
И в руках твоих скрипят ушаты,
Распираемые молоком...
Свежий ветер мчит по Бугаевке
Репухи и сохлое былье,
И за ветром мчится на веревке
Щелоком пропахшее белье...
Свежим ветром сорвана с сарая,
Свистом перепугана моим —
Раз! — и нет — кружит и плещет стая
Голубей, прозрачная как дым...
Поднялись — летят напропалую,
Закрутились над коньком крыльца,
Каждый голубь в свежесть голубую
Штопором ввинтился до конца...
Тяжело охотницкое дело —
Шест в ладонь, — а ну еще наддай,
И кричу я ввысь остервенело:
«Кременчугские! — Не выдавай!»

Август 1924

ЛЕТО

Ты готов?
Я готов!
Отныне
Новый труд ожидает нас;
На песке,
На соленой глине:
Лето близко —
Горит приказ...
Лето близко!
В сухие тени
Погружен по утрам песок...
Где весеннего утомленья
Отлетающий холодок.
Нам, южанам, давно знакомы
Ветер, трогающий волну,
И ворона на крыше дома,
Провожающая весну,

И сияющая парусами
Зыби смутная колея,
И плывущая косяками
Рыба летняя — скумбрия.
Лишь над морем стоит прохлада,
Как рыбачьих поселков дым:
Мы встречаем июнь, как надо
Хлебом-солью:
Костром ночным...
А вдали у размытых устий
Вешней одури тает яд,
Охраняемый диким гусем
В дачном треньканьи соловья.
Лето движется душным яром
По тропе, что в кустах легла,
Золотым, как песок, загаром
Обволакивает тела...
Лето движется душным яром,
Не задерживаясь в пути,
Рыбу в камни вгоняет жаром
Так, что удочкой не найти.
Разгоняет гусиный табор,
Горло сдавливает соловьям,
Чтоб медузам и круглым крабам
Выплывать из подводных ям;
Чтоб медленных дней усталость
Отошла на далекий срок;
Чтобы нам от весны осталось
Лишь веснушки да ветерок.
А взамен тишины прохладной
Чайки, ветер и скумбрия...
Над водой оседает жадный
Гуд июньского бытия!
Встань же с птицами спозаранку,
До соленой морской зари;
Чаю выпей;
Проверь берданку;
Лодку вымой и осмотри!
Ты готов?
Я готов!
Отныне
Новый труд ожидает нас!

На песке,
На соленой глине:
«Лето близко!»
Горит приказ.

1924

ОХОТА НА ЧАЕК

День как колокол: в его утробе
Грохот волн и отдаленный гром...
Банка пороху, пригоршня дроби,
Старая берданка за плечом...
Скумбрия проходит косяками,
Мартыны летят за скумбрией...
Вбит патрон. Под всеми парусами
Вылетает ялик смоляной...
Правь рулем, поглядывай на шкоты!
Ветер сбоку, — сзади плес и гул!
Можно крыть! Готовься к повороту —
Хлещет парус, ялик повернул...
Скумбрия проходит полосою,
Выбегает вверх из глубины,
И за ней над самою водою,
Грузно потянулись мартыны...
Мы недаром вышли спозаранку,
Паруса подняли сгоряча, —
Птицей поднимается берданка,
Поднялась и стала у плеча.
Скумбрия проходит косяками,
К солнцу вылетает из волны.
И за рыбой низко над волнами
Тихо проплывают мартыны...
Глаз прищурь и дробью крой с налета, —
Крылья набок и последний крик!
На борт руль! Готовься к повороту —
Подлетаем к птицам напрямик.
Вот они, пробитые навылет,
Выстрелом пронизанные в прах;
Пена их прохладным мылом мылит,
Море их шатает на волнах...

Свежий ветер, песня путевая,
Сизый дым над розовым песком...
Ялик мой! Страда моя морская,
Старая берданка за плечом!

Сентябрь 1924

РЫБАКИ

Восточные ветры, дожди и шквал
И громкий поход валов
Несутся на звонкое стадо скал,
На желтый простор песков...
По гладкому камню с размаху влезть
Спешит водяной занос, —
Вытягивай лодки, в ком сила есть,
Повыше на откос!..
И ветер с востока, сырой и злой,
Начальником волн идет,
Он выпрямит крылья, —
Летит прибой, —
И пена стеной встает...
И чайкам не надо махать крылом:
Их ветер возьмет с собой, —
Туда, где прибой летит напролом
И плещет наперебой.
Но нам, рыбакам,
Не глядеть туда,
Где пена встает, как щит...
Над нами туман,
Под нами вода,
И парус трещит, трещит...
Ведь мы родились на сыром песке,
И ветер баюкал нас,
Недаром напружен канат в руке,
И в звезды летит баркас...
Я сам не припомню, какие дни
Нас нежили тишиной...
Туман по утрам,
По ночам — огни
Да ветер береговой.

Рыбак, ты не должен смотреть назад!
Смотри на восток — вперед!
Там вехи над самой водой стоят
И колокол поет.
Там ходит белуга над зыбким дном,
Осетра не слышен ход,
Туда осторожно крючок за крючком
Забрасывай перемет...
Свечою из камня стоит маяк,
Волна о подножье бьет...
Дожди умывают тебя, рыбак,
И досуха ветер трет.
Так целую жизнь — и в дождь, и в шквал —
Гляди на разбег валов,
На чаек, на звонкое стадо скал,
На желтый простор песков.

1924

ОДЕССА

Над низкой водою пустые пески,
Косматые скалы и тина,
Сюда контрабанду свозили дубки,
Фелюги и бригантины.

На греческой площади рынок шумел,
Горели над городом зори,
Дымились кофейни, и Пушкин смотрел
На свежее сизое море.

Одесса росла, и торговым рядам
Тяжелая вышла работа:
По грудам плодов, по дровам, по тюкам
Хмельная легла позолота.

И в золоте этом цвели берега,
И в золоте этом пылали
И фески матросов, и пыль, и стога,
Что силой пшеничною встали.

Спиною к степям — и глазами к воде —
Ты кинулась и обомлела.
Зюйд-вест над тобою весною гудел,
Зимою морянка шумела.

Зимою дожди, по весне тишина,
Платанами пели бульвары;
Сто лет ударялась о берег волна,
Сто лет гомонили базары.

В предместьях горланили утром гудки,
Трактиры кипели котлами;
Гвоздями подкованные башмаки
С размаху гремели о камень.

В предместьях, в запекшихся сгустках сердец,
Средь копоти, сажи и пыли,
Скрипело: «Пора, наступает конец!»
И пальцы сжимались и ныли.

Был пафос дождей и осенняя муть;
Октябрь по тропе спозаранку
Прошел. И наотмашь распахнута грудь,
И порвана пулей голландка.

Не Пушкину петь о рабочей страде!
Мы вышли из черных кварталов,
Над нами норд-ост, пролетая, гудел,
Внизу мостовая стонала.

Навылет хлестала осенняя муть,
Колючая сыпь спозаранку
Легла. Но морянке распахнута грудь
И порвана пулей голландка.

А после: сраженья, и голод, и труд,
Винтовка, топор и машина.
В труде не заметишь, как годы идут, —
Восьмая идет годовщина!

1924

АМССР

Из-за Днестра, из-за воды гулливой,
Знакомый чад, чабаний разговор;
Цветут сады и яблоней и сливой,
Свистит пила, и падает топор.
Тугая цепь заклепана заране,
Внимателен сторожевой румын,
И ты глядишь, плечистый молдаванин,
Из Бессарабии в простор равнин.
Не твой ли брат встает освобожденный
И громогласный оклик подает,
Не та же ль кровь струей разгоряченной
По жилам мечется и сердце жжет.
В степях гуляет ветер беззаботный,
И небо жаворонками полно,
Здесь шли: Зеленый, Ангел, Заболотный,
Тютюнник, и Петлюра, и Махно.
Шумит за Балтой яровая сила,
В Тирасполе густеет виноград,
Здесь кости бесшабашные сложила
Сраженная бандитская орда.
Здесь укрывалась дрофами степными
Офицерня до роковой поры;
Здесь разгорались в сумраке и дыме
Привольные чумацкие костры.
Вся эта нечисть наполняла села,
По самоварам самогон гудел,
Но вот Котовский с конницей веселой
Ударил пикой, пулей просвистел.
Из камышей, затихнувших в тумане,
Из рощ, из нераспаханных полей
На клич его выходят молдаване,
Оружье чистят и скребут коней.
Затихли ветры, улеглись пожары,
Шумят дожди, и движется туман;
Овчарки бегают вокруг отары,
Жалейкой заливается чабан.
Через реку привольно и мятежно
Перелетающий поет огонь.
С другого берега гляди прилежно,
Зажав топор в широкую ладонь.

Смотри, смотри: упорно и сурово
Скрипят арбы, встает за станом стан,
Над водами подъемлет флаг багровый
Республика свободных молдаван.

1924

1924

Кончается. Окончен. Отгудел
Тяжелый год. По взморьям, лукоморьям,
По городам, лесам и плоскогорьям
Последний день туманом пролетел.
Он грузен был, двадцать четвертый год...
Тяжка его повадка трудовая:
В последний день он весело поет,
Тяжелые маховики вращая.
Среди веков проложена межа
Руками и штыками дерзновенных.
Прекрасны годы буйств и мятежа,
Сражений и восстаний вдохновенных.
Но нам прекрасней кажется стократ
Упорный год строительной работы,
Гул тракторов, размерный стук лопат,
Маховиков крутые повороты.
Был страшный час! Трещал на реках лед,
Кружился снег, дороги заметая.
Скончался Ленин! Но у нас поет
Кровь Ильича, по жилам пролетая...

И эта кровь ведет к работе нас,
Пробег ее крылат и неизменен.
И кажется: одним движеньем глаз
Руководит рабочей волей Ленин.

Мы с Лениным заканчиваем год.
Незыблема повадка трудовая:
Ведь в каждом пролетарии поет
Кровь Ильича, по жилам пролетая!

Мы слышим: сердце плещется в груди.
Мы чувствуем: наш голос чист и ясен.
Грядущий год, машинный год, иди!
Моря распахнуты — и труд прекрасен.

1924

ЯНВАРЬ

Горечью сердце напоено,
Ветер свистит в ушах,
Память об этом живет давно,
Кровь горяча в снегах.
Слушай сердец заповедный звон,
Прямо в глаза смотри:
Видишь на золоте икон
Страшный огонь зари?
Путь по снегам. И готов свинец...
Воздух как дым, как гарь,
Полк наготове. И во дворец
Волком укрылся царь...
Так наступает грозовый миг,
Звук — и окончен срок.
Над офицером взвивал башлык
Западный ветерок.
Несколько слов... И конец, конец...
В жилах шипит свинец
Вдаль по сугробам, безумный бег...
Солнце, мороз и снег.
Зимы проходят в снегах, горя,
Время спешит вперед,
Но о Девятом января
Память в сердцах живет.

Ветер кружится над землей
В мире снегов и льда.
«Ленина нет» голосят струной
Звонкие провода.
Ленина нет, становись в ряды,
Громче раскат шагов.

Вдаль через ветер, сквозь ночь и льды
В сизую муть снегов.
В старую жизнь мы врубаем след,
Грозно глядим вперед;
Ленин скончался, Ленина нет —
Сердце его живет!
Ветер кружится роковой,
В воздухе мгла и гарь,
Так подымается над землей
Памятный нам Январь.

1925

ЛЕНИН С НАМИ

По степям, где снега осели,
В черных дебрях,
В тяжелом шуме,
Провода над страной звенели:
«Нету Ленина,
Ленин умер».
Над землей,
В снеговом тумане,
Весть неслась,
Как весною воды;
До гранитного основания
Задрожали в тот день заводы.
Но рабочей стране неведом
Скудный отдых
И лень глухая,
Труден путь.
Но идет к победам
Крепь, веселая, молодая...
Вольный труд закипает снова:
Тот кует,
Этот землю пашет;
Каждой мыслью
И каждым словом
Ленин врезался в сердце наше.
Неизбывен и вдохновенен
Дух приволья,
Труда и силы:

Сердце в лад повторяет:
«Ленин».
Сердце кровь прогоняет в жилы.
И по жилам бежит волнами
Эта кровь и поет, играя:
«Братья, слушайте,
Ленин с нами.
Стройся, армия трудовая».
И гудит, как весною воды,
Гул, вскипающий неустанно...
«Ленин с нами», —
Поют заводы,
В скрипе балок,
Трансмиссий,
Кранов...
И летит,
И поет в тумане
Этот голос
От края к краю.
«Ленин с нами», —
Твердят крестьяне,
Землю тракторами взрывая...
Над полями и городами
Гул идет,
В темноту стекая:
«Братья, слушайте:
Ленин с нами!
Стройся, армия трудовая!»

1925

УКРАЗИЯ

Волы мои, степями и полями,
Помахивая сивой головой,
Вы в лад перебираете ногами,
Вы кормитесь дорожною травой.
По ковылям, где дрофы притаились,
Вблизи прудов, где свищут кулики,
Волами двинулись и задымились
Широкой грудью броневики.

По деревням ходил Махно щербатый,
И вольница, не знавшая труда,
Горланила и поджигала хаты
И под откос спускала поезда.
А в городах: молебны и знамена,
И рокот шпор, и поцелуй в уста.
Холеный ус, литая медь погонов,
И дробь копыт, и смех, и темнота.
Прибрежный город отдыхал в угаре,
По крышам ночь, как масло, потекла.
Платаны гомонили на бульваре,
Гудел прибой, и надвигалась мгла.
Прибрежный город по ночам чудесней,
Пустая тишь и дальний гул зыбей,
И лишь нерусские звенели песни
Матросов с иностранных кораблей.
И снова день, и снова рестораны
Распахнуты. И снова гул встает.
И снова говор матерный и пьяный,
И снова ночь дорогою кровавой
Приходит к нам свершать обычный труд.
Тюрьма и выстрелы. А здесь зуавы
С матросами обнялись — и поют...
Мы в эти дни скрывались, ожидали,
Когда раздастся долгожданный зов,
Мы в эти дни в предместьях собирали
Оружие, листовки и бойцов.
Ты, иностранец, посмотри, как нами
Сколочен мир, простой и трудовой,
Как грубыми рабочими руками
Мы знамя подымаем над собой.
Ты говоришь: «Укразия». Так что же,
Не мы ль прогнали тягостный туман,
Не мы ль зажгли вольнолюбивой дрожью
Рабочих всех материков и стран?
Бей по горну — железо не остынет,
Оно сверкает в огненной пыли.
Укразия! Примером будь отныне
Трудящимся со всех концов земли...

1925

АЛДАН

Сияющий иней покрыл тайгу,
И в пламени спит тайга...
Собаки бегут под таежный гул
На дикие берега...

Собаки захлебываются, храпят,
Постромку вожак грызет,
И сани поскрипывают, летят
К Алдану, вперед, вперед!

Алдан, ты медведем лежишь, Алдан,
Средь хвои, ветров и льда,
В тебе рудокоп разбивает стан,
Кипит над костром вода...

И золото, скрытое в ржавых мхах,
В прохладном песке ручьев,
Стекает, как желтый тяжелый прах,
В походный брезент мешков.

А золото в горных породах спит,
Сверкая огнем сухим,
Меж кварцевых глыб и гранитных плит
Клубится, как желтый дым.

И в тихой долине, где мгла и лень,
Где клюква и ржавый мох,
Копытом ударит седой олень
О золотой кусок...

И золото моют речной водой,
И в желобе из досок
На дно оседает густой-густой,
Тяжелый и желтый сок...

Медвежья округа шумит окрест
И глухариная глушь...
Над синею хвоей пустынных мест
Морозная бродит сушь.

В заимке над книгою рудокоп
Склоняет широкий лоб,
И Ленина имя на корешке
Скрывается в руке...

Под северным ветром гудит тайга,
И к югу летит туман.
Пустынные кряжи и берега —
Вот царство твое, Алдан...

Но слышен проворный собачий шаг,
Погонщиков крик и вой...
Горит над заимкою красный флаг,
Цветет снегирем меж хвой...

Скрежещут лопаты, кирки стучат,
Дымится вдали ночлег.
За золотом в недра! Ни шагу назад!
Ни шагу назад, человек!

1925

* * *

Взывает в рупор режиссер,
Юпитера горят,
Послушный мечется актер,
Стрекочет аппарат.
Густая, потная жара,
И в ярости огней
Идет привычная игра
Восторгов и страстей.

Но вот, покинув павильон,
К пустыням золотым
Перелетает аппарат,
И оператор с ним.
Перелетает аппарат
В песчаную страну,
В опустошенную мечеть,
Под низкую луну.

Верблюды, брызгая слюной,
Через пески идут.
Их стережет орел степной,
Их волки стерегут.
А в кишлаке звенит зурна,
Узбеки пляшут в лад,
И под чадрой поет жена...
Стрекочет аппарат.

Здесь конь промчится на закат,
Здесь ветер пропоет,
Но передвинут аппарат —
И перед ним завод.
Маховики кричат навзрыд,
И угольный нагар
Лопатой в топковой дыре
Колышет кочегар.

И, наклонившись над станком,
Спокоен и космат,
Нарезывает токарь винт...
Стрекочет аппарат.

Знамена в хвое молодой,
И в хвое юный мир,
Глядят веселые глаза
На шахматный турнир...

И в клубной зале человек,
Читающий доклад,
Стоит меж хвои голубой...
Стрекочет аппарат.

Суда уходят в океан,
В простор ночей и льда,
Их будет омывать рассол,
Им будет петь вода...

И ледовитая страна
Медведей и лисиц
Приветствует дымок из труб
Веселым визгом птиц.

Поднялись льдины над водой,
И сполохи горят —
Полощет вымпел судовой...
Стрекочет аппарат.

В певучей сутолоке толп
Иль там, где лес гудит,
Треножник аппарата встал,
И ручка дребезжит...
Взывает в рупор режиссер,
Юпитера горят.
Послушный мечется актер,
Стрекочет аппарат.

1925

1905

Еще не умолк пересвист гранат —
Не стаял в лугах туман,
Убитый еще не истлел солдат,
Где фанзы и гаолян.
Над желтой Цусимой японский флаг
Расцвел хризантемой злой, —
И, воя котлами, пошел «Варяг»
В подводный туман глухой...
Еще не окончился поход,
Солдатский не сгинул вал,
Как яростным призраком пятый год
Над скорбной землею встал...
Он вышел из черных фабричных дыр,
Из грохота мастерских
В клокочущий флагами юный мир,
В сверкание мостовых...
Он вышел на улицу,
в говор толп,
В раскатистый гул шагов,
Он шапку надвинул, —
вперед пошел
На яростный блеск штыков...
О выстрелы, песни;
вперед, вперед!

Нагайки и храп коней!
Над этой сумятицей пятый год,
Ты вырос еще грозней...
И слышно —
По селам идет молва:
«Народ в городах восстал,
На бой с государем встает Москва,
И Питер винтовку взял...»
Ой, волен и грозен мужичий дух,
Напорист, угрюм и крут, —
Ой, красный влетает, свистя, петух
В помещичий уют...
Матросская сила, гудит, вольна,
Сквозь ветер летит вперед, —
По Черному морю бежит волна,
Над морем туман встает...
Кружит над «Потемкиным» красный флаг,
В орудие вбит снаряд! —
Идешь — так удвой торопливый шаг,
Вперед — не гляди назад!
Всё смешано в гущу:
предсмертный стон,
Стрельбы закипевшей гром,
И в свисте нагаек, в огне икон
Худой и взлохмаченный поп Гапон,
Размахивающий крестом.
Всё свалено в яму...
Тяжелый шаг
Мятущихся толп умолк,
Изодран на клочья кровавый флаг,
Что выполнил грозный долг...
И ветер над скорбной землей поет:
«Где мощь твоя, пятый год!»
И розовой зорькой полощет рань:
«Ты спишь, подымись, восстань!»
Но воды идут, разбивая лед,
Но падает ярый гром,
Семнадцатый дышит над миром год,
Увенчанный Октябрем.

1925

СТИХИ О ПОЭТЕ И РОМАНТИКЕ

Я пел об арбузах и о голубях,
О битвах, убийствах, о дальних путях,
Я пел о вине, как поэту пристало...
Романтика! Мне ли тебя не воспеть,
Откинутый плащ и сверканье кинжала,
Степные походы и трубная медь...
Романтика! Я подружился с тобой,
Когда с пожелтевших страниц Вальтер Скотта
Ты мимо окна пролетала совой,
Ты вызвала криком меня за ворота!
Я вышел... Ходили по саду луна
И тень (от луны ль?) над листвой обветшалой...
Романтика! Здесь?! Неужели она?
Совою была ты и женщиной стала.
В беседку пойдем. Там скамейка и стол,
Закуска и выпивка для вдохновенья:
Ведь я не влюбленный, и я не пришел
С тобой целоваться под сизой сиренью...
И, тонкую прядь отодвинув с лица,
Она протянула мне пальцы худые.
— К тебе на свиданье, о сын продавца,
В июльскую ночь прихожу я впервые...
Я в эту страну возвратилась опять,
Дорог на земле для романтики мало;
Здесь Пушкина в сад я водила гулять,
Над Блоком я пела и зыбку качала...
Я знаю, как время уходит вперед,
Его не удержишь плотиной из стали,
Он взорван, подземный семнадцатый год,
И два человека над временем стали...
И первый, храня опереточный пыл,
Вопил и мотал головою ежастой;
Другой, будто глыба, над веком застыл,
Зырянин лицом и с глазами фантаста...
На площади гомон, гармоника, дым,
И двое встают над голодным народом.
За кем ты пойдешь? Я пошел за вторым —
Романтика ближе к боям и походам...
Поземка играет по конским ногам,
Знамена полнеба полотнами кроют.

Романтика в партии! Сбоку наган,
Каракуль на шапке зернистой икрою...
Фронты за фронтами.
Ни лечь, ни присесть!
Жестокая каша да сытник суровый;
Депеша из Питера: страшная весть
О черном предательстве Гумилева...
Я мчалась в телеге, проселками шла;
И хоть преступленья его не простила,
К последней стене я певца подвела,
Последним крестом его перекрестила...
Скорее назад! И товарный вагон
Шатает меня по России убогой...
Тут новое дело — из партии вон:
Интеллигентка и верует в бога.
Зима наступала колоннами льда,
Бирючьей повадкой и посвистом вьюжным,
И в бестолочь эту брели поезда
От северной стужи к губерниям южным.
В теплушках везла перекатная голь,
Бездомная голь — перелетная птица —
Менять на муку и лиманскую соль
Ночную посуду и пестрые ситцы...
Степные заносы, ночные гудки.
Романтика в угол забилась, как заяц,
В тюки с табаком и в мучные мешки,
Вонзаясь ногтями, зубами вгрызаясь...
Приехали! Вился по улицам снег.
И вот сквозь метелицу, злой и понурый,
Ко мне подошел молодой человек:
«Романтика, вы мне нужны для халтуры!
Для новых стихов не хватило огня,
Над рифмой корпеть недостало терпенья;
На тридцать копеек вдохните в меня
Гражданского мужества и вдохновенья...»
Пустынная нас окружает пора,
Знамена в чехлах, и заржавели трубы.
Мой друг! Погляди на меня — я стара:
Морщины у глаз, и расшатаны зубы...
Мой друг, погляди — я бездомная тень,
Бездомные песни в ночи запеваю,
К тебе я пришла сквозь туман и сирень, —

Такой принимаешь меня?
«Принимаю!
Вложи свои пальцы в ладони мои,
Старушечьей ниже склонись головою —
За мною войсками стоят соловьи,
Ты видишь — июльские ночи за мною!»

1925, <1929>

ПЕСНЯ ОБ УСТИНЕ

Ой, в малиннике малина
Листья уронила;
Ой, в Галичине Устина
Сына породила.

Родила его украдкой,
Спрятала в бурьяне,
Там, где свищет посметюха,
На степном кургане.

Там, где свищет посметюха,
За пустым овином,
Горько плакала Устина
Над казацким сыном.

Горько плакала, рыдала,
Полотном повила,
Обняла, поцеловала,
В реке утопила:

«Уплывай, девичье горе,
За ночь, в непогоду,
На черешневые зори,
На ясную воду.

Затяну я полотенцем
Молодые груди,
Чтобы силы материнской
Не видали люди».

По Дунаю дует ветер,
В дудку задувает,

Белый лебедь в очерете
Плещет на Дунае.

Ой Дунай, река большая,
Вода голубая.
А сыночек посередке
Плывет по Дунаю.

Голосит над ним чеграва,
Крылом задевая,
Вкруг него пером играет
Плотвиная стая.

По Дунаю дует ветер,
Дубы погоняет,
Рыжий крыжень в очерете
Крячет на Дунае.

А Устина под обрывом
И поет и стонет.
В очерет ее сыночка
Свежий ветер гонит.

«Уплывай, плыви, сыночек,
Задержись у млина,
Выйди мельник на плотину
Поглядеть на сына».

Брел по берегу охотник,
Очерет ломая,
Видит — лебедь или крыжень
Плывет по Дунаю.

Ой, не лебедь и не крыжень
Плывет к очерету,
То гуляет сын Устины
По белому свету.

Лупят билом языкатым
В луженую глотку:
«Собирайтеся, девчата,
К явору на сходку».

А под явором зеленым,
На скамье дубовой
Мертвый хлопец некрещеный
Под холстиной новой.

Бродит звон степной путиной
Налево, направо,
И на звон пошла Устина
Под зеленый явор.

С непокрытой головою
Побрела Устина
Через жито молодое —
Поглядеть на сына.

«Девушкой узнала горе,
Девушкою сгину,
Я пойду простоволосой,
Хустки не накину.

Я пойду простоволосой
Под зеленый явор.
Стань, любовь моя, налево,
Смерть моя — направо».

По дорогам, по откосам
Бой перепелиный...
И пришла простоволосой
К явору Устина.

Над холстиной наклонилась,
Отвела рукою;
Сквозь рубаху просочилось
Молоко густое.

Над своей детиной малой
Сукой мать завыла,
Полотенце разорвала,
Груди обнажила.

«Тресни, полотно тугое,
Разрывайся в клочья,

Падай, молоко густое,
На мертвые очи.

Молоком набухли груди,
Груди, не томите...
Я убила, добры люди,
Берите, вяжите».

Гей, шуми, зеленый явор —
Любовное древо...
Гей, Дунай-река — направо,
А сынок — налево.

Гей, шуми, дремучий явор,
Листвой говорливой...
Повели ее направо,
Сбросили с обрыва.

По Дунаю дует ветер,
Дубы погоняет,
Рыжий крыжень в очерете
Крячет на Дунае.

Гей, Дунай, река большая,
Вода голубая,
А Устина посередке
Плывет по Дунаю.

Голосит над ней чеграва,
Крылом задевая,
Вкруг нее пером играет
Плотвиная стая.

1925—1926

ЗАВОЕВАТЕЛИ ДОРОГ

Таежное лето — морошкин цвет
Да сосен переговор,
В болотистой тундре олений след,
Из зарослей — волчий взор...

Здесь чу́мы расшиты узором жил,
Берданка и лыжи — труд...
Здесь посвист и пение...
Старожил —
По дебрям бредет якут...

Ушастая лайка, берданка, нож,
Лопата или кирка...
Пушнину скрывает — лесная дрожь,
И золото — река...

В глухом бездорожьи тропинок нет.
У берега тайных рек
Рокочет тайга: «Потеряешь след»,
И падает человек...

Алдан за таежной лежит стеной, —
Его окружает гать,
Его охраняет медвежий вой
И стройная рысья стать.

И в княжество ветра,
В сосновый строй,
В пустынную тьму берлог,
В таежную тайну,
В чащобу хвой
Мы вышли искать дорог.

И не рудокоп,
А ученый здесь,
С лопатою и ружьем,
Оглядывая, вымеряет весь,
Где ляжет аэродром.

Скрипит астролябий штатив,
На планах — покрыт пробел,
Где ранее слышался вой тетив
И пенье тунгусских стрел...

Здесь ляжет дорога холстом тугим,
Здесь будет колесный путь,
На просеках вольных ночлегов дым
Разгонит ночную жуть.

Нас били дожди.
И тяжелый зной
На нас надвигался днем;
В холщовых палатках
Ночной порой
Мороз обжигал огнем...

Костистые кряжи вставали в ряд;
В низинах бродил туман;
Мы шли через горы, вперяя взгляд
В просторы твои, Алдан.

И в самый тревожный и грозный час,
Который, как горы, крут,
Якутия встретила песней нас,
Нас вышел встречать якут.

И мы необычный разбили стан,
Запомнившийся навек,
Средь пасмурных кряжей твоих, Алдан,
У русла потайных рек...

И час наступает...
Идет!.. Идет!..
Когда над таежным сном
Слегка накренившийся самолет
Прорежет туман крылом...

1926

ФЕВРАЛЬ

Гудела земля от мороза и вьюг,
Корявые сосны скрипели,
По мерзлым окопам с востока на юг
Косматые мчались метели...
И шла кавалерия, сбруей звеня,
В туман, без дороги, без счета...
Скрипели обозы... Бранясь и стеня,
Уныло топталась пехота...
Походные фуры, где красным крестом
Украшена ребер холстина...
И мертвые... Мертвые... В поле пустом,

Где свищет под ветром осина...
Бессмысленно пули свистали во мгле,
Бессмысленно смерть приходила...
В морозном тумане, на мерзлой земле
Народная таяла сила.
А в городе грозном над охрою стен
Свисало суконное небо...
Окраины дрогли. Потемки и тлен —
Без воздуха, крова и хлеба...
А в черных окраинах выли гудки,
И черные люди сходились...
Но доступ к дворцам охраняли штыки,
Казацкие кони бесились...
А улицы черным народом шумят,
Бушует народное пламя!
Вперед без оглядки — ни шагу назад!
Шагнешь — и свобода пред нами!..
С фабричных окраин, с фабричным гудком
Шли толпы, покрытые сажей...
К ним радостно полк выходил за полком,
Покинув постылую стражу...
Он плечи расправил, поднявшийся труд,
Он вдаль посмотрел веселее...
И красного знамени первый лоскут
Над толпами вился и реял...
На крышах еще не умолк пулемет,
Поют полицейские пули...
Ни шагу назад! Без оглядки вперед!
Недаром мы в даль заглянули...
А там погибает в окопе солдат,
Руками винтовку сжимая...
А там запевает над полем снаряд,
Там пуля поет роковая...
А в снежных метелях, встающих окрест,
Метался от Дна к Бологому
Еще не подписанный манифест,
Еще не исправленный промах.
Бунтуют фронты... Над землей снеговой
Покой наступает суровый...
Чтоб грянуло громче над сонной землей
Владимира Ленина слово...

1926

1871

С военных полей не уплыл туман,
Не смолк пересвист гранат...
Поверженный помнит еще Седан
Размеренный шаг солдат.
А черный Париж запевает вгюзь,
Предместье встает, встает, —
И знамя, пылающее, как кровь,
Возносит санкюлот...
Кузнец и ремесленник! Грянул час, —
Где молот и где станок?..
Коммуна зовет! Подымайтесь враз!
К оружию! К оружию! И пламень глаз —
Торжественен и жесток.
Париж подымается, сед и сер,
Чадит фонарей печаль...
А там за фортами грозится Тьер,
Там сталью гремит Версаль.
В предместьях торопится барабан:
«Вставайте! Скорей! Скорей!»
И в кожаном фартуке Сент-Антуан
Склонился у батарей.
Нас мало.
Нас мало.
Кружится пыль...
Предсмертный задушен стон.
Удар... И еще...
Боевой фитиль
К запалу не донесен...
Последним ударом громи врага,
Нет ядер — так тесаком,
Тесак поломался — так наугад,
Зубами и кулаком.
Расщеплен приклад, и разбит лафет,
Зазубрились тесаки,
По трупам проводит Галиффе
Версальские полки...
И выстрелов грохот не исчез:
Он катится, как набат...
Под стенами тихого Пер-Лашез
Расстрелянные лежат.

О старый Париж, ты суров и сер,
Ты много таишь скорбей.
И нам под ногами твоими, Тьер,
Мерещится хруп от костей..
Лежите, погибшие! Над землей
Пустынный простор широк.
Живите, живущие! Боевой
Перед вами горит восток.
Кузнец и ремесленник! Грянул час!
Где молот и где станок?
Коммуна зовет! Подымайтесь враз!
К оружию! К оружию! И пламень глаз
Пусть будет, как сталь, жесток!

1926

ЛЕНА

Он мрачен, тайгой порастающий край,
Сухими ветрами повитый;
Полярных лисиц утомительный лай
Морозные будит граниты.

Собачьи запряжки летят по снегам,
Железные свищут полозья
Под небом, припавшим к холодным горам,
Сквозь хвою в стеклянном морозе.

Здесь весны зеленой травой не цветут,
Здесь тайные, смутные весны,
Они по холодным дорогам идут
Туда, где граниты и сосны.

И Лена, покрытая тягостным льдом,
Прихода их ждет неизменно,
Чтоб, дрогнув, запеть над горючим песком,
Чтоб вешнею двинуться Леной.

Рабочие руки примерзли к кирке,
Глаза покрываются мутью...

Мороз еще крепок. На льдистой реке
Пурга завывает и крутит.

«В таежную тайну,
В чащобу снегов
Нас ночь погрузила сурово.
Довольно!
Средь этих морозных лесов
Мы гибнем без хлеба и крова».

У дикой реки, над песком золотым,
Где бьет по медведю винтовка,
Не северным светом — сияньем иным
Пылает в ночи забастовка.

«Товарищ! Над нами морозная ширь
Мерцает в полночном тумане,
За нами таежная встала Сибирь,
За нами восторг и восстанье».

Но ветры над Леной кружились в ночи,
Кружились и выли по-волчьи,
И в черных папахах пришли палачи,
Пришли и прицелились молча.

В лесистом краю, средь гранитных громад,
Где берега гулки уступы,
На льду голубом и на хвое лежат
Сведенные судоргой трупы.

Певучая кровь не прихлынет к щекам...
И гулко над снежным покоем
«Проклятье, проклятье, проклятье врагам», —
Бормочет морозная хвоя.

Но весны идут по медвежьим тропам,
Качают столетние сосны,
К проклятой реке, к ледяным берегам
Приходят свободные весны.

И мхом порастает прибрежный гранит,
Клокочет широкая пена,
И с новою силой летит и звенит
Раздолье узнавшая Лена.

1926

ИНАЯ ЖИЗНЬ

Огромною полночью небо полно,
И старое не говорит вдохновенье,
Я настежь распахиваю окно
В горячую бестолочь звезд и сирени.

Что ж.
Значит, и это пройдет, как всегда,
Как всё проходило, как всё остывало.
Как прежде, прокатится мимо звезда,
В стихи попадет и уйдет, как бывало.

И вновь наползет одинокий туман
На труд стихотворца ночной и убогий,
Развеются рифмы...
Но я на экран себе понесу и дела, и тревоги.

Квадрат из сиянья, квадрат из огня,
Сквозь сумерки зала, как снег, ледяные,
Пускай неуклонно покажут меня,
Мой волос густой и глаза молодые.

Я должен увидеть, как движется рот,
Широкий и резкий квадрат подбородка,
Движения плеч, головы поворот,
Наскучившую, но чужую походку.

Пускай на холодном пройдет полотне
Всё то, что скрывал я глухими ночами, —
Знакомые и неизвестные мне:
Любовная дрожь, вдохновения пламя...

Пускай, электрической силой слепя,
Мой взор с полотна на меня же и глянет;
Я должен,
Я должен увидеть себя,

Я должен увидеть себя на экране!
Кричи, режиссер, стрекочи, аппарат,
Юпитер, гори,
Разлетайтесь, потемки!
Меня не прельстят ваши три шестьдесят.
Я вдвое готов заплатить Вам за съемку.

1926

ТРАКТИР

Опыт лиро-эпической сатиры

ПОСВЯЩЕНИЕ 1 (ИРОНИЧЕСКОЕ)

Всем неудачникам хвала и слава!
Хвала тому, кто в жажде быть свободным,
Как дар, хранит свое дневное право
Три раза есть и трижды быть голодным!
Он слеп, он натыкается на стены,
Он одинок. Он ковыляет робко.
Зато ему пребудут драгоценны
Пшеничный хлеб и жирная похлебка.
Когда ж, овеяно предсмертной ленью,
Его дыханье вылетит из мира, —
Он сытое найдет успокоенье
В тени обетованного трактира.

ПОСВЯЩЕНИЕ 2 (РОМАНТИЧЕСКОЕ)

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне:
Припомним же попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.
Сырая ночь окутана туманом...
Что из того? Наш голос не умолк
В тех погребах, где юношам и пьяным
Не отпускают вдохновенья в долг.

Женаты мы. Любовь нас не волнует.
Домашней лирики приходит срок.
Пора! Пора!
Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.
И у сосновой струганой постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине
Веселые попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Чердак как чердак. Такой, на каком должен находиться поэт: разбитое оконце в паутине, груда дряни в углу и трехногий стол. От чердака к туманному небу вьется спираль лестницы, упирающейся в тучи. У стола, опустив голову на руку, сидит поэт. На авансцену выходит чтец.

Чтец

Сейчас пред вами, граждане, пройдут
Различные страдания поэта
И та награда, что ему досталась
Как результат томления и просьб...

Каждый раз, как звезды станут
По старинному ранжиру,
Как вечерней стужи сырость
В омут стекол постучит, —
Вон летит сквозь черепицы,
Сквозь прохладное дрожанье
Проводов, сквозь тучу галок
Голос бедного певца.
И в седьмом, по счету, небе
Голос вытянулся, вырос,
Натянулся, закачался,
Зазвенел, задохся, дрогнул,
Как стеклянная жила,
И, заслышав этот голос,
Молодой планеты голос,
Провидение в раздумьи
Стало бороду чесать...
И сквозь пальцы костяные
Борода рванулась книзу, —

Вниз посыпалась сквозь пальцы
Желтым сахарным песком.
В безвоздушном океане
Грянул голос Саваофа.
Он сказал:

Голос

Сойди, гонец послушный,
С небес на землю.
Там в пыли и прахе
Измученного отыщи певца
И за руку возьми и приведи
Его ко мне, в мой край обетованный.
Дай хлеб ему небесный преломить
И омочи его гортань сухую
Вином из виноградников моих.
Дай теплоту ему и тишину
И ложе брачное приуготовь,
Чтоб он вкусил безделие и отдых.
Сойди, гонец!

Чтец

И побежал к земле,
Крутясь волчком по лестнице спиральной,
Гонец ширококрылый. На него
Всё ближе надвигается Москва.
Ночь точно ворон. Тишина и темень
На крыши нахлобучены. Костяк
Безлюдных мостовых едва осыпан
Какими-то светилами и туго
Окручен ветром. Лишь на тротуар
Окно парчовой скатертью ложится.
И то не всюду. Камни лезут вверх
Уступами. Кирпичные отроги,
Бетонные обвалы, ледники
Из камня и цемента. Приглядись —
Покажется: альпийская звезда
Сейчас пройдет над синими горами,
Да вмиг осыплет млечная мука
Юнгфрау, и Монблан, и перекаты.
И если где-то, в пропасти, внизу,
Авто затрубит, кажется (иль это,

Быть может, въявь), что медный свой рожок
Пастух возносит к пожелтевшим звездам
И щеки раздувает, и в ответ
Коровы пробегают к водопою
По мостовой, рассыпав бубенцы...
(Малиновая перекличка дальних
Церквей, задвинутых в сырую темь...)
Гонец бежит... И не припомнишь Альп...
Дома, дома. И каждый камень лег
На предназначенное место. Узкий
Свет сыплется из-за прикрытых штор —
И ночь от этого еще чернее.
И ночь как ворон. Глушь и чернота.
Всё ниже, ниже, в царство чердаков,
В мир черных лестниц, по кошачьим лужам
Бежит гонец. И в паутине пыльной,
Среди помойных ведер и корзин,
Легко мелькают ясная одежда
И крылья распростертые его...
Так вот где пресловутая обитель
Голодных вдохновений! Вот она —
Свеча, торчащая в пустой бутылке,
С которой разговаривал поэт.
Так не зевай, гонец ширококрылый,
Грянь кулаком в незапертую дверь, —
Пусть он услышит голос избавленья
От голода и от земных скорбей!..

Стук в дверь.

Певец

Вот новое дело! Ясно гость!
Но кто? Не пойму никак.
Поэт, вероятно, прочесть стихи
И выкурить мой табак.
Двенадцатый час! Я не привык
Принимать у себя гостей!
Но если стучат — надо открыть...
Войдите! Не бойтесь! Эй!

Чтец

Наотмашь дверь! И в комнату идет
Веснушчатый, вихрастый и румяный

Рассыльный из трактира. И певец
Глядит на бойкое его лицо,
На щеки пылкие, как сок морковный,
На широко открытые глаза,
Промытые ветрами и дождем...

Певец

Неделю не пил я — моя голова
Крепка и трезва вполне...
По какому случаю половой
Пришел на чердак ко мне?..
Кустарною розой румянец щек,
Бутылочный глянец глаз...
Что вам угодно?

Гонец

Хозяин мой
Приглашает на ужин вас...

Певец

По внешнему виду хозяин ваш
Трактирщиком должен быть.
Но я — не Виллон, и я не хочу
Кабацким гением слыть...
Я — просто поэт. Я пишу стихи,
Над рифмой корплю, тружусь.
Меня не читают!

Гонец

Хозяин мой
Вас выучил наизусть...
Он вас приглашает. Стакан вина,
Яичница, ветчина,
Подобная пища для вас вполне
Пригодною быть должна.
Теплее оденьтесь. Осенний дождь
Вас может смочить в пути...

Певец

Мне только бы шарфом закутать грудь
Да шапку свою найти!

Чтец

Они идут от чердаков ночных,
От мокрых крыш, от труб, набитых сажей,
От визга кошек, чтения стихов,
От колокольной болтовни — всё выше
По лестнице, скрутившейся в спираль.
Шатаются истертые ступени
Под их ногой. И уцепился крепко
За пальцы провожатого певец.
Врываясь в небо, в кашу облаков,
Раскачиваема студеным ветром,
Спираль уносит в сумерки гонца,
И падая, и оступаясь вниз,
И за руку вожатого хватаясь,
Поэт идет всё выше, выше, выше,
От въедливого холода дрожа.

Певец

Ну и дорога! Скользит нога,
И ветер кидает в дрожь.
Ежели рухнешь, как ни трудись,
Костей не соберешь!

Гонец

Не трусь! Не оглядывайся назад!
Держи за рукав меня!

Певец

Мне страшно. Зачем я на этот путь
Чердак свой променял!..

Откуда-то, — может, сверху, а может, снизу, — песня. Неизвестно, кто поет: ангелы или беспризорные.

ПЕСНЯ:

Жил на свете мальчишка,
Мальчишка озорной...
Он уехал на чужбину
Из страны своей родной.
Заниматься, учиться,
Книжки разные читать,
Чтоб потом научиться,

Как людям помогать. . .
Чтобы стать инженером,
Музыкантом, врачом,
Командиром, рабкором
Или красным бойцом.
А на чужбине, известно,
Люди — злыдни вполне,
И заскучал наш мальчишка
В чужедальней стране. . .
Ах! румянца уж нету,
Нету прежней красы,
Распоролись штиблеты,
Повылазили усы. . .
Ах! Трудился он сначала,
Ах! Он книжки читал.
От занятий он помалу
И чахотку споймал.
Тает он, точно свечка,
Слезы горькие льет;
Никакая мамаша
До кроватки не придет.
Вам, граждане, понятно:
Сгиб мальчишка озорной,
И его закопали
За могильной стеной.
А на гроб положили
Только шапку его,
Две учебные книжки,
И больше ничего.
К озорному мальчишке
Уж никто не придет.
Над могилкой одинокой
Соловей пропоет.

Чтец

Конец дороге! Лестница в провал
Обрушилась. И перед ними враз
Раздергиваются облака, треща,
Как занавес из коленкора. Свет
От фонаря, прикрученного к двери,
Горячей пылью сыпанул в глаза.
И неуклюжей вывески квадрат

Певец разглядывает с любопытством.
Там раздраконены малярной кистью:
Оранжевая сельдь на синем блюде,
Малиновая колбаса в сияньи
Яичных чашек, вставших в полукруг.
А в лакированной лазури вырос
Воздушным шаром, в белой оболочке,
Грудастый чайник с розой на боку.
Над ними буквы бросились вразлет:
«Заезжий двор — Спокойствие Сердец»,
А поглядишь в откинутую дверь, —
Губу закусишь, чтоб слюна вожжою
Не потекла, чтоб не сосал язык.
Известкою и синькою по стенам
Прошла побелка, осыпая снегом
Пивные бочки, где бушует хмель,
Зажатый досками до судорог. Трещат
Ободья от напора. Только пальцем
Дотронешься до кляпа — и взлетят
На воздух бочки, разлетаясь желчью,
Пернатой пеной, клочьями досок.
А посредине комнаты поставлен
Стол, будто слон. И ножки у стола —
Слоновьи, каменные. На столе ж
Кусками мрамора застыло сало;
Копченых рыб просоленная медь;
Тугих колбас кровавые дубины;
Котлы, где жирною смолой икра;
Скуластых яблок ржавь; и головастый
Голландский сыр, как сифилитик, в язвах
И в оспинах, откуда нежный гной
Стекает на расписанное блюдо.
А за столом, довольные, сидят
На стульях гости. Чайники вокруг,
Как голуби ленивые, порхают...
И чай, журча, бежит по чашкам. Вот
Куда пришел певец! И, как тромбон,
Гонец воскликнул:

Гонец

О, поэт, иди!
Усядься с ними. Всё, что ты просил,

На сто процентов сделано. Бери
Любую чашку, режь любой кусок:
Вот самая прекрасная награда,
Других наград тебе, певец, не надо!

1926

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ

По этому шоссе на восток он шел,
Качались шапок медведи;
Над шапками рвался знаменный шелк,
Над шелком — орлы из меди...
Двадцать языков — тысячи полков,
Набор амуниций странных.
Старая гвардия ледышками штыков
Сверкала на русских курганах.
И русские сосны и русская трава
Слушали вопли:
«Виват! Виват!»
И маршалы скакали, дразня коней:
Даву, Массена, Бернадот, Ней...
И впереди, храпя, как олень,
Целого медведя сбив набекрень,
Этим сияющим соснам рад,
Весь в бакенбардах летел Мюрат...
Москва перед глазами —
Неаполь позади!
Победе виват!
Не изменявшей никогда!
Чудо космографии на его груди:
Южный Крест и Полярная звезда...
А в старом тарантасе,
Который пропах
Цирюльничьим мылом и потом,
На твердых подушках сидит Бонапарт
И смотрит, как тихо качается пар
Вдали — над шоссе и болотом...
И серый сюртук, и белый жилет
(Скромна полководцев порода),
И круглый живот дрожит, как желе,

И вздрагивает подбородок...
Хозяйственным скрипом скрипит тарантас...
И вот над шоссе пропыленном —
Москва, как огромный иконостас,
Встает за горой Поклонной.
Она неприступна:
Приди и возьми
(Он слышит: не кони ль заржали?)
Булыжником грохнет, укусит дверьми,
Грошовой свечой ужалит.
И сабля вырастет из ветвей
(Он слышит: не ветры ли кличут?),
Недаром ему купола церквей
В глаза кукишами тычут...
Москва придавит периной снегов
Простор, что пушками оран, —
И вместо французских медных орлов
Прокаркает русский ворон!..
И в снежной и в одичалой красе
Снова пустынным станет шоссе...

. . . .

Мы чествуем нежную почесть травы,
Покрывшую честные гробы.
Гремя по ухабам, на приступ Москвы
Идет покоритель — автобус.
Он ливнем промыт, он ремонтом пропах,
Он движется с ветром вместе:
Ведет он, как некогда вел Бонапарт,
Людей из веселых предместий.
Нас двадцать языков — мы рядом сидим,
За нами лесов зацветающий дым.
Мы знаки окраин приносим в Москву:
На кузове — пыль,
На колесах — траву.
Шипучим ознобом стучит по ногам
Бензин, разогнавший колеса;
Ломятся в окна под грохот и гам
Стада, озера, покосы.
И легкие наши полны до краев
Студеною сыростью лугов...
Пусть рыбы играют в заросших прудах,

Пусть птицы стрекочут на проводах, —
За крышей трактира постылого
Мы видим Дорогомилово...
И щучьим веленьем встают по бокам
Свинец нефтебаков и фабрик бакан...
Нам город готовит добротный уют,
Трамвайных алфавитов пляски,
Распахнуты рынки,
И церкви встают,
Как добрые сырные пасхи...
Бензиновый ветер нас мчит по Москве,
С разлета выносит на площадь,
Где, нашим разведчиком выбежав, сквер
Шумит подмосковною рощей...
И в сброде зеркал и слоновьих шин,
В расхлестнутом масляном студне,
Казарма автобусов, лагерь машин,
Кончает солдатские будни.

1928

НОВЫЕ ВИТЯЗИ

Нездешняя тишь проплыла на закат,
Над скалами, над ледоколом.
Гористые льды неоглядно лежат
Пустынным стеклянным заводом.
Какая студеная ясная лень...
И в холод полярных наследий,
В чудовищный и нескончаемый день
Голодные воют медведи.
Иголками тлеет морозная пыль;
Обрывы острее, чем сабли...
Найдешь ли в просторах, где морок и штиль,
Бездомных людей с дирижабля?..
Мороз их кусает, иссякла вода,
В подсумке зарядов не стало.
И мерзлое небо стоит, как слюда,
И синие стынут провалы.
О голод, о белая смерть, твой полет
Над этой безумной ледынью
Звериною лапой по сердцу скребет,
И сердце от ужаса стынет...

Полярною чайкой тревожится лень
Студеных оскалов и пастей;
И воют в огромный сияющий день
Медведи невиданной масти.
Но птицы взлетают, и прячется зверь,
Трещит леденистое сало...
Какие певцы нам расскажут теперь
Про новую Калевалу?
Как путник, заброшенный в мертвые льды,
В угодья полярной лисицы,
Увидел пылающий очерк звезды
На крыльях рокочущей птицы.
Советских пилотов внимательный глаз
И крыльев разлет ястребиный
Войдут ли опять в героический сказ,
В певучую повесть былины?..
Не витязи нынче выходят на бой,
Броней громыхая тяжелой,
То в солнце дымит пароходной трубой
Утробная мощь ледокола.
Пред взятыми на борт опять бытие
Свои развернуло страницы...
...Простая еда и простое питье,
Простые веселые лица...
И люди, прошедшие тысячу миль,
Видавшие гибель и вьюгу,
Расскажут о том, как в трагический штиль
Они увидали друг друга.
Быть может, спасенный, всегдашний наш враг,
Увидит над морем ужасным
Горящий на мачте пурпуровый флаг,
Летающий пламенем ясным...
И в мертвых морях, где туманы легли,
Где полдень невиданно долог,
Их встретит обломок Советской Земли,
Советского края осколок...
И птицы летят, и скрывается зверь,
Трещит леденистое сало...
Какие певцы нам расскажут теперь
Про новую Калевалу?..

1928

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

> Почти наверняка тунгусский метеорит содержит около 20 000 000 тонн железа и около 20 000 тонн платины.
>
> *(Из газетной статьи)*

1

В неведомых недрах стекла
Исходит жужжаньем пчела.
Всё ниже, и ниже, и ниже, —
Уже различаешь слова...
Летит и пылает и брызжет
Отрубленная голова.
Чудовищных звезд напряженье,
И судорога, и дрожь;
Уже невтерпеж от гуденья,
От блеска уже невтерпеж.
И в сырость таежного лета,
В озера, в лесные бугры
В горящих отрепьях комета
Летит — и рыдает навзрыд.

2

Тогда из холодных болот
Навстречу сохатый встает.
Хранитель сосновых угодий,
Владыка косматых лосих, —
Он медленным ухом поводит,
Он медленным глазом косит,
Он дует шелковой губой,
Он стонет звериной трубой,
Из мхов поднимая в огни
Широких рогов пятерни.
Он видит: над хвойным забором,
Крутясь, выплывает из мглы
Гнездовье из блеска, в котором
Ворчат и клекочут орлы.
И ветер нездешних угодий
По шкуре ожогом проходит,
И льется в тайгу из гнезда
Багровая злая вода.

Лесов огневые ворота
Встают из крутящейся мглы,
Пожар подымает болота
И в топь окунает стволы.
Играет огонь языкатый
Гадюкой, ползущей на лов,
И видит последний сохатый
Паденье последних стволов.

3

Медведя и зверя — туга...
О ком ты взыскуешь, тайга?
Как мамонт, встает чернолесье,
Подняв позвонки к облакам,
И плюшевой мерзостью плесень
По кряжистым лезет бокам.
Здесь ястреб гнездовья строит,
Здесь тайная свадьба сов,
Да стынет в траве астероид,
Хранимый забором лесов.
На версты, и версты, и версты
Промозглым быльем шевеля,
Покрылась замшелой коростой
В ожогах и язвах земля...
Но что пешеходу усталость
(О, черные русла дорог!) —
Россия за лесом осталась,
Развеялась в ночь и умчалась,
Как дальнего чума дымок.
Бредет он по тропам случайным —
Сквозь ржавых лесов торжество;
Ружье, астролябия, чайник —
Нехитрый инструмент его.
Бредет он по вымершим рекам,
По мертвой и впалой земле.
Каким огневым дровосеком
Здесь начисто вырублен лес,
Какая нога наступила
На ржавчину рваных кустов?
Какая корявая сила
Прошла и разворотила

Слоистое брюхо пластов?
И там, где в смолистое тело,
Сосны древоточец проник, —
Грозят белизной помертвелой
Погибших рогов пятерни.
Кивает сосенник синий,
Стынет озер вода;
Первый предзимний иней
Весь в звериных следах.
Волк вылазит из лога
С инеем на усах...
Да здравствует дорога,
Потерянная в лесах!

4

Тунгуска, тихая река,
Не выдавай плотовщика.
Плоты сквозь дебри протащив,
Поет и свищет плотовщик.
На Туруханск бежит вода,
На Туруханск плывет руда,
По берегам шумит сосна,
По берегам идет весна.
Медвежья вешняя туга...
О ком взыскуешь ты, тайга?

1928

ВСЕВОЛОДУ

Он свечкой поднялся...
Рванулся вперед...
Качнулся налево, направо...
С налета
Я выстрелил... Промах!
Раскат отдает
Дрогнувшее до основания болото.
И вдруг неожиданно из-за плеча
Стреляет мой сын.
И, крутясь неуклюже,

Выкатив глаз и крыло волоча,
Срезанный дупель колотится в луже.
Он метче, мой сын.
Молодая рука
Верней нажимает
Пружину курка,
Он слышит ясней перекличку болот,
Шипенье крыла, что по воздуху бьет.
Простая машина — ружье.
Для меня
Оно только средство стрельбы и огня.
А он понимает и вес, и упор,
Сцепленье пружин, и закалку, и пробу,
Он глазом ощупал полет и простор,
Он вскинул как надо —
И дупеля добыл.
Машина открылась ему.
Колесо,
Не круг, проведенный пером наудачу;
Оно, завертевшись, летит и несет
Ветром ревущую передачу.
Хозяин машины —
Он может слегка
Нажать незаметный упор рычажка,
И ладом неведомым,
Нотой другой,
Она заиграет под детской рукой.
Хозяин природы,
Он с черных лесов
Ружейным прикладом сбивает засов,
И солнце выводит над студнем реки
Туч табуны и светил косяки.
А ветер, летящий по хвоям косым,
В чапыжнике ноет пчелиной трубою...
Ведь я еще молод!
Веди меня, сын,
Веди меня, сын, — я пойду за тобою.
Околицей брел я,
Пути изменял,
Мечтал — и нога заплеталась о ногу,
Могучее солнце в глазах у меня:
Оно проведет и просушит дорогу.

Мое недоверие, сын мой, прости,
Пусть мимо пройдет молодое презренье;
Я стану как равный на вольном пути,
И слух обновится, и голос, и зренье.
Смотри: пролетает над миром лугов
Косяк журавлей и курлычет на страже;
Дымок, заклубившийся из очагов,
Подернул их перья нежнейшей сажей.
Они пролетают из дальних концов,
В широкое солнце вонзаются клином. . .
И мир приподнялся и блещет в лицо,
Зеленый и синий, как перья павлина.

1929

СОБОЛИНЫЙ СЛЕД

Под сосенником высоким,
Где дрожит весенний зной,
Дом поднялся к лесу боком,
Отливая смольным соком —
Маслянистой желтизной.

Постучи в калитку смело,
Огляди широкий двор.
Клетки, клетки... Краской белой
Густо выкрашен забор.

В клетках шум и толкотня,
Визг, веселая возня.

На зверей глядит сурово,
Ходит по двору один
Зоотехника Петрова
Двенадцатилетний сын.

Он подходит к каждой клетке,
Он подбрасывает ветки,
И копается рукой
Он в подстилке травяной.

В каждой клетке разный зверь.
Разберись-ка в них теперь!

Черно-бурая лисица,
Белогрудая куница
И серебряный песец...

А теперь гляди-ка в оба:
Легкий, тонкий черный соболь
Вьется в клетке, как вьюнец...

Мех невиданной окраски,
Лапок легкие следы,
И блестят на морде глазки,
Словно капельки воды.

«Сева, накорми зверье, —
Вот занятие твое».

Сева дверку настежь... Вдруг,
Проскользнув ужом меж рук,
Засверкав пушистой искрой,
Как дымок, как пух, как выстрел,
Через колья, в дебри, в лог
Пролетает соболек.

ПЕСНЯ СЕВЫ

Обманул меня звереныш, обманул,
Из питомника в чащобу ускользнул.

Что мне делать? Я не знаю, как мне быть.
Надо соболя по следу проследить.

Юрк хвостом — и соболь на сосне,
Скалит зубы, машет лапкой мне.

Что ж, я с лайкой двинусь по следам:
Соболя я лесу не отдам.

Месяц, год, неделя — всё равно,
Буду рыскать, не жалея ног.

Эй, Тунгус, мой остроухий пес!
Подыми на ветер влажный нос.

Ты хвостом-калачиком взмахни.
Начинаются большие дни.

Лес пойдет на нас со всех сторон.
В путь дорогу! Начинаем гон.

И Сева надевает
Большие сапоги,
Засовывает в сумку
С печенкой пироги.

С ушастою собакой,
Отчаянной кусакой,
С берданкой за плечом
Идет он напролом.

А лайка водит носом,
Кружится, как юла;
Вдруг запах прихватила,
Рванулась... повела...

По буеракам, в дебри,
В кусты, через ручей
Стремглав несется лайка,
И Сева вслед за ней.

А наверху по веткам,
На ощупь, без дорог,
Летит полетом легким,
Как птица, соболек.

ЧТО ДУМАЕТ ЛАЙКА

Подыму я по ветру нос:
Откуда-то зверем дует.
Я старый охотничий пес —
Охотника не подведу я.
Я зверя не вижу. Впотьмах
Я нюхом его ощущаю.

Каждый кустик зверем пропах,
Здесь он, здесь он — я это знаю...
Буду гнаться за ним три дня,
Буду шарить и лаять буду.
Не уйти ему от меня,
Всё равно я его добуду.

ЧТО ДУМАЕТ СОБОЛЬ

Бежать, бежать, бежать,
Кружиться, подыматься,
Скользить, лететь, скакать
Опять, опять, опять!

Цепляться и срываться,
Скорей, скорей, скорей
Скользнуть промеж ветвей,
Нырнуть в густую хвою,
Исчезнуть в пустоте,
Чтоб пес, скуля и воя,
Застрял в сыром кусте.

Собью собаку с толку,
Мальчишку уведу
В трущобу, в зубы волку,
К проклятому пруду.
Скорей, скорей, скорей
Скользнуть промеж ветвей!

Оседает муть тумана,
Чуть потрескивает прель...
Вот последняя поляна
И растрепанная ель...

Пробежав поляну вмиг,
Соболь съежился и — прыг!

Ну, живее, налетай-ка,
Не мечтай и не зевай, —
Зверь на месте... Ну-ка, лайка,
Звонко соболя облай!

Он и съежился и сжался,
Он сильней к коре прижался.

Не уйти ему никак,
Не исчезнуть без обмана:
Перед елкою поляна,
Стережет под елкой враг.

ЧТО ДУМАЕТ СЕВА

Стрелять не годится —
Можно убить.
На дереве соболя
Не ухватить.

Пойду я в деревню
Ближайшей дорогой:
Быть может, охотники
Делу помогут.
Ты, лайка, сиди,
За зверем следи.

И охотники Севуше помогли:
Сеть широкую в корзине принесли,
Ель окутали — не выйти нипочем;
Ствол широкий подрубили топором.
Как ни прыгнешь — некуда уйти,
Кувыркайся да барахтайся в сети.
Не играть тебе, приятель, меж ветвей,
Возвращайся-ка в питомник поскорей.
Севка, братец, он хотя и мал,
А нашел тебя, догнал, поймал.

В питомнике работа
Идет не умолкая,
И Сева ходит важно
Среди своих зверей.

Хоть соболь, как известно,
Детей не вывел в клетке,
Но Сева твердо знает:
Не пропадает труд...

Дадим побольше клетку,
Найдем получше пищу,
Мозгами пораскинем
И выведем зверей.

1929

* * *

Итак — бумаге терпеть невмочь,
Ей надобны чудеса:
Четыре сосны
Из газонов прочь
Выдергивают телеса.
Покинув дохлые кусты
И выцветший бурьян,
Ветвей колючие хвосты
Врываются в туман.
И сруб мой хрустальнее слезы
Становится.
Только гвозди
Торчат сквозь стекло
Да в сквозные пазы
Клопов понабились грозди.
Куда ни посмотришь:
Туман и дичь,
Да грач на земле, как мортус.
И вдруг из травы
Вылезает кирпич
Еще и еще!
Кирпич на кирпич.
Ворота. Стена. Корпус.
Чего тебе надобно?
Испокон
Веков я живу один.
Я выстроил дом,
Придумал закон,
Я сыновей народил...
Я молод,
Но мудростью стар, как зверь.
И с тихим пыхтеньем вдруг,
Как выдох,

Распахивается дверь
Без прикосновенья рук.
И товарищ из племени слесарей
Идет из этих дверей.
(К одной категории чудаков
Мы с ним принадлежим:
Разводим рыб —
И для мальков
Придумываем режим.)
Он говорит:
— Запри свой дом,
Выйди и глянь вперед:
Сначала ромашкой,
Взрывом потом
Юность моя растет.
Ненасытимая, как земля,
Бушует среди людей,
Она голодает,
Юность моя,
Как много надобно ей.
Походная песня ей нужна,
Солдатский грубый паек:
Буханка хлеба
Да ковш вина,
Борщ да бараний бок.
А ты ей приносишь
Стакан слюны,
Грамм сахара
Да лимон,
Над рифмой просиженные штаны —
Сомнительный рацион...
Собаки, аквариумы, семья
Вокруг тебя, как забор...
Встает над забором
Юность моя.
Глядит на тебя
В упор.
Гектарами поднятых полей,
Стволами сырых лесов
Она кричит тебе:
Встань скорей!
Надень пиджак и окно разбей,

Отбей у дверей засов!
Широкая зелень
Лежит окрест
Подстилкой твоим ногам! —
(Рукою он делает вольный жест
От сердца —
И к облакам.
Я узнаю в нем
Свои черты,
Хотя он костляв и рыж,
И я бормочу себе:
«Это ты
Так здорово говоришь»).
Он продолжает:
— Не в битвах бурь
Нынче юность моя,
Она придумывает судьбу
Для нового бытия.
Ты думаешь:
Грянет ужасный час!
А видишь ли, как во мрак
Выходит в дорогу
Огромный класс
Без посохов и собак.
Полна преступлений
Степная тишь,
Отравлен дорожный чай...
Тарантулы... Звезды...
А ты молчишь?
Я требую! Отвечай! —

И вот, как приказывает сюжет,
Отвечает ему поэт:

— Сливаются наши бытия,
И я — это ты!
И ты — это я!
Юность твоя —
Это юность моя!
Кровь твоя —
Это кровь моя!
Ты знаешь, товарищ,

Что я не трус,
Что я тоже солдат прямой,
Помоги ж мне скинуть
Привычек груз,
Больные глаза промой! —
(Стены чернеют.
Клопы опять
Залезают под войлок спать.
Но бумажка полощется под окном:
«За отъездом
Сдается внаем!!»)

1930

О ЧЕМ ОНИ МЕЧТАЛИ

От груза наклонясь,
В сияющих рубашках и поддевках суконных,
Два ражих лабазника, утаптывая грязь,
На белом полотенце несут икону...
И матерый лишенец с размаху хлоп
В грязь — и жадно протягивает руки...
Обезьяна из чиновников крестит лоб,
Лезут приложиться свирепые старухи...
Всё, что попряталось в клопиные углы,
Всё, что шипело и бормотало,
Копило и связывало в узлы,
Вредило, обманывало и крало,
Всё это ждало вот этих дней,
В пеньи попов и трехцветной славе...
Есть ли на свете что-нибудь гнусней
Торговца, готового к расправе.
Убийства недостаточно!
Он должен сперва
Душу по капельке выпустить из тела,
Вытянуть жилы за попранные права,
За отобранную дачу и прилавок опустелый...
Это его оголтелое лицо,
Зубы, оскаленные неукротимо,
Глаза, налитые густым свинцом,
Я увидал на скамье подсудимых.
Брат мой, сосед мой, товарищ мой,

Ты руку свою положи на плечо мне...
Мы вместе идем сквозь холод и зной,
И воздух ясней, и счастье огромней,
Каждый из нас, забыв о себе,
Может, неловко и неумело,
Кусая губы, хрипя в борьбе,
Делает лучшее в мире дело...
Это наше зрение в проводах
Зажигает лампы воспаленные грозди,
Это наше сердце рычит в котлах,
Это наши кости вбиты, как гвозди...
Социализм! Я вижу его!
Можно ль подкупленными рабами
Хотя б на миг задержать торжество
Истории, подымающей знамя.
Кайтесь, подсудимые: моя вина...
Воду отпивайте жадными глотками...
Пуанкаре-Война. Пуанкаре-Война.
Пуанкаре-Война встает за вами...
Орлы и львы заметались на гербах...
Сенегальские стрелки выстроились в роты.
Мулы кричат. На верблюжьих горбах
Мерно подрагивают пулеметы...
Французский истребитель на бешеной заре
Отпечатан черным фашистским знаком...
Усы разгладив, Пуанкаре
Снимает цилиндр, отливающий лаком...
Он говорит.
— Солдаты, вперед!
Всё приготовлено! Время настало!
Руками рабочих построенный завод
Теперь заработает во славу капитала.
Поэты! За дело во имя войны...
Художники! Мажьте дружней кистями.
Нас приветствуют Рамзины
Новыми фабриками и мостами...
Он голосит, разъяренный адвокат,
Брызжет слюной, задыхается, бормочет...
Но на врага — штыки...
...Каждый солдат
Заранее знает, чего он хочет...

. . . .

Вот они расселись, восемь врагов...
Какое внимание на лицах напряженных.
Их окружает сияние штыков,
Выкованных нами и заостренных.
На черной, на морозной, на гулкой земле
Колонный зал обагряется светом.

. . . .

Семь в обойме,
Восьмой в стволе —
Должны быть нашим ответом.

1930

ЗВЕЗДА МОРДВИНА

1

МОРДОВСКАЯ ПАСЕКА

Мордовская пасека — вот она.
Вокруг дубняк, березняк, сосна.
Сюда летит, от взятка тяжела,
Большая, злая лесная пчела.
В бормотании пчел, от села вдали,
Поколенья людей в тишине росли.
В чащобах росли, как стая берез.
«Зачем колхоз? Не пойдем в колхоз!
Молоко есть; медку наберем;
Медведя на мясо зимой убьем.
Топлива много: сушняк, дрова...
Мы мокша-народ, лесная мордва...»
И дети росли у этих людей:
Лесовики — Иван да Андрей.
Их обучал волосатый дед,
Как находить лосиный след.
«Вот, — говорил он, — в этом бору
Лось бродил весной поутру,
А в этих осинах — рябчиков рой.
В дудку подуй, подлетит — стреляй!»
Ребята купались в лесной реке,
Гонялись за утками в челноке,
Собирали грибы, росли, как трава.
Мокша-народ, лесная мордва.

2

«ЗВЕЗДА МОРДВИНА»

Вдоль реки пройди немного
(Вправо будет луговина)
И упрешься лбом в дорогу
На колхоз «Звезда мордвина».

3

КОЛХОЗНИКИ ГОВОРЯТ

В колхозе крестьяне говорят:
«Очень много по лесам ребят
На мордовских пасеках дремучих,
По землянкам у болот зыбучих.
Ты, учитель, по лесам пройди,
Отыщи ребят и приведи».

4

УЧИТЕЛЬ В ЛЕСУ

Страшно в лесу. Учитель идет.
Через чапыгу, вперед, вперед.
Пора и домой. А лес бестолков.
Как ни считай, не сочтешь стволов.
Осинник дрожит, скрипит березняк.
Вечер идет, наползает мрак.
Что-то в кустах, сопя, поднялось,
Кто его знает, медведь или лось.
Мимо лица метнулась сова.
«Ну, и забралась в леса мордва!»
И вдруг вдалеке, где темным-темно,
Как желтый цветок, расцвело окно.

5

УЧИТЕЛЬ НА ПАСЕКЕ

Не встать в середке хаты —
Упрешься головой.
Рогатые ухваты
У лавки угловой.
И сажи черный слой
Налетом пухлой ваты
Лежит в избе курной...

Глядят из-за дверей
Ванюха и Андрей.
Учитель под лучиной
Хлебает молоко
И говорит: «Мордвину
Теперь совсем легко.
Пускай придут ребята
К нам в школу поскорей».
Глядят из-за дверей,
Сопя, как лисенята,
Ванюха и Андрей.
Учитель говорит:
«Пошлешь?» Отец молчит.
Мигает и ворчит
Лучина смоляная.
«Другого нет пути.
Они должны пойти.
Они пойдут! Я знаю!»

6

ШКОЛЬНЫЙ ПОХОД

Так начинается поход:
Ветер листву метет.
Громче кричит по ночам сова,
Жухнет в лугах трава.
Осень идет. Осень идет...
Первый школьный поход.
Андрей и Ванюха на челноке
Спускаются по реке.
От старой пасеки вниз, к лугам,
К веселым людским домам,
Мимо стогов, мимо берез,
Вниз по реке, в колхоз.
Не острога в челноке у них,
Им незачем плыть на ток:
Тетрадки, ручка да пара книг
Завернуты в платок.
И сами песню сложили они
Про свои молодые дни:
«Сильней верти веслом,
Гони челнок вперед,

По веткам напролом,
Через камыш болот.
Скользи, челнок, скорей,
Лети, челнок, в туман...
Верти веслом, Андрей!
Держись за борт, Иван!
Мы из народа мокша,
Плывем за наукой в школу.
Большое солнце навстречу
Летит, словно гусь тяжелый.
Охотники молодые,
Мы выплыли до зари.
Работать по-настоящему
Научат нас буквари.
Мы будем читать газеты,
Машинами управлять,
Из пушки, из трехлинейки
Прицеливаться и стрелять.
Мы пионерами станем,
В галстуках, как рябина.
Отца перетащим с пасеки
Работать в «Звезду мордвина».
Из этих болотин мрачных
Мы сделаем край веселый...
...Мы из народа мокша,
Плывем обучаться в школу.
Скользи, челнок, скорей,
Лети, челнок, в туман...
Верти веслом, Андрей!
Держись за борт, Иван!»

7

В ШКОЛЕ

Взгляни — какое окно.
Пол — какой аккуратный!
Как чисто подметено,
Даже неприятно!
К стене прибиты флажки
Краснее ягоды клюквы.
Учитель стоит у доски,
Осторожно выводит буквы...

А — точь-в-точь как шалаш, Иван.
Б — как белка с хвостом, ей-ей!
В — лежит, как большой капкан.
Г — совсем как багор, Андрей.

8

ЧТО БУДЕТ С РЕБЯТАМИ

Весною и осенью по реке
Ребята спускаются в челноке.
Зимою на лыжах идут они.
Темно, только в школе горят огни.

Годы пройдут. Подрастете вы.
Приедете взрослыми из Москвы.
Иван — инженер, Андрей — агроном.
Ах, надо б увидеть родимый дом!
Дорога раскатана... Ближе... Вот!
Колхозная пасека в тыщу колод.
Деревянный дом. На доме — звезда.
Над звездой — певучие провода.
Собака залает, как бубенец.
Навстречу пасечник — ваш отец.
Он вам приносит в миске гречишный мед.
Хлопает по плечу, поет...
А вокруг на разные голоса
Смеются расчищенные леса...

1930

РАЗГОВОР С СЫНОМ

Я прохожу по бульварам. Свист
В легких деревьях. Гудит аллея.
Орденом осени ржавый лист
Силою ветра к груди приклеен.
Сын мой! Четырнадцать лет прошло.
Ты пионер — и осенний воздух
Жарко глотаешь. На смуглый лоб
Падают листья, цветы и звезды.
Этот октябрьский праздничный день
Полон отеческой грозной ласки,

Это тебе — этих флагов тень,
Красноармейцев литые каски.
Мир в этих толпах — он наш навек...
Топот шагов и оркестров гомон,
Грохот загруженных камнем рек,
Вой проводов — это он. Кругом он.
Сын мой! Одним вдохновением мы
Нынче палимы. И в свист осенний,
В дикие ливни, в туман зимы
Грозно уводит нас вдохновенье.
Вспомним о прошлом...
Слегка склонясь,
В красных рубашках, в чуйках суконных,
Ражие лабазники, утаптывая грязь,
На чистом полотенце несут икону...
И матерый купчина с размаху — хлоп
В грязь и жадно протягивает руки,
Обезьяна из чиновников крестит лоб,
Лезут приложиться свирепые старухи.
Пух из перин, как стая голубей...
Улица настежь распахнута... И дикий
Вой над вселенной качается: «Бей!
Рраз!» И подвал захлебнулся в крике.
Сын мой, сосед мой, товарищ мой,
Ты руку свою положи на плечо мне,
Мы вместе шагаем в холод и зной,
И ветер свежей, и счастье огромней.
Каждый из нас, забыв о себе,
Может, неловко и неумело,
Губы кусая, хрипя в борьбе,
Делает лучшее в мире дело.
Там, где погром проходил, рыча,
Там, где лабазник дышал надсадно,
Мы на широких несем плечах
Жажду победы и груз громадный.
Пусть подымаются звери на гербах,
В черных рубахах выходят роты,
Пусть на крутых верблюжьих горбах
Мерно поскрипывают пулеметы,
Пусть истребитель на бешеной заре
Отпечатан черным фашистским знаком —
Большие знамена пылают на горе

Чудовищным, воспаленным маком.
Слышишь ли, сын мой, тяжелый шаг,
Крики мужчин и женщин рыданье...
Над безработными — красный флаг,
Кризиса ветер, песни восстания...
Время настанет — и мы пройдем,
Сын мой, с тобой по дорогам света...
Братья с Востока к плечу плечом
С братьями освобожденной планеты.

1931

МЕДВЕДЬ

Покрытый бурой шубой,
Кряжистый и грубый,
В малиннике сыром
Он спит и дышит носом,
Кося глазком белесым,
И тушей раздобревшей
Он давит бурелом.
Когда перед зарею
В сосне заквохчет дрозд
И окунется в хвою
Густая сетка звезд...
Он встанет, косолапый,
Он втянет воздух с храпом,
Подымется, вздохнет,
Стряхнет с намокшей шкуры
Малины листик бурый —
И двинется вперед...

Я тоже не зеваю,
Берданку заряжаю,
И в тишине ночной
Неслышными шагами
Сперва пройду овсами,
Потом пройду болотом
И сяду над рекой.
Иди, зевака сонный,
Верни мои патроны,
Иди, иди, иди...
Я слышу храп медвежий,

Хрустение лап широких...
Идет... И сердце реже
Стучит в моей груди.

<1934>

ПЕСНИ К РАДИОКОМПОЗИЦИИ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО»

1

Туманом поле полнится,
Качаются цветы,
Нам в темя светит солнце
С горячей высоты.
Мы нынче в путь суровый,
В далекий путь идем, —
Идем за Примаковым,
Червоным казаком...
Мы саблями добудем
Такой веселый мир,
Где подневольным людям
Раскинут пышный пир.
Деникина мы скинем
С расшитого седла,
Петлюру опрокинем
Мы посередь села.
Тревожней нету часа,
Чем этот грозный час!
Послушаем Тараса.
Что говорит Тарас?
Навстречу мчатся пули —
Пчелиный звонкий дождь.
Послушаем, что скажет
Наш сивоусый вождь!
Не ведающий страху,
Забыв былую лень,
Кудлатую папаху
Он сдвинул набекрень;
Усы он расправляет,
Стирает пот с лица,
Берет он саблю молча
У мертвого бойца;

И, закружившись в гике,
Летит в густую пыль,
Летит на вражьи пики,
В серебряный ковыль...

2

В нищей хате крепостного
В сумерки степные
В первый раз открыл я очи,
Закричал впервые.
Хлопцем бегал я на речку,
Пас гусей, купался,
Ящериц ловил под тыном,
С панычами дрался...
Пан Василий, наш хозяин,
Выйдет на террасу,
Кофе пьет и трубку курит,
Возглашает басом:
«Гей, Тарас! Чего ты робишь?..»
Я же на бумаге
Угольком рисую хаты,
Вишни да овраги...
Сам не знаю, как случилось,
Прямо как зараза
Это действует: увижу —
Нарисую сразу...
Дьяк меня линейкой лупит, —
Видно, в этом мире
Не уйти от часослова,
Не избыть псалтыри!
И зубрю. И задыхаюсь
От зубрежки этой...
Мой наставник выпьет... Я же,
Вставши до рассвета,
Побреду в пустую хату,
Где лежит покойник,
Где горит свеча и баба,
Скинувши повойник,
Голосит, что есть запалу...
Я же дело знаю:
Притулюсь к стене и тихо,

Тихо зачитаю...
Бублик бросят мне за это, —
Я и тем доволен...
Скука в хате! Я из хаты
Выбегаю в поле...
Так неделя за неделей
Протекает. Снова —
Скука, крепостное детство
Тянется сурово...

3

Так вот и ходит Тарас Шевченко
По умирающим, словно дьякон.
Хочется мир повидать как надо,
Хочется рассмеяться громко —
И на случайном куске бумаги
Нарисовать, что сегодня видел...
Дьякон с приятелем пьют весь вечер,
Гонят Тараса в шинок за водкой,
Песни поют, сопят и бранятся...
Вот напились, положили морды
В лужи на скатерти и заснули...
Дедовский дух загудел в Тарасе —
Дух запорожцев, казачья воля...
Свечка мигает. Бутыль трясется.
Муха жужжит, ударяясь в стекла...
Тарас осторожно снимает брюки
С дьякона. (Спит. Ничего не слышит...
Хоть растерзай — не пошевелится.)
Тихо. Тарас подымает руку
С веником розог — и вдруг, с размаху,
Как обожжет, как ударит сверху...
В кровь! Просыпается дьякон.
Очи медленно раскрывает...
«Дьявол, что это значит?»
(Он снизу) голый,
Ноет пониже спины... Проклятье!..
Спит собутыльник, уткнувшись мордой
В лужу, в надтреснутые стаканы...

1933—1934

ПЕРЕВОДЫ

МИКОЛА БАЖАН

КРОВЬ ПОЛОНЯНОК

Бьет космогрудый конь копытом на разгоне,
На дне ушатов плещет широко
Кипящее кобылье молоко,
И пахнет вымя крепостью соленой.
А воины так спят, что смерть им нипочем.
И недвижимо над землей в тумане
Узор ветвей отбит и отчеканен,
Как мускулы, напруженные львом.

Кусты костров откинулись к траве,
И дым уперся в небосвод тяжелый...
Сквозь рвань и грязь — набухшей почкой вверх —
Девичьей груди выгиб полуголый.
В набрякший мох, в плодовый пот,
Раскиданы тела родимых полонянок,
И вот растет, как семя спозаранок,
В девичьих животах монгольский едкий плод.
Растут года — извечный цвет отав...
По сайдакам сердец воспоминаний стрелы
Истлели. Но хранит натруженное тело
Кровь старую — наследье древних слав.
Нам нравятся слова, как узловатый дым,
Зловещих жертв, заколотых татарином,
Мы воспеваем кровь, густую, крепко сваренную,
И пашню, яростную и распаренную,
Приветим сердцем круглым и простым.

1929

РАЗРЫ́В-ТРАВА

1

Пустая ночь земли, тумана, трясовицы,
Как колдовской цветок, раскрылась и цветет,
И сброшена с небес в песок, на дно криницы:
Звезда, как рыба, плавниками бьет.

Гнильем и плесенью пропитаны станицы —
И пышно по-над травами плывет
Стенанье самки, что во сне томится,
Чье целомудрие как скорби гнет.

Где в сумерках пустынных котловин,
Набухший влагой, тяжестью кровин,
Цветок терлич потайно расцветает.

Качнув камыш, причалил тихо челн,
И голос девы, тяжкой страсти полн,
Чутьем ночей звенит и улетает.

2

Пред полночью земля затосковала...
Тень ездока шатается в реке...
Конь, вздрогнув, стал. И пена засверкала,
Вскипая на чеканном ремешке.

Измучен конь. Но всё ж ездок усталый
Упрямо наклоняется к луке...
Поводья, обведенные кораллом,
Казак зажал в натруженной руке.

Кривою пляской сумеречных чар,
Плетя узор, пылая, как пожар,
Над лесом поднялось девичье пенье...

Сошел казак. И заблудился в мгле,
Где в дивной тишине проходят по земле
Великолепные немые тени.

3

Кончается ночей прохладных половина,
И круглых звезд дозрел богатый урожай.
В чарованных лесах ты, дева, ожидай
Себе могучего и радостного сына.

Как кубок пенистый, пролился через край
Густых и влажных слов тяжелый запах винный,
Порвала на груди своих монист рубины
И гостю страшному докинула розмай,

Отдала всю любовь, когда померкнул свод,
Упав на мураву и чресла раскрывая,
Впивая яростно росу и горький пот.

Потом приподнялась. Пошла в туман. И вот
Покорная луна несет вослед, мерцая,
Прощальный тихий клич и дальний рокот вод.

1929

НОЧЬ ГОФМАНА

По утлым ступеням, в провалы, в ямы, в тьму,
По утлым ступеням, по сходам огрузнелым,
По склонам гулким и обледенелым,
В сырую щель, в проклятую корчму, —
В корчму, без вывески, без клички, без прозванья,
Где бюргер бешеный — бродяг бездомных дух,
В корчму фантастов, возчиков и шлюх,
Позорных вдохновений и страданий...

Разинулась она, закопанная вглубь,
Прокисшим ртом пьянчуг с трухлявыми зубами,
И сало от свечей к дубовому столу
К дебелым кружкам подтекло буграми.
Как кулаки, круглы и вздуты,
Тяжки, как яблоки, плоды добра и зла,
Они на неуступчивых столах
Налиты оловом, вином или цикутой...
Скрипят, визжат и верещат столы,

Заляпаны вином и пальцами захватаны,
Жир от свечей кусками узловатыми
Растаял, заворчал и по столам поплыл.
Торжественно идет таинственный обряд
Пирушек выспренних, задумчивых проклятий,
Где каждый пьяница — философ и фанатик,
Сновидцам брат, Серапионов брат.

Тут тысячи часов, тут тысячи ночей
Хохочет, пьянствуя, безумный Амедей,
Поэт-злословец, выдумщик бездумный,
Ночной король торжественно-безумных
И похоронных ассамблей.
Вот он расселся — куцый Мефистофель,
Недобрых пиршеств хмурый властелин,
Что возгласы жены и шлепанье пантофель,
Вражда советников и ордена, и чин?!
Глотая молча дым, слюну и слизь вина,
Молчит и двигает всё чаще и суровей,
Как голый нерв, изогнутою бровью, —
Изогнутой, как кошачья спина.
То он — гигантский кот, сластолюбивый, льстивый,
То он — замученный виденьями маньяк,
В гурте распутников, поэтов и кривляк
Глядящий дьяволом и девкой похотливой.
То он — гигантский кот, добрейший котик Мур,
Сгибает спину, когти выпуская.
«Хмельной камергерихт!» — вопит корчма слепая,
Среди корзин, во мгле магистратур.
Театр чудовищ — к полночи возник;
Он открывается поэту и фантасту,
Презренье делает крутую бровь клыкастой,
И в десны бьет взбесившийся язык...
«Хозяин, я не пьян! Я словно смертник, щедрый.
Хозяин! Дай свечей! Хозяин, дай огня!
Вина, хозяин, дай! Дай сахару и цедры!
Виват, поэзия! Так выпьем за меня!
Так зажигайте спирт! Пылай, автодафе!
Где спирт горит, как мучеников души,
Кричите яростней, кликуши,
В берлинском неприкаянном кафе».
Бушует дикий пунш в летающем огне,

Синея, язычки подпрыгивают в гору,
В округлом, как живот, блестящем чугуне.
«Хозяин, пуншу Теодору!
Хозяин, истина в вине!»
И словно уголь тайных инквизиций —
Студеная заря горячего вина...
Ну что ж! Черпай из чугуна,
Из брюха чугуна подземную водицу.

Расплывшийся плывет в осоловелом взоре
Сумятица голов, и мускулов, и плеч,
Подносят рыцарские шпаги свеч,
Проходит карнавал ночных фантасмагорий,
Лютуют молнии ужасной тишины,
Рты разорвав дымящимся железом,
И катятся слова по кручам фразы в безумь,
Как будто в бездну валуны.
Встает огонь, как столп, — встает, как столп бесчинный,
Как столп и стон над сгорбленным столом...
— Я хитро вырвал у кончины
И эту ночь с наитьем и вином...
Кладу на плечи ночь наитий,
Как стыд, как ветхую милоть,
И плоть мою, отравленную плоть,
Терзаю, зол и ненасытен.
В стыду и мерзости, в бреду и страсти
Повелеваю призракам-словам:
Из прорв сознания, из человечьих ям
Вы пауками тихими вылазьте;
Как пауки, чей взор нечист,
Ползите вы без страха, без отваги,
Дабы я трупами вас положил на лист
Бледнеющей от ужаса бумаги...
Так сохраняй, скрипучий манускрипт,
Горящую труху от дьявольских сандалий,
И чтобы чугуны быстрее закипали,
Еще углей, еще углей подсыпь...
И сердце рвется с грохотом вериг,
Греми ж веригами, отверженный бродяга...
У друга он берет стакан, где бродит влага,
Чтоб потушить пылающий язык...

Вой собутыльников, а он стоит внимая;
Стоит и слушает, безумный Амедей;
И словно краб вползает вонь густая
В гортани обессиленных людей...
Ему невмочь... Корчма дрожит от страсти...
От слов и от вина
Смертельно утомлен,
Просмоленный, тягучий, черный кнастер
Своей ладонью разминает он...
Но зарево колышется на славу —
И тьма растет и шепчет вкруг стола.
Небрежная служанка принесла
Картузы с табаком, мясистым и курчавым.
Вихляющийся дым плывет из чубуков,
Большие мундштуки хрипят от напряженья.
И входит тишина на долгие мгновенья...
Видений бестолочь и путаница снов.
И чубуки приставив, как кларнеты,
Высасывают дым и пробуют на вкус
Утихомирившиеся поэты!
О трубок музыка, кантаты табаку!
Ах! Ах! Довольно слов, наитий, бреда, смерти,
Он не пугает нас, немецкий добрый черт!
Где ноты, Амедей? Где Глюковы концерты?
Импровизатора встречает клавикорд!
О, стиснуть бы аккорд бледнеющей рукой,
Чтоб наливался звук и композитор бился!
Так он идет. И верный ветер взвился,
И дым, как флаг, улегся под пятой.
И давит он рукою волосатой
На клавиш укрощенные клыки...
...Уж бьет двенадцать раз! Захвачены в тиски
Два черных пальца циферблата,
Как бы творя обет заклятый
Серапионову брату,
Макая пальцы в час, — в священный час тоски.
«Друзья, пора идти! Подайте нам плащи!»
Не будем же, друзья, чрез меру романтичны...
...Дождь на дворе...
Ступенька верещит
Пером натруженным и педантичным.
Берлин расписан почерком дождей,

Колючей готикою капель заостренных,
Везде колючий дождь — круговорот ветвей;
Кто, ужас поборов, преодолеет стон их?
Идет, шатается, бормочет в полусне
Советник Гофман, шаркая по лужам,
А улица за ним, как гамма, кружит, кружит,
И гаммой тянется, сникая в тишине.
Пустая площадь заросла дождем,
Ручьистой рощей неподвижных ливней...
И над прохожим с кошачьим лицом
Они, как звук, сильней и неизбывней...
Ах, колоннады тонкоствольных струй,
Ах, выдуманный дождь из прорезей и стрелок,
Качайся и спадай, качайся и лютуй,
Бей о порог сеней обледенелых!
Знакомый дом... Распаренное тело
Жены... Колпак и стеганый халат...
Большая печь и сладковатый чад,
Синеющий под лампой закоптелой.
«Амелия, ты спишь? Амелия, ты где же?»
Стучат, Амелия, второй и третий раз!
«Ты это, Амедей? Шатаешься, невежа!
Подошвы оботри, зачем заносишь грязь!»
Ботинки выставив, чтоб высохли у печки,
Смеется про себя лукавый Амедей,
И улыбаются на изразцах овечки
И рыцари и девушки, лазури голубей.
И вот брюхан, раскрашенный лазурью и кармином
(Домашняя идиллия фламандских маляров),
Лукаво подмигнет ему за розовым овином,
Схватив в охапку девушку, пасущую коров...
Фламандка-печь распарилась в цветах и пестрых бантах —
Раскормленною девкой, румяной, как заря,
Играет изразцами. Блестящие драбанты
То умброй отливают, то синькою горят.
Пол медленно поскрипывает. Вздрагивают двери...
И Гофман во владениях своих обычных чар,
Где на пузатом старом секретере
Крылатое перо и кожаный бювар.

1929

ЗДАНИЯ

1

СОБОР

В тени холмов, сгнивая в прахе сиром,
Звучит колонна, как гобоя звук;
Звучит собор гранитным dies irae,[1]
Как оратория голодных тел и рук.
Взлетает пламя вдохновенной готики,
Как вера, как крутые паруса,
И безоглядно встали в небеса
Стрельчатых башен яростные дротики.
Рукою обними холодных жил сплетенье,
И дай рукам своим немым
Груз сердца вознести
В студеных сводах дым,
На копьях рифм,
На гребне вдохновенья.
Чтоб в окна башен, в темноту,
Оно взглянуло — и, как звон, забилось.
Из пальцев башен пала тень, как стилос,
И почерка его снести невмоготу.
Подобно лютым и костлявым путам,
На сердце ляжет тяжких слов узор:
Железом, полымем, елеем, кровью вздута
Чудовищная повесть про собор.
И в шаге толп, встающих на ветру,
И в скрежете зубов и в скрежете гранита,
Как смертный стон, как стон безумных труб,
Летящих в пламени развитом,
Вставал собор во славу феодала —
Светильник веры, сборище псалмов, —
И в чаще площадей по чердакам домов
Катился звон его помалу.
Как медный шаг, как жертвы медный шаг,
Так в цепких католических руках
Бьют четки из пахучего сандала.

На звон не шли, на животе ползли
Рабы, шуты, купцы и короли,

[1] День гнева, день страшного суда (лат.). — *Ред.*

Собор распахивался, словно рана
Безвольной и мятущейся земли,
Придавленной мерцанием тумана.
И падали и лезли в скользкий склеп
Тела без рук и сломанные руки.
Разодран рот, и тяжкий взор ослеп,
И в каменный поток вплетался голос муки.
И тонкою стрелой взлетал над ними в гору,
Как рук голодных островерхий сноп,
Возвышенный корабль собора,
Овеянный мистериальным сном.
Кружились годы темные и злые.
Но не погаснул, чтобы вспыхнуть вновь,
Готический огонь, продымленная кровь
На ржавчине мечей и копий жакерии.
Зане вставал собор защитник и завистник,
Молитва то ль, божба, заклятье, стон,
И расцветал готический трилистник,
Как крест, как цвет, как пальма и как сон.

2

ВОРОТА

В игре нелюдской, в жажде неприродной,
Тряся веригами прикрас,
Крутой морщиной, мускул вырос враз,
Обняв обрывы пропасти бесплодной.
Вознес, как кубок золотистый,
Врата крутые в вышину,
Врата в бездонную страну,
Как круглый перстень на дебелой кисти.
И творчество, не зрелое еще,
Снопы чудесных трав на камни положило,
Как груди дев, как грешный пламень щек,
Как тайного воображенья сила.
Оно швырнуло бешеный росток,
Как на ковры кидают полонянку,
Что знает страстный пот, зачатий тяжкий сок,
И сытый сон, и жажду спозаранку.
В ростке — цветок, в ростке цветок — что око
Разбуженного самкою самца

Тех давних пор, когда в сердца
Вливалась страстность алчного барокко.
Что, словно кровь и мозг, слюну и жир, и лимфу
Соединила наяву
Врат Украины нежную листву
С тяжелыми акантами Коринфа.
И тот акант — не лавр на голове владыки;
Их щедрых врат никто не распахнул,
Чтоб пленников пустить. Тяжелый рев и гул,
Зане пути побед ведут дорогой дикой.
Врата пристрастий злых и своевольных
Былых веков. Закутанный в скарлат,
Тогда взносил златые колокольни,
Как бунчуки, чванливый гетманат.
Тогда, как посеребренный венец,
Возложенный на масляные степи,
Воздвиглись церкви под рукой Мазепы:
Он был поэт и гетман и купец,
И, проиграв в игре постылой,
Обученный бежать назад,
Мазепин белый конь, заржал Пегас бескрылый,
Бесхвостый Буцефал грядущих гетманят.
Вон этого коня! Пусть смолкнет топот темный.
Как ржавое копье, ломайте звонниц тень!
И молкнут звоны, — звоны склепных стен:
Ведь наше сердце их сердец огромней.

3

ДОМ

Как радуга, что скована в литейной,
Уже повис над домом виадук,
И толпами вокруг шагают гул и стук,
Крутясь, как смерч, тропой узкоколейной.
Столбы из грома. Переплет лесов.
Крутые рычаги. Разбитые домкраты.
Построек, лязга, голосов
Вскипает бунтовщицкий кратер,
И в степь въедается винтом работа та,
Как смерч, поставленный на травы головою,
Трясет равниною и двигает горою,
Как лист, отпарывая пласт от пласта.

И взрыв, как перестрелка, вдруг —
Разряд движений и натуг.
Тут
Бушует труд.
И круг
Упал на круг,
Засов
Лег на засов —
Луна идет вокруг
Лесов.
Там труд натужно голосит
Неугомонной лавой;
И откликаются басы
Электростанций славой.
Где из моторов в точный срок
Средь нефтяных провалов
Ползет, закручиваясь, ток,
Как стружка из металла;
Налив сиянье в склянки ламп,
Он вьет свою спираль
Сквозь сталь
До дамб,
От дамб
Сквозь сталь
И пролетает в даль,
Где хаос ям и хаос куч
Песку и рыжей ржи,
Где на каркас, что встал могуч,
Навинчиваются этажи.
Колонны молний, проблеск гроз,
Рвут провод что есть силы.
И лопается жесткий трос,
Как лопаются жилы.
И звуков смерч прядет и рвет
Сбесившаяся вьюга,
То кружится, рычит, ревет
И свищет центрофуга.
Повертывается быстрей:
Луну в разгон — в разгоны
По рельсам стонущих колей,
Как вагонетки гонит.
Копают степь, массив сверлят,

Закладывают с боем
Не арки врат, а домен ряд
И кратеры устоев.
Зубами черными машин
Врезают ромбы мертвых глин,
Бетон громадят в кучугуры,
И пахнет как озон металла едкий пыл,
И грозно катятся аккорды сил,
Широких спин и узловатых жил
С железной клавиатуры.
Железо бьют, гнут медленную медь
В горбатых мышцах руки человека.
Как марш веков, что захотели петь,
Идет по-над землей греметь,
Над старою землей греметь,
Построек музыка от века и до века.
И стонет степь, и гомонит долина, —
Стальная пущена турбина
Электростанций вековых.
И полдень рушится, как верст извечных сдвиг,
И полдень новый в очередь выходит.
И каждый день — как взрыв, как штурм и как
поход.
Безумный марш, что в бой полки выводит,
Салют
и голос труб,
и выкрик —
и... вперед!

1929

ВЛАДИМИР СОСЮРА

* * *

Надвигается памяти ветер, и качает он душу мою,
Но упрямый мой челн не потонет, ибо в нем я и ночи
не сплю.
Но упрямый мой челн не потонет... отлетают проклятые
дни,
И стою я в зори закованный, только волны в лицо
одни...

Под горой над татарской казармой одинокие стынут
огни,
Каждый вечер пожаром на небе умирая, расстреляны
дни.
Незнакомых владельцев сады, ароматов туман
незнакомый,
Над заводом задумчивый дым, под глазами фиалки
истомы.

Вечер. Паночки. Лаун-теннис. И мячи подающий
ребенок.
А на Западе тучи в огне... Пайки... Золотые
затоны...
Повернусь я назад, посмотрю, где маслины и станция
Яма,
И в сладчайшей тревоге душа — как на яблоне тихое
пламя.

Месяц ясною розой плывет, западает в печальные
очи,
Незнакомые никнут сады, и огни над поселком
рабочим.
Гей! В степи запевали хлеба. Бабы шли с золотыми
платками.
Шли до церкви... О, колокол, плачь! Память дальняя.
Станция Яма...

Арбузы на баштане, и вновь — Парамоновы
полуницы,
Загорелой шахтерки любовь, и над лесом взлетают
зарницы.
За любовью роса и туман... О, как пусто в душе
за любовью,
Будто тот одуванчик: подул — не найдешь, будто
листья в осенней дуброве.

Дни былого и образов дым — комарами, в дожде,
на дороге,
Где Донец и заводов огни, осень бродит поселком
отлогим...

Над поселком задумались дни, и летят под горою
вагоны,
И так нежно и сладостно мне! Не склоняй же свой
облик червонный,

Не гляди... И далеких очей не роси молодою слезою...
Теплый ветер по жилам течет, и кричат журавли надо
мною.

<1930>

* * *

Может, не друзья мы...
На твое: «Прощай!»
Стелется ветвями,
Облетает гай.

Синий, синий, синий...
Тень... День... Свет...
То листы осины
Заметают след.

Где летит широко
В небо дымный прах,
Там лежат дороги,
Улицы впотьмах.

Как они горбаты!
На стене плакат,
А на том плакате
Черная рука.

Ну, а под рукою
Литеры, кровь
Не дают покою,
Кличут вновь и вновь.

Оторву я руки,
Губы оторву.
Только сердце стуком
Падает в траву...

Может, не друзья мы?
На твое «Прощай!»
Стелется ветвями,
Облетает гай.

Синий, синий, синий...
Тень... День... Свет...
То листы осины
Заметают след.

<1930>

* * *

Вспоминаю: вишни доцветали,
Наливались пламенем в саду.
На прощанье ты тогда сказала:
«Где б ты ни был — я тебя найду!»
И во тьме, средь муки и истомы,
Где расстрелы и любовь до дна,
Мне являлся профиль твой знакомый,
На квадрате желтого окна.
Только снится грозное былое...
И неужто я теперь живой,
И неужто в орудийном вое
Злился голос одинокий твой?..
И сегодня вишни доспевают
По садам от солнца и тепла.
Как всегда, тебя я ожидаю,
Но еще меня ты не нашла.

<1930>

* * *

Сквозь окна небо — не ковер,
Не небо — синий камень.
Шумит валов нестройный хор
Над блеском, над станками.

Ударю, гряну молотком,
Пусть без нее тоскую.
Сковать мне приказал завком
Республику стальную.
Прощались с нею в клубе мы
Вчера в конце доклада.
Как ветер, радостно шумит
Моторная громада.
Ее послали на рабфак,
И я теперь тоскую...
Остался я, чтобы сковать
Республику стальную...
Сквозь окна небо — не ковер,
Не небо — синий камень.
Шумит валов нестройный хор
Над блеском, над станками.

<1930>

* * *

И пошел я тогда до Петлюры,
Потому без штанов я ходил.
Сколько нас, погибающих сдуру,
Комиссарский наган находил!
Мы прошли золотыми полями,
Сквозь огонь и лазурь мы прошли.
И навеки, навеки за нами
Оселедец, погоны и шлык...
Может, сердце порвали? Не знаю!
Может, сердце порвали в бою?
Как прогрянет: «Вы жертвою пали...» —
Головою об стену я бьюсь.
И подходит товарищ мой милый,
Как ребенка, под руку берет.
О, моя революция, сила,
Может, сын твой от боли умрет!

<1930>

* * *

Налетела, умчала гроза
Мое сердце на листья, на ветер,
И так юно, в цвету и слезах,
Надо мною качаются ветви.
Скоро будет со мною она —
Как сиянье волос разлилося...
В мою душу заглянет до дна,
Выпьет муку и высушит слезы.
Мою муку — за тьму и печаль,
Мои слезы — за зори в неволе.
Только скажет: «Молчи и встречай!»
Только в шею губами до боли...
Всем дано расцвести и завять
И проснуться от скрипа калиток.
И на дереве вырезал я
Имя нежное: «Берзина Вита»...
Налетела, умчала гроза
Мое сердце на листья, на ветер,
И так юно, в цвету и слезах,
Надо мною качаются ветви...

<1930>

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Люли, ой люли, ты детка моя!
В темном минувшем таким был и я.
Слушал, как ветер шумит и трава,
Маму «мамунею» я называл.

Люли, ой люли, мой малый сынок!
Месяц поникший сияет в окно,
Месяц кладет на панели печать,
Только сверчки да сирены кричат.

Вот и весна, о малютка моя!
В городе ж не услыхать соловья,
В нем только гул да фонарный огонь.
Я, полюбив, проклинаю его.

Может, затем он ударил огнем,
Что зацветают цветы над Донцом,
Что не услышу, о детка моя,
Что не увижу их больше и я.

Люли, ой люли, мой тихий сынок,
Месяц тебе улыбнулся в окно,
Месяц кладет на подушку печать.
Завтра сниму я портрет Ильича.

Будет у нас, о ручонки мои,
Не над кроватью, а в сердце Ильич.
Месяц упрятался в тучи давно.
Спи же, мой маленький смуглый сынок.

<1930>

* * *

Две тысячи назад звали б вас богом,
Стоял бы в храме ваш медный гений,
За тысячу — сделали бы святого, —
Теперь вы просто товарищ Ленин.
Теперь товарищ любимый, прекрасный, милый.
Ничего из вас не сделать шаманам...
Только случайно писака унылый
О вас нацарапает пером поганым.
Поэты воспоют вас громом пэонов,
Ученые мир потрясут огнем вдохновений...
Никому не удастся сделать иконы
Из человеческого имени: Ленин!
Сутулы и сумрачны встали рыдая
И смотрят по степи на ветра движение.
Склоняется тихо земля, большая, родная,
И с нами твердит: умер товарищ Ленин.

1933—1934

ЯНКА КУПАЛА

ЗАКЛЯТЫЙ ЦВЕТОК

Лишь праздник Ивана Купалы
Приблизится с ночкой своей,
Цветка заповедного жало
Чарует несчастных людей...
С надеждой и верой и силой
Из мира, где песни и труд,
По чащам, долинам, могилам
За цветом бегут и бегут...
Сова пропоет о разлуке,
Лопочет крылами кожан...
Бессчетные тянутся руки,
Где дремлет купальский курган.
Тех радостно очи смеются,
Тем кровью зрачки залило,
Толкаются, корчатся, бьются,
Мешаются правда и зло.
И ветки хотят наклониться,
И вереск трещит под ногой;
Вот-вот за цветок ухватиться
Готовишься слабой рукой...
Ан нет! Гаснут звездные светы,
Откликнулся петел в селе,
Ни ночи купальской, ни цвета, —
Всё сгибло, пропало во мгле.
Мигают безумные очи,

Бессчетные вздохи летят...
Сова не смолкает — хохочет,
Да крылья кожаньи свистят...
След косточки стелют — устлали...
Сдается — пора отдохнуть...
Но стоит явиться Купале —
Все снова бросаются в путь.

<1930>

ЗИМОЙ В ЛЕСУ

И легла тишина
Во бору за горой.
Хоть бы ветка одна
Прошумела листвой.
Снег пушистый залег
На сосне, под сосной,
Чернобыльник и мох
Он укутал собой...
Птичья стая молчит —
Будто полночь пришла...
Лишь топор простучит
Да привзвизгнет пила...
Это силу свою
Разминает мужик.
Словно воин в бою,
Дрогнул дуб — и поник.
Дальше — глушь, тишина,
Во бору за горой
Хоть бы ветка одна
Прошумела листвой.

<1930>

СНЕГ

Замела, как постель,
Лебединая бель
На поля, на курган...
Ворон, галка, кожан

Замерли не на смех:
Это снег, только снег...
За старухой-землей
Ты постель, милый мой,
Навалил над душой,
Будто крест над межой...
Ах! Не твой ли тот смех:
Это снег, только снег.
Думы, песен полет
Лед облил, занял лед.
Он протек по лесам,
И свежей стало там,
Где жилье не на смех:
Это снег, только снег.
Ты и жил и любил,
Не погиб и забыл,
Что мечтать и жалеть,
Только в дали глядеть, —
Что прожить не на смех:
Это снег, только снег.
Кто родной иль чужой
Умер, кончил с землей,
Поп пропел, дрогнул звон —
Мертв — из памяти вон...
Бой за хлеб не на смех:
Это снег, только снег.
Может, легкие дни
Не затронут — ни-ни! —
Ни беда, ни нужда,
Ни огонь, ни вода,
Только счастье и смех:
Это снег, только снег...

<1930>

ДВЕ БЕРЕЗЫ

За околицей в грозы две стояли березы,
Как одна две березы стояли,
И стонали сквозь слезы, истлевая, березы,
Как одна две березы стонали.

О восходе под грозы всё шумели березы,
Как одна две березы шумели,
О закате сквозь слезы запевали березы,
Как одна две березы всё пели.
Что в грозу и в морозы пановали березы,
Как одна на полях пановали,
Что качались и в грозы самовластно березы,
Как одна погибая в печали.
Мстят небесные грозы — и качнулись березы,
Как одна головой покачнули,
И навеки сквозь слезы две заснули березы,
Как одна две березы заснули.

<1930>

НА РАССВЕТЕ

Еще переклик петушиный
Не слышен, и звезды суровы...
А в хате дымится лучина,
А в хате и песня и говор...
За прялкой с душистой куделью
Ждет пряха высокого солнца,
За ниточкой ниточку стелет,
Ворчит и ворчит веретенце.
Хоть веки повиты дремотой,
Хоть тянется тело к постели,
Всё ж пряха поет над работой.
Пышнее челнок и тяжеле.
А в поле колотится буря,
Разносятся крики и стоны,
Застреха колотится в дури,
По стеклам бьет ливень студеный.
Бредет по дороге прохожий,
Сквозь бурю, сквозь вихри проклятий...
Он ищет оглядкой тревожной
Дорогу в болотистой гати.
Над ним только туча прольется,
Лишь темень, — как взглядом ни кинуть...
Неужто огонь не зажжется,
Неужто прохожему сгинуть?
А пряху мечты одолели,

В руках веретенце не скачет,
Склоняется тихо к кудели,
И кто-то сквозь сон ей маячит.
Ей снится: сквозь ветер, от злости
Кругящийся в поле, у хаты,
Прохожий приходит к ней в гости,
Такой молодой и богатый.
Улыбка цветет молодая,
И кровь запевает криницей...
Ей снится... Но кто разгадает,
Что пряхе пред зорькою снится.

<1930>

ПЛАЧЕТ ОСЕНЬ

Плачет осень за окном,
Слезы лязгают о стекла...
Обняла тревожным сном
Всё, что сгнило и размокло.
Осень плачется сквозь сон,
Ветер жалобы разносит...
Плачь! Чего же хочет он?
Отвечай: чего он просит?
Плачет осень ночь и день,
Слезы лязгают об окна,
А по дому злая тень
Лезет, ткет свои волокна...
Это бродит грусть впотьмах,
Душу мучит в мокрой сети,
И тревожит в томных снах
Память о лесах и лете.

<1930>

ПОЕЗЖАНЕ

Разлетелась по просторам
Снежным пухом, тайным вором
Дым, поземка, завируха,
Злого духа злобедуха...
В поле дымко и тревожно,

Беспокойно, бездорожно...
Ни ночлега, ни путины,
Грозен сумрак домовины.
Как по морю, в пене снега,
Без костра и без ночлега,
В замороженном тумане
Едут, едут поезжане.
Едут... едут... след развеян...
Глуше, тише и темнее...
Ни надежды, ни просвета,
Только вьюга, только ветер.
А колдунья-завируха
Что-то шепчет, шепчет в ухо,
О рожке, что в ночь взывает,
О пшеничном каравае.
Дразнит снеговым ночлегом,
Засыпает сном и снегом,
Лезет в сердце, лезет в очи,
Машет пугалом из ночи...
Молодого к молодухе,
Свата — к сватье-поседухе
Страх друг к другу прижимает,
Свищет, розвальни качает.
Прижимаются как дети,
Как голубки на рассвете...
Нету свету, нету следу...
И всё едут-едут-едут...
А над ними завируха,
Поползунья, злобедуха,
Раскачнулась снежной вехой,
Задыхается от смеха...

<1930>

КРЫМ

1

О Крым, неведомая сказка
Житья минувшего веков,
Которая одним — как ласка,
Другим — как лязганье оков.

И в шумном топоте столетий
Всё так же ты глядишь светло,
Всё так же тянут рыбу сети,
И соловей летит в силок.
Шуми извечным ладом, море,
И с ним — магнолия, платан;
О чем они шумят и спорят,
То знает полночь и туман.

2

На побережье крымских вод
В густую синь глядит Ай-Петри,
Вкруг туч веселый хоровод
Да пропасти, где бродят ветры.
Глядит Ай-Петри в дол с вершин
На мазанки и на палаты,
На ленты каменных путин —
Труды невольничьей лопаты.
А я, с далеких нив певец,
По Гаспре, как в силке, метуся.
Как тяжек Крымских гор венец,
Как тошно мне без Беларуси!

<1930>

С ТАТАРСКОГО

МУСА ДЖАЛИЛЬ

ВЕСНА

Я открываю солнцу грудь:
«Чахотка», — доктор говорит...
Пусть лижет солнце эту грудь,
Она от прежних ран болит...
Ну, что ж, ей надо отдохнуть,
И солнцем вновь она блеснет...
На белом камне я сижу,
Мне слышится весны поход —
Идут деревья, ветры ржут...
Преступен разве отдых мой?
Дышу я теплотой ночей,
Готовящих работу дней...
Я взял свое от войн и гроз.
Зачем же не смеяться мне,
Прошедшему сквозь грохот гроз,
Когда весна, сломав мороз,
Скачет, как бешеный снеговой поток,
Кружится безумный водоворот...
Тонкий, как кружево, как пушок,
Челтыр-челтыр — ломается лед
От жары богатыря-весны...
В небе лазурном, как взор Сарвар,
Тихая тень облаков-ресниц
Расходится, задрожав сперва,
Лаская уколами небосклон...

Ну как мне не радоваться и не петь,
Как можно грустить, когда день как звон,
Как песня, как музыка и как медь...
За то, чтобы крикнуть идущим дням:
— Эти весны нам принадлежат, —
Я легкое отдал, я жизнь отдам,
Не оборачиваясь назад...
Я радуюсь дрожанью вен, —
Весна по руслам их течет...
И я кричу: ломая плен,
Не кровь ли двинулась вперед,
В днепровский яростный поход!
Трудом вскипает и поет...
«Чахотка», доктор говорит...
Неправ он: это гул годин,
Которые, теснясь в груди,
Хранят походов грозный ритм
И пламя флагов впереди...

<1930>

АДЫЛЬ КУТУЙ

НАШ КУРАЙ

Как бы ты горько ни плакал
Над голосом курая,
Комсомольское сердце крепко,
Знай — не заплачу я.
Хотя бы дунули сразу
В тысячу am кураев,
Молодежь отзовется: — Баста.
Стань-ка под ряд годов.
Курай —
Дымоход нации,
Чувства растрепанных лет...
Наигрывай — только позвонче,
Наяривай, дуй, нажаривай,
Да здравствует крик побед.
Курай.
Да какой курай?

Наш курай, совкурай.
Это гудки заводов,
Это круженье огней.
Товарищ, играй, играй
Про гулкие толпы народа,
Про топот грядущих дней.

Вот и я за работой
Запел песни нашего курая.
Эх, курай, — не зевай, играй.
Река Белая всхлипнула и плеснула,
Обтекая плечи Уфы...
Вот и Дема средь блеска и гула
Улыбнулась горе и аулу —
Любовница Уфы.
Берега Белой
Сторожит солдатье — камыши,
И камыш подходит к аулам,
Солнце бьет по зеленым дулам.
Я сказал — как на зелень мыз
Река Белая плещет пеной,
А Уфа — в позументах пряж.
Солнце — льется из тысячи чаш,
Сердце — это аул нетленный.
А про главное
Я позабыл сказать:
Знамя Башкирии —
Бронзовый Ленин.

Башкир, приятель, не сердись теперь,
Ведь твой курай, оставшийся от дедов,
Как престарелой жизни экспонат
Отправлен отдыхать в музей Восточный.
Наш шаг теперь — не стон его,
Наш шаг — гуденье динамо.
И новой жизни торжество
Пятой ударит по свирели...
Нам новую свирель давай,
Чтоб посвист шел из края в край
(Ведь ленинизм — наш курай).
Ты то же самое твердишь...
Башкир, не думай:

Этот комсомолец
Не понимает ничего...
Я знаю всё — мой разум чист...
И мой курай — ты видишь — вот,
Звенит и свищет и поет...
Ну, что ж? Давай, давай, давай.
Играй, курай.
Курай, играй.
На нашем звонком языке,
Звенящем тысячью звонков,
Заговори нам о станке,
О молодой стране станков,
Играй, курай,
Курай, играй.
Развеивай ночной туман,
Мне хочется своей рукой
Прижать к груди
Твой тонкий стан.

<1930>

ИЦИК ФЕФЕР

* * *

От украинской вольной шири,
От Волги, от калмыцких юрт,
От голубых снегов Сибири,
Где ветры древние поют,
Через леса,
Через пороги,
Через деревни и луга
Громит чащобы и берлоги
Веселых парубков нога.

И, по-соседски нагибаясь,
Друг другу шепчут дерева,
Листва — сияющая стая —
Бормочет слезные слова:

— Измерят острова глухие,
И выровняют, и сотрут...
Качнутся дубы вековые:
С них кожу древнюю сдерут...
Рубанок зашипит победно.
Топор просвищет...
И тогда
Мы упадем вершиной бедной
В тебя,
Днепровская вода.

Застонут клены.
Дуб завоет.
Упрямо захохочет гром...
Ударит молния.
Без боя
Старинный Днепр
Идет на слом.

Сама себя ты не узнаешь,
Казацтва древняя река...
Теперь вовек
Не закачаешь
Ни чайки ты,
Ни челнока...

Пожухнут листья.
Прель густая
Взойдет буграми на стволах...
Нас поведут бессильной стаей
На крепких солнечных возах.

В прохладных рощах Украины
Деревья новые взрастут.
На крыши песни упадут.
Шумит река.
Деревья ждут.
Рабочие идут.
Идут.

<1931>

* * *

Сегодня ветры бешено ревут.
Склоняется трава.
Бег ветра без дороги,
Крутятся челноки,
Людей зовет уют...
Зачем дрожите вы,
Днепровские пороги?

А помнится ли вам,
Как сотни лет назад
Вы были скопищем
Костров ночей и злобы?..
Валились головы...
Свистал свинцовый град...
Как тяжек страшный сон
Объевшейся утробы!

И запорожцы там,
В безлюдных зеленях,
Лежали мертвыми...
Река волчицей выла...
Казаки пьяные в багровых поясах,
Ус вьется по груди,
Крутой обрит затылок.

Молчанье — ваш удел.
Так рассыпайтесь в прах!
Другие удальцы
Приходят вам на смену...
Другие голоса проносятся в ветрах
Над ликом мертвецов,
Другая плещет пена.

Вы будете лежать
Под молодой водой...
Над вами Днепрострой
Возводит камень строгий...
Пороги нищие!
Как жалок ваш покой,
Как жалок ваш озноб,
Днепровские пороги!

<1931>

* * *

Когда пойдет вода,
Космата и мутна,
Три тысячи дворов
Враз захлестнет она...

Потонут ночь и день,
Деревья и поля,
Травой повитая
Мужицкая земля.

Три тысячи дворов,
Три тысячи дворов
Покроет водяной
Сияющий покров.

Петух не закричит,
Не скатится звезда,
Когда пойдет на штурм
Великая вода.

И вербы задрожат
И кланяться начнут,
И юные струи
Заборы разнесут.

Мандривка под водой,
Всплывают Кайдаки.
Где хаты с вишнями?
Где барвинков цветник?
И дождь не упадет,
Не налетит туман,
Когда из деревень
Уйдет толпа селян.

Лишь лошади заржут,
Коровы заревут,
Когда в последний раз
Покинут свой уют.

Размыты берега...
Гудит огромный плес...
И сожалений нет...
И не почуешь слез...

Селянский утлый скарб
Погружен на возы...
Волы мычат в ярме,

Колес протяжен зык...
Всё выше на гору —
Там не возьмет вода,
Там крыши как огонь,
Там окна как звезда.

Постелена кровать,
Дубовый стол широк,
Дверь нараспашку там,
И не висит замок.

Три тысячи дворов —
Вам надо умереть!
И сожалений нет!
Нет слез!
Все будут петь...

<1931>

* * *

Река любимая моя,
Великий Днепр, ты — широк.
О ребра каменные скал
Стучит бессонный твой поток.

Обвалы серые лежат,
Пороги преграждают ход
Твоим потокам боевым,
Стремящим к морю свой полет.

Река любимая моя,
Великий Днепр, твой поток
На фабриках, по деревням
Огни веселые зажег.

Ты возле рощи пробежишь,
Как вздох, как малая река,
Качнешь траву и закружишь
Большие крылья ветряка.

Река любимая моя —
Великий Днепр! Смотри вперед.
К одесским жарким берегам
Уходит тучный пароход.

И гроздья молодых годов
На берегах как виноград.
Пшеницей полные суда
Плывут в просторы и трубят.

И тучи низкие висят,
Вода дымится, как мазут, —
Суда из-за чужих морей
Чужие тракторы везут.

По хатам и по деревням
Проходит огневая сталь...
Пусть скалы серые гудят —
Им Украины не узнать.

<1931>

* * *

Над сгорбленной скалой
Круг солнца обновлен,
Вдоль берегов бегут
Взбешенные потоки.
Под сгорбленной скалой
Прохладен лунный сон,
На кленах день висит,
Прозрачный и глубокий.

В косматых сумерках
Взъерошенных лесов
К ветвям подвешены
Тяжелые светила.
Несется пыльный шум
В круговорот валов,
И небо падает
В клокочущее мыло.

Из сел покинутых,
Из брошенных садов
Плетутся биндюги
На сгорбленных колесах.
Биндюжники везут
Тяжелый груз столбов,
Глядят на свет звезды,
Горящей на откосах.

Из городов и сел
Им слышен шаг людей,
Идущих яростно
Чрез берега и реки.
Биндюжники везут
Тяжелый груз камней;
Им слышен крик воды,
Закованной навеки.

И за сердце берет
Тревожный черный страх
Седых биндюжников
С заросшими глазами...
Идет людской поток,
Кружится водный прах,
Над скалами встает
Иного солнца пламя!

<1931>

* * *

Туда — в безмолвье деревень,
В сырую тьму полей
Река пошлет по проводам
Несчетный блеск огней.

И силу дружную пошлет
По фабрикам она.
Уже по-новому поет
Днепровская волна...

По всем садам, по всем лесам,
В туннелях и на мост
Река рассыплет и зажжет
Огни бессчетных звезд.

Но этим звездам не дремать,
Как сестрам в небесах.
И не покачиваться им
На призрачных весах.

Они прольют веселый свет
По серым уголкам,
Они сиянье отдадут
Заброшенным снегам...

Клубки тяжелой темноты
Умчатся далеко.
Не пролетит по деревням
Постылый вой волков.

Над шириною водяной
Промчится крик трубы,
По берегам в чудесный день
Подымутся столбы.

И праздничною мишурой
Заблещут провода,
К ним человеческой рукой
Приделана звезда.

И проволоки побегут
На холм, в провалы, в ров.
Они, как стрелы, пролетят
Над странами хлебов.

Тогда припомнит старый Днепр
Печаль погибших дней.
И радость древняя пройдет
Процессией огней.

Теперь по берегам его
Взывают поезда,

По волнам медленно плывут
Груженые суда.

Перед твоим лицом, о Днепр,
Кто не прошел, скажи!
Ты помнишь ярости порыв
И горечь тайной лжи?

Ты битвы помнишь, помнишь смерть,
Победы помнишь ты,
Когда распались над водой
Старинные мосты?

Он помнит всё,
Но он молчит.
Он медленно протек.
О, как отважно замолчал
Его певучий ток.

Но он в безмолвье деревень,
В сырую тьму полей,
Скорбя, послал по деревням
Несчетный блеск огней.

<1931>

ПЬЕР РОНСАР

ПАСТУХ

В какую ночь глухую
Узнал я средь лугов
Волынку полевую
Бродячих пастухов?
Изваянный из персти,
Вручил мне бог степной
Пастуший плащ из шерсти
И верный посох мой.
Дал тихий голос мира
Напеву моему,
И хлеб и ломоть сыра
Вложил в мою суму,
Чтоб в час мерцаний лунных
Я вел по влаге рос
Овец сереброрунных
И круторогих коз.
Темнее, тише, глуше.
В туманах спит земля,
Лишь песнею пастушьей
Тревожимы поля.
И там, где ночь без силы
В сырой простор плывет,
Восход ширококрылый
Стада мои ведет.

1918

ЯН НИБОР

СТАРЫЙ РЫБАК

Поразмысли:
Тридцать лет, пожалуй,
За треской
Ты гонишься, отец;
Накопился капитал немалый:
Триста франков
В банке наконец.
Триста франков.
Сыновья — что кедры:
Высоки и соком налиты...
Чаек заповедь,
Законы ветра
У камина забываешь ты...
Хочешь белого —
Бутыль готова.
Хочешь красного —
Садись и пей.
Только помни:
В смутный день улова
Ты в залив не высыплешь сетей.
Как? Сетей?..
Вы — почтальона дети.
Вам на суше надлежало б жить.
Кто учил вас, как засыпать сети,
Как грести и острогою бить...
Нет,
Рука, я знаю, не устанет
Руль вертеть
И шкоты собирать...
Мне ль на суше
Петухом горланить,
В кабаке
Под бочкой засыпать...
Мой завет,
Простой, небогатый,
Доведет меня до склона дней,
Чтобы ковш воды солоноватой
Был последней выпивкой моей.

1924

НОРМАНДИЯ

Жена, ты заштопала парус мой?
Ветер ударил с горы попутный,
Время нам двинуться за треской
Дорогой тревожной и бесприютной...
Ветер вдогонку — парус бугром,
В море гудящее вылетаем,
За убегающий волнолом
К тайно идущим рыбьим стаям...
Там, под водой, в голубом огне
Скал круторебрых выросли глыбы,
Желтый песок и трава на дне,
Желтый песок и черные рыбы.
Время бродяге дышать и петь —
Время веселое, трудовое, —
Падает с лодки, падает сеть
В море холодное и голубое...
Сверху на волнах солнце и зыбь,
Ветер проходит, звеня по водам,
А под водой вереницы рыб —
Движутся, движутся вдаль походом.
А под водой неизвестный путь —
Путь, затерявшийся в млечном свете, —
Прямо ведет их, не дав свернуть,
В тайно расставленные сети.
Движутся, движутся напролом,
Воду расталкивая плавниками;
Жабры вздувая, водят кругом
Фосфоресцирующими глазами...
Время бродяге кричать и петь,
Время веселое, трудовое, —
Вижу. Набита доверху сеть
Неосторожною трескою...
Шлюпка обратно — парус бугром, —
На берег дружно вылетаем, —
Сзади раскинулся волнолом,
Море, и ветер, и рыбьи стаи...

1924

ПОДАРОК

— Сын, пора!
— Вот сапоги достану!
Как спросонья затекла рука!
— Снаряжайся!
— Ветер с океана!
В наши камни двинулась треска.
— Жанна, Жанна! Слушай, как упрямо
Этот ветер нашу крышу бьет...
Что-то с ними?
— Не волнуйся, мама,
Нынче утром возвратится бот...
— Есть! По ветру! Много ли работы?
Соль в глаза, да ветерок по лбу...
Носом в пену! Сбоку переметы
Высыпай — я боком подгребу.
— Есть, отец! Погода боевая,
Бот мотает, да рычит грубей...

. . . . .

— Жанна, Жанна! Ветер завывает,
Ветер задыхается в трубе...

Раз! На весла!
Не видать дороги!
Влево мель! Направо поверни!
Прямо в берег, на песок отлогий,
Прямо в камни, к берегу гони!
— Есть! Держусь!
Но оторопь ночная
Весла гнет, и рук не разогнуть.
— Налегай! Я этот ветер знаю,
Боком, боком! В берег как-нибудь...

— Что-то с ними делается, Жанна?
Чайки стонут, и норд-ост ревет...
— Мать, не плачь!

Из ветра и тумана
Утром, утром возвратится бот...

— Течь в борту!
Здесь камень, камень, камень!
Весла к черту!
Мачта на весу!
Сын, держись!
Рыбацкими руками
Я спасу тебя, спасу, спасу!

Ветер ходит,
Ветер крышу бьет,
Перевернутый качает бот...

— Это вы, Мари? На вас лица нет!
Жанна, Жанна! Зачерпни вина...
— Дорогие, вас навылет ранит
То, что я вам сообщить должна.
Вот мешок, разодранный и старый,
Вот мешок из тысячи мешков,
Но в него завернуты две пары
Порванных рыбацких башмаков...
Их сегодня у восточных скал
Кум Керсак случайно отыскал.

1924

ОСЕНЬ

Осень яблоками пахнет,
Вся Нормандия в садах.
Целый день поешь на вахте,
Слышишь ветер в парусах.

Деревенского покоя
Пил и я, не так давно,
Яблочное, молодое,
Августовское вино.

Отдыхать приятно было,
Тишина, часы стучат.

Над деревнею застыла
Синева, как век назад.

Так же утром башмаками
Матушка стучит всегда,
И, гонимы пастухами,
Те же движутся стада.

Вечер скудный и пустынный
Освещаемый свечой, —
На задворках гам гусиный,
Голос пса сторожевой.

Всё в покое разомлело,
Тишины не побороть.
Не морское это дело —
Кур кормить, гусей колоть!

Но средь этого покоя
Вспоминается одно:
Яблочное, молодое,
Августовское вино.

Так и брызжет вон из чана,
Ходит силой дрожжевой,
Зачерпни скорее, Жанна,
Этой влаги золотой.

Свежей горечью играет,
Бродит, сердце шевеля.
Слышу — капитан ругает:
«Замечтался у руля!»

Замечтавшись, не заметил,
Как подходит полоса,
Как ложится шхуна в ветер,
Как полощут паруса.

Осень яблоками пахнет,
Вся Нормандия цветет,
Но рассеянность на вахте
Нас к добру не приведет!

1924

АРТУР РЕМБО

ПАРИЖ ЗАСЕЛЯЕТСЯ ВНОВЬ

Подлецы! Наводняйте вокзалы собой,
Солнце выдохом легких спалило бульвары.
Вот расселся на западе город святой,
Изводимый подагрой и астмою старой.

Не волнуйтесь! Пожаров прилив и отлив
Обречен — выступают пожарные помпы!
И забыл тротуар, буржуазно-потлив,
Как играли в пятнашки румяные бомбы!

Уберите развалины! Бельма зрачков
Отражают свечение суток несвежих!
Вот республика рыжих, давильня боков,
Идиотская баржа щипков и насмешек!

Эти суки уже пожирают бинты!
Объедайтесь, крадите! Победою первой
Обесчещены улицы. Пейте, коты,
Ваше пиво, пропахшее дымом и спермой!

Захлебнитесь абсентом! У мокрых дверей
Мертвецы и сокровища брошены рядом.
Старичишки, лакеи, рыгайте скорей
В честь праматери вашей с обрывистым задом.

Распахните гортани навстречу вину,
Сок лучей закипает, в кишечнике канув,
И распухшие губы роняют слюну
На клейменое дно пресловутых стаканов.

О, помойные глотки! Закисшие рты!
Где вино? Вот вино! Прощелыги, к добыче!
Победители! Настежь держать животы!
Ну! Подставьте затылки с покорностью бычьей.

Отворите ноздрю ароматам клоак,
Обмакните клинки в ядовитые гущи.

Вам поэт говорит, подымая кулак:
— Сутенеры и трусы! Безумствуйте пуще!

Для того, чтоб вы щупали влажный живот
Вашей Родины-Матери, чтоб руками,
Раскидав ее груди, приставили рот
К потрясаемой спазмами яростной яме!

Сифилитики, воры, шуты, короли!
Ваши яды и ваши отребья не могут
Отравить эти комья парижской земли,
Смрадный город, как вшей, вас положит под ноготь.

И когда, опроставшись от ужаса, вы
Возопите о деньгах, о доме, о пище,
Выйдет Красная Дева с грудями, как львы,
Укрепляя для битвы свои кулачища!

Ты плясал ли когда-нибудь так, мой Париж?
Получал столько ран ножевых, мой Париж?
Ты валялся когда-нибудь так, мой Париж?
На парижских своих мостовых, мой Париж?!

Горемычнейший из городов, мой Париж!
Ты почти умираешь от крови и тлена.
Кинь в грядущее плечи и головы крыш, —
Твое темное прошлое благословенно!

Намагничено тело для новых работ.
Приступ бледных стихов в канализационных
Трубах. Ветер опавшие листья гребет.
И зальдевшие пальцы шныряют спросонок.

Что ж! И это недурно! Пускай не смердит
Тельце дохлых стихов, что прикинулось пением.
Под округлыми веками кариатид
Звездный плач пробежал по лазурным ступеням.

Ты покрылся паршою, цветут гнойники,
Ты отхожее место позора земного.
Слушай! Я прорицаю, воздев кулаки, —
В нимбе пуль ты воскреснешь когда-нибудь снова!

Декламаторы молний приносят тебе
Рифм шары и зигзаги. Воскресни ж неистов!
Чтобы слышался в каждой фабричной трубе
Шаг герольдов с сердцами оглохших горнистов!

Так возьми же, о родина, слезы котов,
Реквизит вдохновения и катастрофы.
Я взываю к тебе: мой подарок готов,
Принимай эти прыгающие строфы!

Так! Коммуна в развалинах. Мир обнищал.
Льют дожди, и дома одевает проказа.
На кладбищенских стенах танцует овал —
Укрощенная злоба светильного газа!

1930

БЕН ДЖОНСОН

ИЗ КОМЕДИИ «ВОЛЬПОНЕ, ИЛИ ЛИСА» (VOLPONE OR THE FOX)

1
МОНОЛОГ ВОЛЬПОНЕ

Я не запомнил, как взлетала зыбка,
В которой я родился.
Помню только
Большое море, бьющее с размаха
В окно, да чайки круглое крыло.

Потом я бегал мальчиком в порту,
И надо мной, украшенные дивно
То богородицами, то зверьми,
Вставали корабли.
И запах кофе,
Муската, мускуса, вина и пота,
Как облако, над мачтою витал...

Я делал всё как надо.
Я сначала
Был мальчиком на кухне, а потом
Матросом.
Я качался на канатах,
Глотал похлебку, плеть и кулаки
Меня крестили вдоль и поперек.

Но помнил я:
Крутись змеей и ползай,
Кидайся кошкой, налетай совой,

Лисицей заметай свои следы,
Лисицей нюхай, чтоб почуять запах
Упрятанного золота.
И вот
Я до него добрался.
Да, добрался!

Я выкрал кошелек у капитана —
И убежал.
Я лавочку открыл,
Я продавал ножи, ракушки, гребни
И деньги в рост тихонько отдавал.

Ко мне стучались модницы и франты.
Я брал сто-на-сто.
Я смотрел в глаза,
И по глазам я научился сразу
Плательщиков распознавать.
Потом
Я раздобыл суденышко, в котором
Дыр было больше, чем досок.
Сумел
Его зашпаклевать и выйти в море.

На Юг! На Юг!
Туда, где люд дешевле,
Чем перец и корица.
Полный трюм
Невольниками я набил.
Я видел,
Как задыхался мой товар и мёр.

И всё-таки еще живых хватило,
Чтоб заработать вдвое.
Ну, тогда
Я начал понимать всю сущность дела.
Кровь, слезы, смерть — дешевка, чепуха,
Придуманная для детей и женщин.
Одна есть страсть —
Страсть к золоту и смерть
Из-за наживы.
Больше ничего!

Со всех сторон земли,
Гремучи и тяжки,
Ко мне в сундук текли
Чеканные кружки.

Я флибустьером был,
Я кондотьером был,
Копил, копил, копил,
Копил,
Копил,
Копил.

Большие сундуки
Закрыты навсегда.
Урод я —
Пустяки!
Дурак я —
Не беда!

От щедрости моей
Пей, прихлебатель, пей! ..

2

ПЕСНЯ МОСКИ

Толпа наследников вокруг
Кричит, бормочет, свищет, —
Не разберешь, кто враг, кто друг,
Кто потерял, кто ищет...

Но я запомнил навсегда:
Будь первым иль последним,
Подарок свой давай сюда —
И ты тогда наследник!

Вольпоне видит страшный сон, —
Мигнуть не может глазом!
Но, золота заслышав звон,
Рукою ослабевшей он
Поставит подпись разом...

Кто больше золота дает —
Наследник тот, наследник тот!

3

КАРЕТА

Кати, кати, карета,
По торному пути!
Ах, надо б до рассвета
Наследство обрести!..
Вперед! И как ни сетуй —
Кати, кати, кати!

Плечом нажму на кузов,
Авось пойдет скорей!
В карете мало груза —
Мешок сухих костей...
От нашего союза
Она пойдет скорей...

Еще, еще немного!
Возница, не дремли!..
Тяжелая дорога...
Да, где ж его берлога?
Хоть на краю земли!

За золотом в погоню —
По торному пути!
Гремя на перегоне,
Дружней храпите, кони!
В раскачке, в тряске, в звоне —
Карета на разгоне...
Кати, кати, кати!

4

ПЕСНЯ

Сокрытое от взора
В дубовых сундуках —
Его наследство скоро
Блеснет у нас в руках...

Здесь сотни мисок супа,
Здесь тонны чеснока
Сложила молча скупость
На днище сундука!

И вот заплывший жиром,
От выпивки багров,
Вольпоне правит миром
С высоких сундуков...

Друзья!
Червонцев кучи
Тускнеют под замком...
Мы их блестеть научим!
Мы им глаза протрем!..

1931

ПЕСНЯ ПРОЛЕТАРИЕВ О СОЛНЦЕ

Погонщик мулов и матрос,
Кузнец и водонос,
Стаканы, полные вином,
Мы к солнцу вознесем...

Матрос

За корабельщиков я пью
Веселых и босых,
За солнце, всплывшее на юг
Из-за холстов косых.

Кузнец

Я пью за вольных кузнецов,
За честных кузниц дым,
За солнце пил и молотков
Над миром молодым...

Погонщик мулов

Я пью за топот легких ног,
За быстрый звон копыт,
За солнце, что, как часовой,
Над отдыхом стоит.

Каменщик

Я пью за камень строевой,
Обтесанный трудом,
За солнце, что, как часовой,
Обходит новый дом...

Ткачиха

За челноков веселый строй,
Что мечется, жужжа,
За солнце, вышитое мной
На флаге мятежа...

Водонос

Я пью за кожу бурдюков,
За парус вдалеке,
За солнце, что поможет нам
Обсохнуть на песке.

Уличный певец

Я пью! — Какое торжество —
За вечный золотой,
За неразменный блеск его
Над вольной головой...
Кирка, лопата и челнок,
И молот, и весло,
Одна любовь, один поток,
Одних лучей тепло...
Пред нами распахнулась ширь!
Какой восторг в груди!
И солнце — вечный поводырь —
Шагает впереди.
Друзья! Смотрите! Враг суров,
Сутуловат и сед,
А солнце вырастило нас
Для песен и побед...
Ты золото копил весь век,
Трусливый, как сурок,
А мы — мы обойдем его,
Чтоб не запачкать ног...
Погонщик мулов и матрос,
Кузнец и водонос,
Стаканы, полные вином,
Мы к солнцу вознесем...

1931

ДЖО ХИЛЛ

ПОП И РАБ

(Песня американского комсомола)

Проповедник, заросший как медведь,
Приходит по вечерам,
Как надо жить, как не надо жить,
Он рассказывает нам.
Но если спросишь его об еде,
О том, чего хочет рот,
Он свистнет жаворонком в ответ,
Он зябликом запоет.

Припев:

Вы будете есть, вы будете есть,
Когда придет конец,
На небе, среди звездных птиц
И солнечных овец...
Вкушайте сено, бейтесь лбом,
Молитесь каждый час,
И рая сладкие врата
Откроются для вас.

Притворяются нищими они,
Хоть набита добром сума,
Они злятся, прыгают, кричат,

Для вида сходя с ума,
Но лишь монету на барабан
Ты с горя кинешь им,
Они улыбнутся и запоют
Голосом иным...

Припев:

Вы будете есть, вы будете есть,
Когда придет конец... и т. д.

Солдаты армии креста
И разные прыгуны
Кружиться, прыгать и кричать
До конца своих дней должны...
— Во имя бога и Христа,
Гони монету нам,
И, ах, вам будет хорошо,
Ах, будет сладко вам...

Припев:

Вы будете есть — и т. д.

Товарищи! Скорей сюда,
Веселою гурьбой.
Мы за хорошую еду
Дадим последний бой...
Когда ж врага мы победим
И прошлое разобьем,
Мы нашим прежним господам
Торжественно споем...

Припев:

Вы будете есть — и т. д.

Вы будете есть, вы будете есть,
Когда нажарите еду
Для множества едоков...
О, это будет полезно вам
Трудиться в поте лица...
Работайте, работайте,
Работайте до конца...

Припев:

Вы будете есть, вы будете есть,
Когда придет конец,
На небе, среди звездных птиц
И солнечных овец...
Вкушайте сено, бейтесь лбом,
Молитесь каждый час,
И рая сладкие врата
Откроются для вас.

<1926>

НАЗЫМ ХИКМЕТ

ВОСТОК И ЗАПАД

Мистерии,
Покорность,
Фатализм,
Решетчатые окна,
Вырезной карниз,
Караван-сараи и караваны,
На площадях прохладные фонтаны.

Под рассказ Шехерезады
Год и тысячу лет
Отдыхает падишах над бассейном лазурным,
Через легкий и розовый минарет
Перекинулись коралловые котурны.

Женщина с носом, раскрашенным хной,
Розы на пяльцах вышивает ногой;
По улицам рыщут собаки и люди,
Султанша танцует на серебряном блюде,
И с восходом зари
И навстречу ветрам
Стонет зеленобородый имам.

Вот Восток европейских поэм и романов,
Тысячи книг,
Выходящих в течение минутного срока,

Но ни вчера, ни сегодня,
Ни поздно, ни рано
Нет, не было и не будет такого Востока.
Дом для всех,
Кроме жителей этой страны,
Где рабы на гибель обречены.
В этой житнице, полной пшеницы и золота,
Голод околевает от голода.
Азия.
Смуглые люди Китая,
Легконогие кули
И тонкие китаянки,
Словно желтые свечи, свисают
С бронированных башен
Дредноутов янки...
И у черных Афганских ворот,
И на самых снежных скалах Эвереста
Офицеры Британии отплясывают фокстрот
Под дребезжания негритянского оркестра.
Они обмакивают черные ногти ног
В Ганг, где плывут белозубые трупы индусов.

Анатолия,
Ты полигон,
На котором Армстронг
Рассыпает снарядов свистящие бусы.
Довольно.
Грудь Азии полна,
Глотка Востока набита до края,
Довольно глотала наша страна
Пшеницу свинцового урожая.
И если даже
Один из нас
Воскресит нашу последнюю издохшую корову,
Мы руку ему отведем сурово
И скажем:
— Исчезни с наших глаз.
Даже вы,
Вы, Пьер Лоти, —
Эта вошь по клеенчато-желтой коже,
Переносящая тиф
От брата к брату, —

Даже эта вошь
Нам родней и дороже,
Чем ваша выправка французского солдата.

Ах,
Вы забыли,
Как в тихой воде
Отражались виноградные глаза Азиадэ,
И ваше орудие разметало злобно
Поставленный в наших сердцах
Камень ее надгробный.
Тот, кто не знает,
Пускай узнает:
Вы нарумяненный шарлатан.
Вы, прикрывая кинжал в кармане,
Нам продавали в караван-сарае
Гнилые французские ткани,
Сотню на сотне беря за обман.
Вам броненосцы свозили мины,
Литым бушпритом воду жуя.
Мы знаем теперь,
Из какой свинины
Вы были вырезаны, буржуа.
Если б я верил
В бессмертие вашей души, —
В час мятежа,
Когда пули поют, как осы,
Я бы вздернул ее
Под гуденье машин
На мосту —
И закурил папиросу.
О санкюлоты Европы!
Я протянул свои руки вам
Через овраги и тропы,
Мы все протянули руки вам,
О санкюлоты Европы!
Сдвигайте ж коней
Под копытный гром
С нашими красными конями.
Восстающий Восток
Кровавым платком
Размахивает перед нами.

Остановка близка. Нам путь готов.
Пожаром дымись, отчизна.
Наша конница грянет шипами подков
В брюхо империализма.

1926

ОТВЕТ НЕФТИ

Я прохожу по городу черных циклопов,
Вызванных нами из-под земли.
Мы им построили город,
Протоптали тропы,
Сбили костяк
И глаза зажгли.

Сейчас, когда гиганты спят
В своих глубоких черных постелях,
В двери каждого дома
Мои кулаки стучат,
Будят голос гигантов
В костлявом, промасленном теле.

У каждой двери,
Грохоча и стеня,
Я говорю, задыхаясь в пыли:
— Слушай, Нефть.
Слушай меня,
Слушай, Нефть,
Из седьмой глубины земли.

Ты знаешь, что мы
В поте натруженных лбов,
С живыми глазами
Нашего мертвого Мастера,
Хотим громоздить
Кирпичные кубы домов,
Перекинуть мосты,
Вдунуть свежую кровь
В проржавелые снасти.

Мы хотим, чтобы кровь твоя, проступая
На проводах, протянутых в темь

Лампами,
Как цветами Ивана Купалы,
Расцветила бураны
Сибирских деревень.

Мы хотим,
Чтобы кровь твоих черных баллонов
Билась в жилах
Ста сорока миллионов
Не убывая,
Не иссякая,
Не умолкая никогда,
Как сказочная живая вода.

Мы музыку мира
Хотим услышать
В твоих фонтанах,
Летящих из вышек.
Мы любим тебя
В маслянистой пене,
Оседающей поцелуями
На лоске кожанок.
Мы хотим гладить тебя на коленях,
Как черные волосы
Азербайджанок.

Мы хотим...
Но если на горизонте кордона
Вырастут копья
Враждебных эскадронов;

Если на зеленую воду морей,
Где проплывают
Оранжевые рыбы,
Упадут решетчатые тени рей
И пройдут броненосцев
Мазутные глыбы;

Если будет виден
Хрипящий вылет
Птицы-убийцы,
Летящей над лесами,

У которой выжжен
На ревущих крыльях
Оттиск британского знамени;

Если будет падать
На землю как зараза
Белая темь
Ядовитого газа;
Если британский лорд,
Как сумасшедший Пьер из Амьена,
Начнет собирать
Крестоносцев плечистых,
Если с перекладин креста
Будет капать кровавая пена
Пригвожденных к нему коммунистов,

Скажи, Нефть,
Отвечай, Нефть,
Ты, от которой огни зажжены,
Готова ли бросить
Свой пыл и гнев
На защиту нашей страны?

И вдруг, закачавшись в сырой постели,
Из вязкой своей могилы
Ответила Нефть:
— Хазырам. Бэли. [1]
Язык Нефти — язык силы.

1928

ПЕСНЯ ПЬЮЩИХ СОЛНЦЕ

Эта песня —
Песня людей,
Пьющих Солнце
Из круглых кувшинов.
Это — космы волос,
Водопадом огней
Обдающих шеи и спины.

---

[1] Готова. Да (азерб.).

Это — огненный войлок гончих собак,
Догоняющих зверя воем,
Это — бешеный смерч
На обугленных лбах
Босых медноногих героев.

Я тоже с героями рядом шагал,
Я волосы солнечным светом обвил,
По мосту, ведущему к Солнцу, гремел,
Трубил в разъяренные местью рога;
Я Солнце из круглых кувшинов пил,
Я песню с героями пел.

1

Наше сердце
Взяло размах у земли,
Скорость у ветра и тяжесть у прилива.
Нашим сонным потягиванием
Мы бы могли
Своротить белозубые челюсти
Львам рыжегривым.

Нам открыта
Лучшая радость на свете.
Как трепещет под нами
Оседланный ветер.
Орлы, взлетая, парят крылами,
Срывают скалы,
Выламывают сосны и дубы.

Обнаженные всадники
С пламенными руками
Вздымают плетьми
Лошадей на дыбы.

Нападение на Солнце.
Нападение на Солнце.
Мы захватим Солнце.
Мы захватим Солнце.

2

В нашем походе
Не нужно таких —
Скованных по рукам и ногам
Каторжной цепью слез родных,
Тоской по родным очагам.

Нету места в нашей толпе
Тому, кто трусливо на Солнце щерится,
Тому, кто живет в пустой скорлупе
Своего одинокого сердца.

А в этой расплавленной руде,
Вылитой Солнцем на нас,
Горит миллион кровавых сердец
В этот восторженный час.

Тот, кто с нами,
Всегда и везде
Сердце свое отдаст
Этой клокочущей руде,
Вылитой Солнцем на нас.

Нападение на Солнце.
Нападение на Солнце.
Мы захватим Солнце.
Мы захватим Солнце.

3

Наши пращуры —
Железо, вода и огонь.
Наши жены
Кормят Солнцем детей.
Наши медные бороды пахнут землей,
Наша ладонь
Пропитана жирным потом полей.
Наша радость густа
И нагрета кровью,
Ею каждый путник повит,
Как горячее юношеское изголовье
Раздражением первой любви.

Вскидывая крючья лестниц на звезды,
Ступая по черепам
Погибших друзей,
Мы подымаемся к Солнцу по воздуху
Баснословной ордою людей.

Те, кто погибли, погибли в борьбе.
Солнце служит для них могилой.
Их отвага гремит
В боевой трубе,
Содрогаясь, как бычьи жилы.

Нападение на Солнце.
Нападение на Солнце.
Мы захватим Солнце.
Мы захватим Солнце.

4

Дымятся кровавые капли винограда,
Грузные кирпичные трубы,
Вращаясь, ревут.
Громко кричит вожак отряда,
Тот, за которым идут.

Голос нашего вожака,
Гремящий в пустынной мгле,
Леденит глаза
Голодным волкам,
Пригибает траву к земле.

Прикажи нам умереть.
Прикажи.
Мы не боимся ни боя, ни казни.
Мы пьем в твоем голосе
Солнце и жизнь.
Мы — в энтузиазме энтузиазма.

На туманном занавесе
Воспаленных пожарами дней,

В этой лаве светил,
В этом неудержимом потопе
Мчатся люди,
Горяча огнегривых коней,
Раздирая червонное небо
Концами обугленных копий.

Нападение на Солнце.
Нападение на Солнце.
Мы захватим Солнце.
Мы захватим Солнце.

5

Земля медная,
Небо медное,
Вся вселенная — огненный водоем.

Песню пьющих Солнце пой.
Поем. . .

1928

ПУТЕШЕСТВИЕ К НЕФТИ

Если мыслящий мозг нашей страны Москва, Баку — это сердце, наполняющее ее свежей кровью.

1

ОТЪЕЗД

Первый окрик звонка.
Перебежками ног переполнен перрон.
Второй окрик звонка —
Лихорадка прошла по колесам,
И в ознобе затрясся вагон.
Я увидел огни, пролетевшие косо,
Над платформой

Носильщика быстрый передник,
Я услышал в открытое настежь окно
Второй звонок, последний звонок.
Последний.

Меня кавказский поезд везет
Не в шипучие дебри
Минеральных вод,
Не к бутафории гор и ущелий
Из бурого воска,
Не к санаторным традициям Кисловодска,
Не к солнцу, что встало, окаменев.
Я еду в страну
По имени — Нефть.

И как скороходов выпускаю в простор
Удивленные нефтью
За строкою строку.
Мой маршрут — через Ростов,
Москва — Баку.

2

В ДОРОГЕ. ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

По тропам рельс оторопь поезда,
Телеграфные столбы отбегают, падая.
Я высунул тело
В окно до пояса
И окунулся в воздуха студеный паводок
И слушал воздух,
Полный голосом поезда.

Воздух, синий, как летние моря,
Прохладный, как летние моря.

Зыбкие колеса качаются и ноют
Церквами Пречистенки
И рынками Арбата.
Огромная Москва, как черный дредноут,

Погружается
В багровую бухту заката.

Впереди нас,
Позади нас,
С четырех сторон — равнина.
Ровная, ровная, пустая,
Без сторон, без конца, без края.

Над ней кружится синий дым,
Сухая стелется трава,
Ныряет под откос.

Вдруг сразу над плечом моим
Высовывается голова.
О, тяжесть вологодских кос,
О, глаз озерных синева!

Мне в этот час не по себе,
Повсюду пыль, как ни гляди.
И проникает в мой хребет
Тепло ее тугой груди.

Я осязаю холодок
Ее руки,
И комсомольский ее платок
Порхает у моей щеки,
Как птицы красное крыло,
Что в степи ветром занесло.

И в руслах жил влюбленность кроется,
Я — как вяжущий плод,
Налитый прохладою.
А по тропам рельс — оторопь поезда,
Телеграфные столбы отбегают, падая.

Падает на землю, бегущую под нами,
Огненная очередь освещенных окон.
И мы проходим белыми вечерами
Караваном сияний к дебрям Востока.

3

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Второй день моего пути,
Мы приблизились на день
К нашей стоянке.
С каждым пройденным метром
День начинает расти.
И длиннеют пролеты,
И реже идут полустанки.
Мы как нож прорезаем сосновую вьюгу.

Наши рубахи пропитаны запахом игл.

Пассажиры всё громче
Читают друг друга,
Как интересную книгу.
И за двое суток
Совместной еды и питья
Они подружились,
Как будто бы с детства — друзья.

Такое содружество не оттого ль,
Что нас качает один вагон,
Что пьем одну воду,
Едим одну соль,
Глядим на один горизонт?
Ненадолго нас эта дружба связала:
Она распадается у вокзала...

А нас обтекают с обеих сторон
Золотые реки хлебов,
И в этом золоте серый бетон,
Ноздреватые кубы фабричных домов.
И мимо деревни скользим легко
Средь соломенных крыш
И беленых стенок.
Из глиняных крынок топленое молоко
Требует губ пузырями пенок.

Белобрысые дети поезду вслед
Орут под галочий грай:
Дай газет,

Дай газет,
Дай газет,
Дай.

Этот голос не просьба, а повеление.
Дай газет,
Дай.
Это голос крестьянина,
Водрузившего Ленина
В угол Иисуса Христа.
Это голос гиганта
С лицом как бронза,
С глазами синими как лед,
Который вдыхает в омертвелые бронхи
Воздуха водоворот.

Второй день моего пути,
Мы приблизились на день
К нашей стоянке.
С каждым пройденным метром
День начинает расти,
Длиннеют пролеты,
Реже идут полустанки.

4

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Вот мы пролетаем через Донбасс,
Лоснящийся на солнце, как негр-боксер;
Угольная пыль сурмит глаза у нас,
Садится на одежду,
Как черный снег.

Черная одежда в Донбассе не траур.
Выпрями спину — оглянись по кругу:
Уголь — налево, уголь направо,
Уголь впереди и сзади уголь.

Мы видели Ростов — столицу угля,
По висячему мосту
Перепрыгнули Дон.
Здесь кубанцы тракторами косят поля
И на тракторах пьют самогон.

5

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня последний день пути.
За эти четверо дней
Сколько успело войти и уйти
Случайных наших друзей.
Мы улыбаясь провожали их
И той же улыбкой встречали других.

Степными ветрами вагон пропах,
И вот на площадку к нам
Влезает курчавое стадо папах
Смуглых кавказских крестьян.

И как деревянные идолы в ряд
Садятся над грудой мешков.
Глаза скосив, в окно глядят
И крутят ремни усов.

Встает сквозь окон синюю стынь
Казбека старинная голова,
На ржавых полях сухие кусты
И догола выстрижена трава.

Нюхают зелень мертвого леса
Лошади с талиями балерин.
Всеми тонами зеленого цвета
Вышит ковер
Кавказских равнин.

Роты цистерн на песке и сланце
Протопали в дебри гористой тьмы.
Мутную воду дагестанских станций
Пили мы и помним мы.

Жарко. Жарко. Жарко.

И на фоне горизонта
Сухого и тяжелого

Каспийского моря
Растопленное олово.

Жарко. Жарко. Жарко.
Белое пламя
Обжигает голову.

6

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Холодных обвалов проседь
Мерещится на бегу.
— Сколько времени?
— Восемь.
Через три часа в Баку.

Нет — через два с половиной,
Нет — через полтора.
О, если б взмах ястребиных
Крыльев имел циферблат!

Вдруг поезд уперся в твердые тени
Гористой ночи — и тормоз — стоп.
Я потянулся затекшим телом
И сошел на горячий и мягкий песок.

Лицо неба как сон.
И кобальтовый свет водорода
Вкраплен мутными точками
В густо-черную воздуха воду.

Всеми жилами тело мое горит.
Ляг на темную землю,
Вытянись и усни.
Слушай горных источников
Медленный ритм
И на круглые звезды взгляни.

Но заснуть не могу,
Потому что кругом
Запах масла и нефти
Ползет по песку.
— Зачем остановились?

— Кого ждем?
— Встречный поезд из Баку.

Вдруг темнота вспыхнула снизу,
Как занавес из черного шелка.
Песок горел,
И по рельсам сизым
Всеми рычагами,
Всеми шатунами
Встречный поезд прощелкал.
Вот он китайским драконом змеится,
Вот он шипит над камнями,
Качая султан из перьев птицы,
Которую зовут — Пламя.

7

ПРИЕЗД

Приехали.
К нефти принес меня
Поезд, нефтью питавший
Топок чугунную грудь,
Проделавший ровно в четыре дня
Четырехмесячный путь.

Я удивленно смотрю на Баку,
Вдыхая дух маслянистой жары,
Как будто смотрю на фосфорный купол
Плывущей в песках горы.

Как мне хочется кинуться
В омут ночи
И бежать, и петь, и кричать на бегу,
Как не пел, не кричал и не бегал давно,

Целовать этих черных людей
В замасленных рубашках рабочих,
Падать ниц
На святую землю Баку
И глотать эту нефть,
Как черное вино.

1929

ПОЭТ

Я — поэт.
Мой свист, как сталь,
Вонзает молнии
В стены домов.

Мои глаза
На двести метров вдаль
Различают двух
Сцепившихся жуков.

И этим ли глазам
Сквозь ночи мрак и холод
Не разглядеть,
Что мир двуногих
Надвое расколот. . .
. . . .
Если ты спросишь,
Из какой я части света,
Где я жил и что я видал,
Загляни в мой карман:
Тебе ответит на это
Ломоть черного хлеба,
Читающий «Капитал».

Я — поэт,
Понимаю поэзии дело,
Не развлекаюсь разговорами о лазури.
Моя самая любимая газелла —
Анти-Дюринг.

Я — поэт,
Я ронял стихотворные темы
Больше, чем капель осень роняла,
Но прежде чем запеть
Мои конструктивные поэмы,
Я должен стать
Начетчиком «Капитала». . .

Я — старый волк футбола. . .
Когда форварда Уругвая

(Еще в начале нашего века)
Были ордой ребятишек веселых, —
Я на землю бросал
Самых тяжелых,
Самых огромных хавбеков. . .

Я — старый волк футбола.
И когда мяч из центра
Несется в лоб,
Я его отбиваю:

Гоп. . .

И он, пролетая под балкой ворот,
Над форвардов
Ошалелой грудой,
Через разинутый
От удивленья рот
Голкипера, —
Влетает в его желудок. . .
Это мой метод защиты.

Не правда ли — хороша?
Мои башмаки научились
Ей у карандаша.
И карандашей этих строки —
Не перекличка лир;
Они проникают умело
В дыры вашего тела —
В ваши девять дыр.
И каждого слова
Грубый кусок
Камнем ложится
В плесень кишок.

Мы — поэты. . .
Ну. . .
Мы сказали уже об этом.

1931

А. КОЗЯРСКИЙ

КРАСНЫЙ ПОЛК ВАРШАВЫ

(Польская революционная песня)

Пану не служим своим штыком,
Трон не храним мы кровавый,
Счастье народа мы с бою возьмем,
Мы — красный полк Варшавы.

Выросли мы средь мазурских полей,
В городе зла и позора.
Нас угнетает до нынешних дней
Шляхты проклятая свора.

Не одурманить словами ксендзов,
Не оплести нас цепями!
В битву ведет молодых бойцов
Красное наше знамя.

Смело вздымайте кровавый флаг —
Вестником радостной славы!
В битву идем, и неведом нам страх,
Мы — красный полк Варшавы.

1931

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

НАПУТСТВИЕ ЩЕЛИ

Хлопы!
Слов вам не надо.
Слова за дела не зачтем.
Сильней разговоров — правда-отрада:
Знать, куда идешь и за что. . .
Солому кровель сменили
Вы на клюку бродяжью.
Летите, как аисты,
Вестники были, —
Крестьянский мир будоражить.
Прежде чем в инее белом повиснут
Ветви облезлые, узкие —
Будете все вы уже за Вислой,
Будете в Польше русской.
Из деревни в деревню,
От дома к дому
Идите, семя бросая;
Скажите:
Из Галиции зовет на помощь
Хлоп,
Вольных полей хозяин;
Скажите, что выгнал хлоп из поместий
Панов всех — погань такую.
Что кайзер сдурел от злобы и мести,
Что с войском его мы воюем;
Что не отдадим мы врагам ни шагу
Земли, на которой взросли мы.
Вот только господ окружите ватагой,
Расправьтесь,
Как мы со своими.
За вилы пускай крестьяне возьмутся —
Только не для навоза!
Скоро на свете переведутся
Помещики, —
Мы им угроза.
Пусть только серые, все мы повстанем,
Сыны полей и орала, —

Нет силы, которая —
Знаем заране —
Пред нами бы устояла!
Вам не видно, не видно самим, какая
В вас таится подспудная сила.
Веревкой не витая, доля лихая
Всем нам шею петлей скрутила.
Довольно она давила, сжимала.
Вставай — ярмо разорвется!
Как Висла, рекою червонной и шалой,
Через край сукровица польется.
Что ночь, «Подымайтесь!» — в небо кричим мы,
Огнями сигналы наладим.
Пора из-за Вислы откликнуться дымом
Пожарам господских усадеб!
Телег не чинить нам на панщину больше —
Погибай урожай осенний!
Передайте хлопам из русской Польши
Братский привет, уваженье.
Общее горе сплотило нас близко,
Братской связало нитью.
Дымится земля — мужицкая миска, —
Хлебово будет. . .
Идите!

1930

ВАРИАНТЫ

ПТИЦЕЛОВ

(Стр. 49)

Песни

1

Ах, у Диделя в котомке
Много вкусных есть вещей:
Две лепешки овсяные,
Фляжка кислого вина!

Третий день, как, бросив школу,
Он гуляет по полям,
Смотрит в небо, свищет птицам
И смеется невзначай.

Дидель, Дидель, ты покинул
В Кельне, старом и печальном,
Девушку с косою русой, —
Дочь трактирщика она!

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай!

Третий день в трактир приходит
Королевский красный рейтер, —
Перья сокола на шляпе
И с раструбом сапоги!

Требует он кружку пива,
С талера не просит сдачи,
И глядит, глядит на Марту,
Крутит ус и щурит глаз.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай!

2

Целый день — одна забота:
Прясть и прясть не уставая,
Слушать, как у ног уютно
Кот мурлычет и ворчит.

Сердце ж девушки — пушинка,
Под дыханием случайным
Подымается, кружится,
Тает в небе голубом.

Так и сердце бедной Марты:
Дидель дунул — закружилось
Сердце легкое, и с ветром
Над полями понеслось.

По полям гуляет ветер,
Шляпу с Диделя срывает,
Щеки нежные румянит,
Пылью дует — и поет.

И как голубь сизокрылый,
Сердце трепетное Марты
Вслед за Диделем несется
По лесам и по лугам.

И когда, взлетев над рожью,
Жаворонок распевает,
Дидель знает: это сердце
Радостью благовестит!

И когда росой холодной
По утрам покрыты кудри,
Дидель знает — это сердце
По любви своей грустит!

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай!

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

(Стр. 51)

Вместо последних 14 строк

Когда ж усталость овладеет мною
И я засну легчайшим, смертным сном,
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжелый ясеневый посох
Над кружкой пива и широкой шляпой,
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший»

Прохожий, если трезв ты, в честь его
Напейся пьяным, ибо он любил
Веселых пьяниц, если же, прохожий,
Ты без того достаточно хмелен,
Скажи ему: спокойно спи, бродяга,
Довольно пил ты — выспаться пора.

НОЧЬ

(Стр. 53)

Вместо последних 4 строк

Но за окнами в сумерках мостовых
Молотками стучат шаги,
Но веселая молодость, там, внизу,
Запевая, проходит в ночь,
И за нею следом клубится в стынь
Очищающий голос труб;
Мимо окон движется круг планет;
Наступает полночный час.

АРБУЗ

(Стр. 65)

Баллада об арбузе

Свежак задувает. Наотмашь, в разгон,
Осеннее море открыто...
Арбуз за арбузом — и трюм нагружен,
Арбузами шхуна набита.

Не есть нам борща, самогону не пить,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть,
И мы паруса развернули.

На дальний песок налетает бурун,
Чтоб дрогнуть и вдрызг разлететься.
Я выберу самый огромный кавун
И ножиком вырежу сердце.

Вот день окунулся в холодный рассол,
Вот вытолкнут месяц волнами...
Свежак задувает! Наотмашь! Пошел!
Дубок, шевели парусами.
Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

А ветер свежеет, а море хрипит,
А тучи сдвигаются плотно,
Надтреснута мачта, обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна...

И ветер, запутанный в жестких снастях,
Зубами их перегрызает,
И кровь запеклась на матросских руках,
И шкипер на руль налегает.
Свирепою пеною море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно.

Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу;
Я ветер любил, я бродягою жил,
И море дает мне награду.
Мне жизни беспутной теперь не сберечь,
И мачта упала, и в кузове течь.
. . . .

А солнце вдали над лиманом встает,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка. И по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем.

О дальний песок ударяет бурун,
Скумбрийское стадо играет;
Низовый на зыби качает кавун,
И к берегу он подплывает.

Конец путешествия здесь он найдет,
Окончены ветер и качка;
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною рыбачка,
И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое.

ОСЕНЬ

(Стр. 69)

Охотник

1—14 строки

По жнитвам, по селам, по берегам
Осенний проходит зной,
Страшнее и тягостнее по ночам
Собачий несется вой...
Так вот она осень. Сады и степь,
Отлогий морской песок
Напитаны ею, как черствый хлеб,
Который вином намок.
Я знаю дороги в степной глуши,
Пустые, как сон, как гроб,
Там дичь и туман, и в ночной тиши
Там мечется ветер в лоб.

БЕССОННИЦА

(Стр. 70)

Вместо 1—4 строк

Встану в полночь трезвый и здоровый,
Дверь открою — и выйду в сени,
Выйду — и что ж — я в бору сосновом,
Немые сосны в черном опереньe.
Полночь налево и полночь направо —
Двор заполнило мраком нелюдимым,
Мечутся на проволоке волкодавы
Быстрыми кусками злого дыма...
Сзади, за стеной, радостный и тонкий
Голос ребенка, да стол, да усталость.
Строчкой на бумаге, кляксой на клеенке
Мое вдохновенье — всё, что осталось.

ВЕСНА

(Стр. 72)

1—4 строки

Вокзалы весной закоптелые клетки —
Где черные птицы и скользкие ветки.
И к желтым часам, нависающим низко,
Их песня летит от раската до визга.

49—80 строки

Чтоб встретить любовь под набрякшей звездою,
Я в этот полуночный час не достоин,
Чтоб, уши наставив, услышать за речкой
Стенанье волчиц, распалившихся течкой,
Иль в мерзлой траве, над брусникою горькой
Шипеть чернышом над случайной тетеркой,
В чернильном затоне, где корни вокруг,
Обрызгать молоками щучью икру;
Гоняться за рыбой, кружиться над птицей,
Промерзлым болотом ходить за волчицей,
Прищурив глаза, раздувая крыло,
Почуять сквозь пух молодое тепло.
И если ты волк, то бредешь по оврагу,
И если ты вальдшнеп — несешься на тягу,
Коль щука — идешь в поднизовие рек,
И звезды считай, если ты человек...
Когда человек — тебе некуда деться,
Губу закусив, с улетающим сердцем
Тебе остается прижаться к окну,
Следя пролетающую весну.
Ты можешь увидеть: во славу природы
Раскиданы звери, распахнуты воды,
И поезд, летящий по вешней траве,
Как сказочный змей с фонарем в голове.
Поет паровоз, надрываясь, как птица:
«Хотится, хотится, хотится, хотится».

ДУМА ПРО ОПАНАСА

(Стр. 77)

Черновые наброски к IV главе

Украина, мать родная,
Край казацкий милый,
Запеваешь, зарастая
Кукурузной силой.
Из глубокого ухаба
Солнце выползает.
Степь раскинулась, как баба,
Стонет и зевает...
Словно баба молодая
В барвинках и росах:
Мак-дремлюга зацветает
В кукурузных косах.
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом...
В смертный путь выходит Коган
Вместе с Опанасом.
Им навстречу кукуруза
Запевает вьюгой:
«Кровь — постылая обуза,
Опанас-катюга...»

После строки 48

А ему сухая мята
Волоснею свищет:
«На степях не будет кату
Ни воды, ни пищи».

Строки 13—53

Ой, потрескала от жара
Равнина густая...
Коган скинул окуляры,
Платком протирает.
«Надо сделать остановку —
Ходить надоело.
Ну, Панько, бери винтовку,
Живее за дело».
Опанас глядеть боится,
Усами моргает...
Где рушница? А рушница
Дрожит как дурная.
Голова болит от звона,
Прилипла усталость.
Ты послушай, три патрона
В обойме осталось.

Варианты к VIII главе

Пять их вышло в синий вечер
Расстрелу навстречу.
Пять смертей в обойме сжато,
По смерти на брата...
Зловуны на карауле.
Сарай распахнули.

Их последняя дорога
Не дальше порога.
Опанас, шагай смелее,
Гляди веселее.
Тлеет лампочка под крышей.
Гей! Голову выше...
[Ой, поднялся] Заклубился у порога
Застреленный Коган —
Лоб рассекся от удара,
Горят окуляры...
Усмехается сурово:
«Опанас! Здорово.
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою».

19—36 строки эпилога

Но когда придет из Балты
По тропке знакомой
Отпускной красноармеец,
Возвращаясь к дому,
Он за Балтою увидит
Вольную дорогу.
Он заметит на пригорке
Вымытый дождями
Меж кустов полыни горькой
Бел-горючий камень.
Он нагнется и подымет
Бел-горючий камень
И увидит белый череп
С дыркой над глазами.
И промолвит, опечалясь,
У речной прохлады:
«Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб как надо».
И пойдет через равнину
Над водой речною
В молодую Украину,
В жито молодое.

«ОТ ЧЕРНОГО ХЛЕБА И ВЕРНОЙ ЖЕНЫ...»

(Стр. 93)

Четырьмя ветрами засыпан след,
Вдохновенье с нами, а голоса нет...
В стуже какой он иссяк недавно,
В пьянстве каком или в стычке славной...
Нет, не узнаем... Иди, бреди —
Иглы мороза звенят в груди...
Всех лошадей нас били копыта,
Всеми дождями глаза промыты,
Всеми голосами испытан слух.

РАЗГОВОР С КОМСОМОЛЬЦЕМ Н. ДЕМЕНТЬЕВЫМ

(Стр. 94)

99—123 строки

Звездною порою
Ветры говорят:
— Коля, что с тобою?
— Истлеваю, брат! ..
Жили мы без страха,
А теперь лежим —
Белые как сахар,
Легкие как дым. . .
Ветер, волю славящий
С четырех сторон, —
Ребра, будто клавиши,
Перебирает он.
Высохло тело —
Плесень да ржа,
Сумка истлела —
И книги лежат. . .
В чебреце бездомном
Наших песен знак:
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

(Стр. 106)

После 28 строки

Вода! Вода! Она повсюду пела,
Под камнем в школе, на столе моем.
На мокрое, на пасмурное дело,
Преступная, она ползла бочком,
Она вытягивалась веткой синей
И деревом свисала надо мной.
Она лежала выпуклой пустыней,
Она стояла вогнутой стеной.
Я шел за ней,
Я горевал у мола...
В кристаллах соли млели невода...
Там открывалась мне другая школа,
Где обучали ветер и вода.
И никого. И только вой уключин
Да полночь в кособоких парусах.
Так был я одиночеству обучен,
Так с месяцем стоял я на часах.
А в мире были войны и тревоги;
Срывались крыши. Двигались дороги. . .
Худые пчелы кровь таскали в ульи,
Гремя кудрями, сваливались боги,
Хлестала нефть, и сыровец смердел. . .

А надо мною только ветры дули...
Взрывался парус... Орион гудел.
(Где ты, мой мир! Изъеденный и жесткий,
Измеренный, ощупанный рукой, —
Я требую, чтоб не качались доски,
Чтоб плотно мир пружинил под пятой.)
Я шел к своим. Но в сумерки чернея,
Горбаты, угловаты и дики,
В меня кидали ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки...
Отверженный! Как я запрет нарушу,
Как сочетаю после в бытие
Вот эту неприкаянную сушу
И злое одиночество мое.
Безводный мир... Гранитные оскалы...
Сияние отточенной звезды...
Сухие корни... Лопнувшие скалы...
И русла рек, где не было воды.
Обвалы, словно каменная ругань,
Скрип саранчи и засухи следы...
Хотя б трава! Хотя бы возглас друга.
Хотя б любовь! Хотя бы тень воды.
Отверженный! Перед последним взлетом
Шагай и пой. Ногами землю бей!
Где поворот?
Сейчас за поворотом
Твой 3-й мир предстал.

Рукопись обрывается. После слов «3-й мир» — знак сноски. По-видимому, Багрицкий предполагал дать подстрочное примечание.

CYPRINUS CARPIO

(Стр. 108)

Из Малой Азии сюда
Он шел. Его несла вода.
По рекам вверх. Неживая
Вода болот, озер слюда
Глядели, как плыла орда,
Спинными перьями кивая...

И сине-зеленый с боков
В потьмах водяной колеи,
Он терся в чаще тростников
Копейками чешуи.

Зеленый огонь на щеке,
Обвисли косые усы,
Зрачок в золотом ободке
Вращался, как на оси.

Он пел, оплывая пруды,
Сражаясь с безумным ручьем...
Поборник проточной воды,
Он пойман и приручен.

Лягушника легкий кружок
Откинув усатой губой,
Плывет на знакомый звонок
За крошками в полдень и зной...

Он бросил студеную глубь
(Добротное брюхо растет):
На блюде, блестящем, как лед,
Один проплывает к столу...

Настали времена, чтоб в оде
Поговорить о рыбоводе...

Он бросил в садки свой восторг и пыл,
Советский водяной,
Самцов он молоками налил
И самок набил икрой.
Он пробует воду — пора, пора
Подумать об урожае:
Жуки на березах; туман; жара;
Плывите и размножайтесь.
Он шлюзы разводит во все концы,
Вода напирает упрямо...
И в брачной окраске плывут самцы
На стадо беременных самок.

В парное течение, в забор травяной,
В коричневой тины гниение
Уходят самцы на безмолвный бой,
На бой за оплодотворение...

Их глаз осторожен, плавник зубчат,
Покрыты баканом спины...
В любви молчат, в смерти молчат,
Молча валятся в тину...

Идет молчаливая игра —
Дикарская смерть и пляски...
И вот прилипает комками икра
К зеленой и клейкой ряске...
Тогда, закурив, говорит рыболов:
«Довольно сражаться! Получай приплод!»
Он трудится не покладая рук,
Сачком выбирая икру...

Он видит, как в студне точка растет:
Жабры, глаза и рот.

Он видит, как начинается рост,
Как возникает хвост.
Как первым движением плывет малек
На водяной цветок.

И эта крупинка любви дневной,
Этот скупой осколок,
В потемки кровей, в первобытный строй
Уводит тебя ихтиолог.

Над жирными водами встал туман,
Крутясь по прибрежным раскатам,
И этот малек, как левиафан,
Плывет по морским закатам...

И первые ночи, и первый прибой,
И первые звезды над головой...
Набиты руины мокрым мхом,
Курчавым, как волос негра,
Рыба, закинутая в него,
Дышит, не умирая.

В товарных вагонах
Она скользит
По рельсам скользким, как масло,
И ловкий приказчик, под жабры поддев,
Бросает ее на стойку.

Она по мрамору бьет хвостом;
Ее раздирают ножами...
Под грузом ее чашка весов
Взлетает, как шальная.

В плетеной корзине она лежит,
Сверкая синькой и медью,
Как зеркало, отражая в себе
Румяный сгусток моркови.

ВЕСНА, ВЕТЕРИНАР И Я

(Стр. 112)

Вместо последних 17 строк

Весеннее солнце, вода... угар...
Из ворот выходит ветеринар...
[Над ним распинается скворец,
Словно сгустки <неразборчиво> звезды висят...
Он смотрит вперед.]
Через шоссе, где поэт живет,
Где сосна, поднявшись в весь сосновый рост...
Из земли вырастает молодой завод —
Больших городов большой форпост...

Оттуда пахнет сыром сырым
И свежестью масла и молока,
Из труб вылетает стеклянный дым,
Тающий под вздохом ветерка.
А за спиною шумит вода,
[Пущенная] Подвластная обученным рукам.
Стада, стада и опять стада.
Бродят по орошенным лугам.
Из-под жирной кожи не лезет ребро,
Племенное здоровье цветет в глазах...
Хозяйское яростное тавро
Не выжжено на жирных боках...
В широкий коровник льется вода —
Воздух прозрачен, и ветер чист...
Склонясь над рулем, объезжает стада
В спортивной куртке мотоциклист.

СТИХИ О СЕБЕ

(Стр. 114)

Страна, это мы разговариваем с тобой —
Из наших углов, сжимая челюсти туго.
Это ветер свистит, это стынет покров голубой.
Это наши шаги повторяет безумная вьюга,
Но мы головы вверх... Но глаза выше горных вершин...
Прямо в звезды — [это] по дорогам твоим —
Задыхаясь иди впопыхах.
За отрядом отряд — мы проходим, клянясь и ругаясь,
Это <наши> мои... лопаты, взрывают дороги в...
Это мы подымаем твой слой, о земля кустовая.
Это наши динамо...

ВСТРЕЧА

(Стр. 117)

(Отрывок из поэмы
«Тиль Уленшпигель»)

Ламме

В осенний день над площадью стоит
Гудение и говор. И толпа
Толчется меж корзин и рундуков:
Осенние дары воды и суши
Здесь собраны расчетливой рукой.
Здесь сладким соком полон виноград,
Здесь пыльно-фиолетовые сливы
Навалены в холщовые мешки,
Здесь золотистым <переливом> яблок
Озарены плетеные корзины.

А далее на цинковых столах,
Зазубренные жабры раздувая,
Распластанные камбалы лежат.
Творог навален грудой увлажненной,
И восковое масло нежно тает
Под солнцем медленным. И теплой солью
Несет от туш, повисших на крюках.
Они висят вниз головами, ноги
У них обрублены, глаза прикрыты
Мутно-лиловою незрячей пленкой,
И шкуры содраны, и сукровица
На синих мордах жарко запеклась.

А небо воспаленное пылает
Горячею голубизной, и облак,
Как сбитые рукой умелой сливки,
Торжественно и медленно плывет.
Я в этот день шатаюсь по базару,
Гляжу на покупателей, склоненных
Над грудами товаров, осторожно
Толкаюсь меж корзин и рундуков,
Вдыхаю пыль, и жадное желанье
Тяжелым бременем меня гнетет.
О, где же ты, широкоплечий Ламме?
Великий мастер кухни и корчмы,
Зачем средь суетящейся толпы
Поярковую не увижу шляпу
И петушиное перо на ней?

Скрипят телег несмазанные оси,
И на возу, рогожею покрытом,
Пронзительно и тонко запевает
Невидимый петух, и за спиной
Вдруг ясное несется рокотанье.
И свистом жаворонка голосистым
Так неожиданно я оглушен.
И вот толстяк в широкополой шляпе,
В плаще изодранном бредет вразвалку.
Отчаянно гогочущего гуся
Под мышкою он держит, а в руке
Сплетенная из ивняка корзина.
В ней яблоки, говядина и спаржа,
И розовое сало, и вино.
Я узнаю румяное лицо
И брюхо славное, где жир фламандский
Едою и бездельем накоплен.
Мой грузный друг, мой добродушный Ламме,
Ты так же толст и так же беззаботен,
И тот же подбородок четверной
Твое лицо, как прежде, украшает.
Мы переходим рыночную площадь,
Мы огибаем рыбные ряды,

Мы к погребу идем, где на дверях
Рукою уличного живописца
Над бочкой пива намалеван штоф.
Старинная одышка одолела,
И Ламме опускается с размаху
На табурет некрашеный, рукой
Он отирает пот, что проступил
На лбу растаявшим от зноя жиром.
Так мы сидим в прохладном умиленьи.
Пивная сырость нас отяготила,
И голос Ламме теплым маслом льется,
И медленные тянутся часы.
И крепкою трактирной тишиной
Упоены мы. И трактирщик сонный
Тяжелою качает головой.
Но вот за дверью раздается свист
И россыпь жаворонка полевого.
И Ламме опрокидывает стол,
Вытягивает шею и протяжно
Выкрикивает песню петуха.
И дверь приотворяется слегка,
Лицо выглядывает молодое,
Покрытое веснушками, и губы
В улыбку раздвигаются, и нас
Оглядывают с хитрою усмешкой
Лукавые и ясные глаза.
Я Тиля Уленшпигеля пою.

ТВС

(Стр. 124)

Кто это в час предвечерней мглы
Ко мне приходит в туманный час?
Сияющие острые углы
Бегут из его открытых глаз.
Без промедленья в разговор
Вступает странный человек:
За вашими окнами мертвый двор,
А за двором поджидает век.
Как ливень в булыжники грянет он —
Промоет глаза. Ты вдохнешь озон.
И век поведет тебя за собой,
Стуча сапогами, гремя трубой...
[Иди умирающий вслед за ним —
Он будет вести, дик и груб,
Сквозь лужи и грязь, сквозь туман и дым
Под первый младенческий голос труб.]
И кровь на руках — не смывай ее —
Да здравствует грозное бытие. —
И стол мой раскидывался предо мной

Опасной и яростной страной.
И каждый бумажный случайный клок
Врага или друга в себе стерег.
И враг приходил — и смотрел в глаза —
Но я был суров и не шел назад.
И как бы он ни был убог и мал,
Его я любил и понимал.
Я видел, как медленно гаснет глаз,
Как сизые трупы кидают в рвы,
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Кровь и гной...
Как море раскинулась кровь пред тобой.
И отдыха нет! И пока гудит
И сердце отстукивает в груди —
Работай, работай, хрипи и строй, —
Это будет последний решительный бой...
Пусть будет той же участь твоя —
Умри на работе, как умер я...

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

(Стр. 137)

1

В первой рукописи (записная книжка) вместо строфы, начинающейся словами: «Печальные дети, что знали мы...», было:

Печальные дети, что зна́ли мы,
Когда, просвистев как хлыст,
Пуля укладывала на покой
Лучшего из друзей.
Не нас ли укладывали как дрова
В фургон под красным крестом.
В больничном саду — чертя костылем
Зверей и птиц на песке, —
Не мы ли слушали, как поет
На черном платане дрозд...
И это не нами ль застрелен был
Ротный. — И это не мы ль,
Цепляясь за поручни поездов,
Везли винтовки домой...
Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От орудийной стрельбы.

После строки «Мир, окружавший нас» была еще строфа:

Мы мудрость воинов приобрели,
Мы вызнали цену слов —

Уменье хитрить, уменье молчать,
Уменье смотреть в глаза...
И каждое слово, что пишем мы, —
Должно заключать в себе —
Ответственность перед сегодняшним днем,
Опыт минувших дней.
Мы поняли славу негромких дел,
Могучих будней поход,
Скромность людей, которым нет
Равных на земле.

Вместо заключительной строфы было:

Пусть юноша, который узнал
От нас про ночь и войну,
Который возненавидеть сумел
Так же, как мы ее, —
Пусть этот юноша подойдет
И, встав у нас в головах,
Вспомнит о нас, помолчит и уйдет.

II

Вторая рукопись представляет собой вариант поэмы, значительно отличающийся от публикуемого. Строки 31—150 свидетельствуют об ином замысле поэмы, от которого Багрицкий впоследствии отказался:

Мы вышли в полночь... Это была
Большая весенняя ночь...
Через три месяца мир узнал
Страшное слово: В о й н а...
...Спутника я почти не знал —
Он был коренаст и прост
В косоворотке, в больших очках,
С корявой тростью в руке.
Мы в этот вечер встретились с ним
В гостях. Вероятно, мне
Понравилась улыбка его
И умный огонь в глазах.
...Ночь стояла на всех углах,
Она подымала звезду,
Как чашу, наполненную огнем,
Она, приложив к губам
Свирель из пемзы, дула в нее —
Она стучала в окно,
Закрытое ставней, крича: «Вставай.
Я лучшая в мире ночь!»
И вдруг мы услышали зычный звук,
Над миром ныла труба,
Плывя под небом, и я сказал:
«Вот первые журавли!»

Под самыми звездами, разметав
Большие крылья, летел
Косоугольник журавлей,
И каждый из них, томясь
Предчувствием вод, зари и любви,
Полузакрыв глаза
И вытянув ноги, летел, летел,
Захлебывался и трубил. . .
[Мой спутник молчал,
И палка его
Постукивала об асфальт,
И этой ночи, казалось мне,
Не доверяет он.
И звезды тускнели в его очках,
И к голосу журавлей
Он был равнодушен, как будто знал,
Что это не то, не то.
Еще один крутой поворот,
И море пошло на нас,
Неся на себе обломки планет
И жирные нити трав.]
Всё было пропитано луной,
И каждый гребень волны
Сперва поглощал этот лунный свет,
Потом извергал его.
Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире еще
Не может такая ночь.
Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студеные хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во всё —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.

Мой спутник молчал, и косая тень
На голубом песке
Как пес лежала у ног его,
Лежала, не шевелясь. . .
Я знал, что больше такая ночь
Повториться не может вновь,
Что волны не могут пойти опять
В такой чудесный поход,
Что звездам никогда не гореть
Так страшно, как в эту ночь,
Что воздуху не светиться так,
Что легким так не дышать.
Я чувствовал, что такая ночь
Не повторится опять.

Что вместе с нею должна уйти
Часть мира — в провал, в туман.
Что утро встает над водной мглой
В тревожном кольце лучей,
Что после такого покоя — гром
И кровь, и труба, и смерть...
Мой спутник молчал за моей спиной,
Но сам [и глаз?] его
Как бы говорили: «Не верь!», «Не верь!»
Неподвижности не доверяй...
А ночь пировала средь рыжих скал,
Чубатой травой маша,
И море, как бочка, где винный сок,
Брожением объят,
Пузырилось, пенилось, било в нас
Хмельным перегаром трав.
На берегу у зеленых свай,
Где днем сидят рыбаки,
Я человека увидел вдруг,
Недвижного, как валун...
Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще,
В гимназической куртке с большим ремнем,
В фуражке, плоской как блин.
Лицо его было голубым.
Такой голубизной
Фарфор отливает, да скорлупа
Иволгина яйца.
Я присмотрелся — мне странен был
Этот человек...
Лоб, нависающий на глаза,
Был не по-детски груб,
И подбородок его торчал
Кудесничьей бородой.
Я понял, что этот вот человек
И есть душа синевы.
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совмещал в себе
Скорбящий умирающий мир —
В его последнюю ночь...
Я сел с ним рядом. А спутник мой
Разостлал свой пиджак и лег,
И звезды кружились в его очках,
Натыкаясь на ободки...
А юноша глядел как сова,
Нахохлившись, иногда
Стуча о сваю ногой...
Он должен вырваться, думал я,
Куда — я и сам не знал.

Но только каким-то тайным чутьем
Я чувствовал, что ему
Нужно раскинуть, разбить
Мир, зажавший его.
Он должен вырваться, думал я,
А юноша поглядел спокойно
И, улыбаясь, сказал:
«Какая страшная ночь!»
Потом встали, и все втроем
Поднялись на гору. Там
У трамвайной станции млел фонарь,
Окруженный больной весной.
Я руку ему протянул, назвав
Свою фамилию. Он
Пожал ладонь мою и сказал:
«Олеша». Мы разошлись.
В три разные стороны. Вдалеке
Уже расцветал рассвет.

Револьвер вынут из кобуры,
Студент обойму вложил —
Из-за угла, где навес кафе,
Эрцгерцог едет домой.
И ночи идут одна за другой,
Исколотые штыком.
В планетах, сияющих как кровь,
В траншеи, в смердящий год.
Где были мы, что узнали мы,
Где встретимся мы опять?
Случайно столкнуться, махнуть рукой,
Приветствуя, а потом
В безвестность, в кровавую темноту,
В кочевья, где нет дорог.
И ветерок слизнет языком
Наши следы и пыль,
Столбиком закружится — и вновь
Солнце, вода, песок...
Где спутник мой — мне не узнать никогда.
Быть может, германский штык
Проткнул его... Может быть, офицер
Поставил его к стене.
А может быть, в уездном чека
В один июньский день
Он был расстрелян как спекулянт.
А может быть, и сейчас
Работает он, из разбитых скал
Сколачивая города.

ЧЕЛОВЕК ПРЕДМЕСТЬЯ

(Стр. 144)

Вариант начала

Покамест добром, покамест почести
Ненадолго, лишь на единый час,
Идите сюда, человек предместий,
Мне надобно потолковать о вас.

Подпрыгивая вокруг нелюдимой
Земли, разрозненный мчался быт:
Славянский шкаф и плита без дыма,
Пустая кровать и дым без трубы.

Деревья, рогатые, как ухваты,
Колоды для пчел — замыкали круг...
А вы переминались, угловатый,
С большими, сизыми кистями рук...

Всё жадность, которая сыздетства
Струей молока потекла к губам,
Которую дед завещал в наследство
Отцу, а отец оставил вам;

После строки «А время идет по навозной жиже», кончая строкой «Медленно поднимает оно»:

...он в сенях вытирает сапоги,
Он войдет и сядет, откинув полы
Солдатской шинели — твой собрат
По работе... Не веселый
Он на тебя поднимет взгляд,
И на скатерть, мытую в сорока водах,
Черные ладони положит он.

СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ

(Стр. 149)

(Строки 1—4 как в тексте)

За окном рябина
В золоте потерь, —
Ходит скарлатина,
Хитрая, как зверь...

В итальянских окнах
Синее тепло —
От большого солнца
В комнате светло.

И колючий зайчик,
Спрыгнув с потолка,
Тычется и рыщет —
Где ж твоя рука?

Дунет мгла сиреневая
В запах чистоты,
Ходит ветер, вспенивая
Пухлые кусты...

И лежишь ты, маленькая,
И глядишь на дверь,
Ах, Валюша, Валенька,
Что с тобой теперь...

Говорить не можешь —
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.

Неужели скоро
Улетят в туман
Будка у забора
Да кривой бурьян, —

Да рванутся в плясе
Синие грачи,
Да, распялив руки,
Улетят врачи.

Одеяло вспенивая, —
Налетит тогда
Темная, сиреневая,
Душная вода...

А из тьмы охотник —
Хлоп! Хлоп! Хлоп!
Вылетает заяц —
Топ! Топ! Топ!

Кто это захлопал —
Ставень или град
Иль тебя встречает
Топотом отряд?

Не волнуйся, Валя —
Это одурь сна...
В комнате прохладно,
Солнце... тишина...

Золотые трубы
Начали игру,
Базовое знамя
Лезет по шнуру.

А покамест веки
Опускает сон,

А покамест губы
Раздвигает стон —

(Строки 25—44 как в тексте)

А в широких окнах
Облака идут,
Жестяные листья
На рябине бьют...

Видно отовсюду
Движется гроза, —
Открывает Валя
Мутные глаза.

Тучи в синем ситце
Движутся в огне,
Молнии, как галстуки,
В пурпурном огне.

[Тучи! Тучи! Тучи!
В темноте дремучей
Тучи! Тучи! Тучи!
Дует вихрь колючий
Дует вихрь колючий
В темноте дремучей]
Ходит гром гремучий
Тучи, тучи, тучи.

Тучи, тучи, тучи,
Как ни кинешь взгляд —
За густым отрядом
Движется отряд.

Заслоняют свет они,
Крепок шаг звена...
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры с фабрики Ногина.

Над листвою сада —
Вдаль через забор
Движутся отряды
На вечерний сбор —

(Строки 80—103 как в тексте)

Плещет рябина.
Рамы скрипят.
Синькой сатина
Блещет отряд.

[И наудачу
И невпопад
Грянул о дачу
Ядрами град]

Топотом громких
Детских шагов
Гром переполнил
Мир до краев.

Трубы трубят,
Травы кипят,
Слушай команду,
Юный отряд.

Тучами окна
Заволокло.
Ливень ударил
Дробью в стекло —

И, раздирая
Синий покров,
Гром раскатился:
«Будь готов!»

А вдали охотник
Хлоп, хлоп,
А из леса заяц
Топ, топ, топ...
Кто это захлопал —
Ставень или град?

Иль тебя встречает
Топотом отряд. —
Золотые трубы
Начали игру —
Базовое знамя
Лезет по шнуру.
Над большой лужайкой
Пеночки поют,
Валя в синей майке
Отдает салют.

Кроме этой, первоначальной, редакции в записной книжке поэта имеются еще три автографа стихотворения, отражающие последующий процесс работы: после строки 16 в первом и втором списках есть строки, не вошедшие в окончательный текст (в квадратных скобках — варианты первого списка):

Был [веселый] прохладный лагерь
У Москва-реки
На [зеленой] студеной влаге
Рдели поплавки

Красные до боли
[Бились] бьются поплавки
По кипящей влаге
Вдоль Москва-реки

Вариант строк 51—68 в первом автографе записной книжки:

Ото всех окраин
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.

Тучи... тучи... тучи...
Как ни кинешь взгляд,
За густым отрядом
Движется отряд.

Громовые горны
Начали игру,
Синие рубашки
Плещут по ветру.

Строки 104—135 в этом автографе отсутствуют. Вместо них:

Тучами окна
Заволокло,
Ливень обрушил
Дробь на стекло.

Это ли не топот
Детских шагов,
Что переполнил
Мир до краев.

Травы кипят,
Горны горнят,
Слушай команду,
Юный отряд.

Жердина большая
Встала на юру...
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Во втором автографе записной книжки этим стихам предпослана строфа, зачеркнутая автором:

А в траве подмокла
Куча сорняка,
Град стреляет в стекла
Из дробовика.

Кроме того произведена замена отдельных строк, вместо «Слушай команду» — «Марш на линейку», введена новая строфа, заключающая отрывок:

Знамя или молния
Бьется над бугром.

«Валя, будь готова!»
Восклицает гром.

После строки 60 во втором автографе записной книжки появился первоначальный набросок будущих строк 108—131:

Не моя ли молодость
Начала игру,
Не моя ли [рубашка] форменка
Плещет на ветру,
И не я ль вожатый
В перекличке труб.

Строки 108—131 появляются лишь в третьем автографе записной книжки. Их первоначальный вариант был таким:

Мы водили молодость
В сабельный поход,
Мы бросали молодость
На кронштадтский лед —

Над письмом рыдали мы
Ночью при свече,
У ворот прощались мы,
Плача на плече, —

Строки 112—119 как в тексте. Строка 118: Но глаза бессмертные

Чтобы наше мужество
Сделалось кремнем,
Чтобы мир сколачивать
Пулей и гвоздем,

Чтобы в этом крохотном
Теле навсегда
Расцветало мужество,
Как в ночи звезда.

Строки 124—127 как в тексте (строка 125: «Кровью изошла»)
В рукописях Багрицкого сохранились черновые наброски предполагавшегося эпилога поэмы. Приводим наиболее отработанный вариант:

Братья пионеры! Пришла пора,
Не освоишь землю без топора,
Топориной песне
большая честь —
Золотые срубы
должны процвесть.
Тяжесть этой стали
не легка —
Вот и [упадает] утомилась

[Детская] твоя рука,
Вот у изголовья мы встали
в ряд —
Тысячи [идущих] вступающих
в мир ребят.
Пламя подымается ясней зари,
Тело пионерки гори, гори!
Маленькая урна проста, кругла,
В урне источает дымок
зола.
Неужели этой еще весной
Топало ногами, впивало зной,
Делало гимнастику и шло в отряд,
Слушало, как трубы вдали горнят...
Ты погибла, Валя! Но, как всегда,
Воды протекают, встает звезда,
И, вступая дружно в поток игры,
Начинают песню топоры.
Ты и на последнем
своем
шагу
Весело смотрела
в лицо врагу.
Слушайте команду!
Горнисты,
в ряд!
В боевом порядке иди, отряд!..
Эту вот гончарную урну
твою
Мы словно знамя
Подымем в бою...

ОСЕНЬ

(Стр. 238)

Странник

Между строками 5 и 6:

Но я доволен, много ли мне надо,
Дарами доброхотными живу я,
Гляжу на небо и брожу в лугах!
Так целый год я устали не знаю...
Мне каждый месяц дорог и приятен.
Они мне кажутся людьми живыми,
Из плоти сотворенными и крови,
И с божьим духом, вдунутым в сердца!

Между строками 21 и 22:

Проказница, она игривым пальцем
Щекочет горло зябликам лесным,
Свистит в кустах дроздам и соловьям,

Бросает камнем жаворонков в небо,
Смеется и бежит по перелескам...

Между строками 30 и 31:

И будут долго комары звенеть
Над травами, над лесом, над кустами.
И будут иволги перекликаться
В лесах пронзительными голосами.
А лето спит в траве сухой и жесткой,
Переворачивается с бока на бок,
Позевывает и кряхтит протяжно;
И лишь сквозь сон движением руки
Звенящих насекомых отгоняет.

Между строками 49—50:

Бродяг, идущих по дорогам пыльным,
Монахов, распевающих псалмы.
Для всех ты знаешь ласковое слово,
Нежарким солнцем всех благословляешь,
Ты путникам постели расстилаешь
На сеновале, у стогов, на гумнах,
Где пахнет пылью, молоком и сеном.
Так ты проходишь лесом и полями.

ТРАКТИР

(Стр. 243)

1

Вместо 1—6 строк

Печальной памяти твоей
Я строки посвящаю эти:
О нищете пустынных дней,
О голодающем поэте.

Я знаю: ты стоишь за мной,
Тайком давая указанья:
Недаром слышу за спиной
Твое покойное дыханье.

О дольней жизни пожалей,
О том, кто в нищете томится,
Пусть из невидимых очей
Слезинка ляжет на страницу.

2

Всем неудачникам хвала и слава.
Хвала тому, кто в жажде быть свободным
Как дар хранит свое дневное право:
Три раза есть и трижды быть голодным.

Пускай к нему неблагостны Камены,
Пусть в жизни он бредет стопою робкой,

Вместо 17—22 строк

Пускай наш путь покрыт сырым туманом —
Что из того? Наш разговор не смолк
В тех погребах, где забулдыгам пьяным
Не отпускают больше пива в долг.

О да, теперь вино нас не волнует,
И отрезвленью наступает срок.

Вместо последних 38 строк

Чтец

Хвала тебе, хозяин наш, хвала!
Среди помоев и блевотин скисших
Ты, сохранивший мозговую кость
Для пса голодного, забывший на ночь
Накрыть кастрюлю, чтоб сумели кошки
Хозяйским налакаться молоком,
Благословивший крыс прогрызть мешок
С пшеницей рыжей, воробьям и галкам
Дарующий дымящийся навоз, —
Ты наградил голодного поэта
За прозябанье долгое и песни,
В трактире горнем, пищей и теплом...
Хвала тебе, хозяин наш, хвала!

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

(Стр. 265)

От песнопений ангельского сброда,
Толкущегося за твоей спиной,
О Петербург семнадцатого года,
Ты неуклюжей двинулся стопой!
И что тебе прохладный шелест крылий,
Коль выстрелы мигают на углах,
Коль дождь сечет, коль в ночь автомобили
На нетопырьих мечутся крылах.
Мятеж. И ржавою скипевшись кровью,
Запекшимся и высохшим комком,
О сердце, стань! Будь крепче и суровей,
Не ворошись улиткой под ребром!
Девятый вал иль полночь роковая,
Не всё ль равно? Нам путь один теперь
По улицам, где свищет мгла ночная,
Туда, к Неве, бормочущей, как зверь.
И там, где царь, порывом ветра взмытый,
Поднялся над гранитною скалой,
К набрякшим звездам, сквозь туман сердитый
Он рыжею восходит головой.
Былые годы тяжко проскрипели,
Как скарбом нагруженные возы,

Засыпал снег цевницы и свирели,
Но нет по ним в его глазах слезы.
Была цыганская луна и синий
В сусальных звездах жаркий небосклон;
Всё позади, теперь жестокий иней,
Мигающие выстрелы и стон,
Кронштадтских пушек дальние раскаты...
И он проходит в сумраке сыром,
Покачивая головой кудлатой
Над черным адвокатским сюртуком.
И здесь, у волн студеного канала,
Где уличные пляшут огоньки,
Ему гадалка древняя гадала
По тонким линиям его руки.
И нагадала: будет голос нежный,
Любовь сжигающая, как огонь,
Путь и печаль. Но линией мятежной
Рассечена широкая ладонь:
Она сулит горючую тревогу,
Пожар, и кровь, и тягостный конец.
Не потому ль на страшную дорогу
Октябрьской ночью ты идешь, певец?
Кружился ветер, шел туман, и белый
Остекленел над Петербургом свод.
Но сердце колотилось и звенело,
Запутанный отстукивая счет,
Но кровью наливалось воспаленной
Неистовое сердце, и полно
Огня и гула в час неизреченный,
Не выдержало и пошло на дно.
Последнее свершилось целованье.
Ты в холоде почиешь гробовом.
И рыжее тяжелое сиянье
Колышется над посиневшим лбом.

СКАЗАНИЕ О МОРЕ, МАТРОСАХ И ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ

(Стр. 282)

От пролеткультовских раздоров
(Не понимающих мечты),
От праздных рифм и разговоров
Меня, романтика, умчи!
Я чересчур предался грубым,
Непоэтическим делам, —
Кружась, как мудрый кот под дубом,
Цепь волочил я по камням.
И в сердце не сдержать мне гнева,
Хоть сердце распирает грудь!
Но цепь грохочет влево, влево,
Не смей направо повернуть!

Довольно! Или не бродячий
Мне послан господом удел!
И хлеб сверкающий, горячий
В печи не для меня созрел?
Не я ль под Елисаветградом
Шел на верблюжские полки,
И гул, разбрызганный снарядом,
Мне кровью ударял в виски.
И под Казатином не я ли
Залег на тендере, когда
Быками тяжко замычали
Чужие бронепоезда.
В Алешках, под гремучим небом,
Не я ль сражался до утра,
Не я ль делился черствым хлебом
С красноармейцем у костра...
Итак — без упреков грозных!..
Где критик мой тогда дремал,
Когда в госпиталях тифозных
Я Блока для больных читал?..
Пусть, важной мудростью объятый,
Решит внимающий совет:
Нужна ли пролетариату
Моя поэма — или нет!

В части 2 («Песня о матросах») после строки 35 следуют зачеркнутые строки:

И плевали женщины, увидев
Пестрые лоснящиеся рожи
И тюрбаны, скрученные крепко
На курчавых волосах, а дети
Сгрудились у деревянной клетки,
Где зеленая и злая птица
Цокала, свистела и бранилась

В части 4 («Песня о розе и судне») после строки 7:

Это наши топоры гремели,
Это наши скрежетали пилы,
Наши молоты и наши гвозди
Между скал построили поселок...

Вагнер

После строки 8

И разодрав студеные плеса,
Раздвинув лес над полумраком серым,
Кренясь, выкатывая паруса,
Голландец пролетает над партером.
Друг! Ты видишь: театральный ветер

Заплутался в стенах и кулисах,
Он качает падугу и тихо
Падает на лампионы рампы.
А над рампой вылезли краями
Пасть тромбона, крюк виолончели,
Стонущий гадючий череп флейты
И беснующийся палец скрипки...
А за рампой, видишь: закипает
Музыкальное, чужое море,
Где крутыми стружками клубится
Пена и медлительно и важно
Проплывают смутные созвездья.

Далее в основном совпадает с 4-й частью («Песня о розе и судне»). В рукописи имеется заключительная строфа:

И тогда над оголтелым миром
Волн и звуков встанет человечек,
Палочку отложит и печально
Лысый череп оботрет платочком.

ОДЕССА

(Стр. 295)

А. С. Пушкин (1799—1929)

Горячий месяц тлеет на востоке
Над одиночеством пустынных скал...
Здесь он стоял,
Здесь реял плащ широкий,
Здесь Байрона он нараспев читал.
Здесь в сизом голубином опереньи
И ночь, и море
Стлались перед ним,
Тайком, тайком приходит вдохновенье,
Проникнет в сердце —
И уйдет, как дым...
Тайком, тайком
Приходит вдохновенье,
Проникнет в сердце
И в глазах сверкнет...
Волна и ночь в размеренном движеньи
Слагают ямб —
И этот ямб поет...
И с той поры, кто бродит берегами,
Средь низких лодок и пустых песков,
Тот слышит сердцем, взглядом и ушами
Раскат и россыпь пушкинских стихов...
И в каждую скалу

Проникло слово,
И плещет слово
Меж плотин и дамб.
Волна бежит и убегает снова,
И в этом беге закипает ямб...
И мне, прохожему, доныне любы:
Студеных волн ямбический поход,
И негритянские большие губы,
И скулы, выдвинутые вперед.
И на бульваре,
У скамьи железной,
Мне кажется:
Ты смотришь сквозь туман,
Как из Италии, тебе любезной,
Плывет судов крылатый караван...
Тебя, среди воинственного гула,
Я проносил в тревогах и боях,
Твоя, твоя мне пела Мариула
Перед огнем, в покинутых шатрах...
Струится Днестр...
Я не снесу трагического груза,
Чернила высохли,
И рифмы нет,
Подай же мне, классическая муза,
Уроненный когда-то пистолет...

КИНБУРНСКАЯ КОСА

(Стр. 326)

На катере

Арбузные корки — по сторонам, —
И в чаек врезаемся мы...
Повернут штурвал — и выносится вал
Спиралью из-под кормы...
Еще неожиданный поворот —
Обогнут волнолом;
Маяк стеариновый мимо — и вот
Встречь ветру мы в зыбь плывем.
Встречь ветру машина клокочет внизу,
Вращается вал винтовой,
Из пристальных глаз вышибает слезу
Иодистый ветер морской.
Я море вдыхаю — и с каждым глотком
По жилам проносится соль,
Обветренный мир, распростертый кругом,
Чудовищен и незнаком.
И глинистый берег навстречу встает
В кустах и солончаках,

Где ветер в пастушеской дудке поет
И чаек тревожен размах...
Я знаю пропитанный травами дух
Трагической этой земли,
Я знаю, о чем распевает пастух,
Чем кормится стадо вдали...
Неведомый ветер бежит по песку,
Разносит останки костров,
Я знаю рыбацкую эту тоску
Посоленных круто песков.
Врезается шлюпка в пустынную мглу,
Как в хлеб разрезающий нож;
И каждый мой палец, прижатый к веслу,
Подводную чувствует дрожь!
И я не уйду от рыбацкой тоски,
Что мечется в берег, звеня;
И вот надвигаются солончаки,
И вот захлестнули меня.
А там, за спиною, наш катер дымит,
Качаясь на зыби густой;
Мигает фонарь, и машина сопит,
И вертится вал винтовой...

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

(Стр. 373)

После 24 строки

И ветер далекого бега
Врывается в ноздри его
Сухим прозябанием снега,
Смолистым дрожанием хвой...

Вместо 29—38 строк

И воздух нездешних угодий
По шкуре ожогом проводит,
И плещет в тайгу из гнезда
Багровая злая вода,
Да ветер еще раз с налета
Ударит из бешеной мглы,
Свистя, пригибает в болото
И в топь окунает стволы.
Да с неба грозней и упорней
Пылающий плещет разлив,
Рогами косматые корни
Вылазят из пухлой земли;
Ныряет огонь языкатый
Гадюкой, летящей на лов;

Вместо 51—54 строк

Иди — а на картах дороги
Не видно — не знаешь куда...
Обвалы, обрывы, берлоги,
Камень, трясина, вода...

Вместо 60—80 строк

Лишь воздух, сухой и тонкий,
Прохрустыванье векш,
И вдруг — каменья, воронки,
Крутой железняк в траве.
Какая нога наступала
На ржавчину рваных кустов,
Какая корявая сила
Прошла и разворотила
Слоистое брюхо пластов...
Облепленный яростным гнусом,
Ночуя в дорожном мешке,
Он песню заводит с тунгусом
На скромном его языке.
Идет по дорогам случайным
Сквозь черных лесов торжество;
Ружье, астролябия, чайник —
Нехитрый инструмент его.
В коленях гудит усталость,
Бушлат от дождей промок,
Россия за лесом осталась,
Развеялась в ночь и умчалась,
Как дальних ночлегов дымок.
И там, где в смолистое тело
Сосны червоточец проник,
Грозят белизной омертвелой
Погибших рогов пятерни...
Солнце встает с востока,
Ветер бежит на юг...
Заводит в лесах сорока
Предзимнюю песню свою...

«ИТАК — БУМАГЕ ТЕРПЕТЬ НЕВМОЧЬ...»

(Стр. 382)

Медноперый петух стоит за окном, —
Кот вылезает на пень...
Вот так начинается всегда
Мой смутный творческий день...
И вот, чтоб развернулся сюжет, —
Я выдумываю чудеса:
Четыре сосны за моим окном
Выпрастывают телеса,
Как будто их выдернула рука,
Прорвавшая облака,
Они подымают к тучам, вверх;
В зеленую пыль огней
Летят и спадают комья земли
С перепутаницы корней...

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее собрание избранных произведений Багрицкого является наиболее полным из всех ранее издававшихся. Согласно воле поэта, сохраняются в неизмененном виде книги «Юго-Запад», «Победители» и «Последняя ночь». Стихотворения 1915—1934 гг., не вошедшие в эти сборники, расположены в хронологическом порядке. В особый раздел выделены либретто «Дума про Опанаса» и незавершенная поэма «Февраль», а также переводы.

Произведения печатаются по тексту последней прижизненной публикации (за исключением случаев, оговоренных в примечаниях) с проверкой по автографам рукописного архива поэта.

Для «Однотомника» (М., «Советская литература», 1934) Багрицким были переработаны три стихотворения: «Трактир», «Александру Блоку», «Баллада о Виттингтоне». Книга вышла в свет уже после смерти поэта. Корректур Багрицкий не держал.

В 1936 г. под редакцией Вл. Нарбута был издан альманах «Эдуард Багрицкий», в котором наряду с воспоминаниями появились первые публикации ряда произведений Багрицкого, а также некоторые из его забытых стихотворений. В собирании наследия Багрицкого многое сделано Л. Г. Багрицкой и В. И. Нарбутом. На основе проделанной ими работы было подготовлено двухтомное Собрание сочинений Багрицкого. Первый том вышел в 1938 г. под редакцией И. Уткина. Издание второго тома осталось неосуществленным.

Архив Багрицкого хранится в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР; единичные рукописи — в ЦГАЛИ (эти случаи оговорены в примечаниях). Основная часть рукописного наследия поэта сохранилась. С наибольшей полнотой представлены рукописи 1926—1934 гг. Многие стихотворения книги «Победители» насчитывают до десяти и более рукописей. Большой интерес представляют варианты книги «Последняя ночь». Поэт не переставал работать над своими произведениями и после их опубликования. Почти каждая новая публикация сопровождалась авторской правкой, нередко носящей характер новой редакции. Наиболее существенные из рукописных и печатных вариантов приводятся в разделе «Варианты». В рукописных вариантах слова и строки, зачеркнутые или пропущенные

автором, приводятся в прямых скобках. В угловых скобках — неразборчиво написанные слова в рукописи, конъектуры и даты первой публикации.

В примечаниях указывается первая публикация текста, прижизненные переиздания, в которых имеются разночтения, источник публикуемого текста. В необходимых случаях даются исторические и реальные комментарии.

За помощь, оказанную при подготовке этой книги к печати, выражаем глубокую благодарность вдове поэта — Л. Г. Багрицкой.

Сокращения, принятые в примечаниях

Изв. Одес. — «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета».

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Отдел рукописей.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЮГО-ЗАПАД

I

«Юго-Запад». М. — Л., 1928 (2-е издание — 1930) — первая книга стихов Багрицкого. Обоим изданиям «Юго-Запада» был предпослан эпиграф:

Нет, нет, поверь, не тщетны были грезы!
Роса зари сверкала не напрасно,
И нас не тщетно солнце целовало!
И пусть уже струится тень печали
И скорбный вечер ширится над нами, —
Наш легкий шаг еще как прежде строен,
И нас венчает гордость нашей грусти,
И мы вкушаем в скорби нашей жизни
Всю полноту благословенья солнца!

Я. Фихман

В «Однотомнике» эпиграф снят. Печатается по книге «Юго-Запад», 1930.

Птицелов. Впервые — «Красная нива», 1927, № 5, 30 января, стр. 7. В книгах Багрицкого датировано 1918 г. Публикуемый текст записан Багрицким в 1926 г. в тетради, вместе с черновыми набросками «Контрабандистов». В черновом автографе озаглав-

лено — «Дидель». Те же мотивы в песнях «Ах, у Диделя в котомке...» и «Целый день одна забота...» (см. Варианты, стр. 479—480), опубликованных впервые в газете «Моряк», 1923, № 365, 17 июня; печ. по рукописи 1916—1917 гг. (ныне утерянной), воспроизведенной в альманахе «Эдуард Багрицкий», 1936, стр. 65.

Тиль Уленшпигель («Весенним утром кухонные двери...»). Впервые — «Силуэты», 1923, № 13, май, стр. 3 (см. Варианты, стр. 480). В переработанном виде — «Красная новь», 1926, № 12, стр. 137.

Ночь. Впервые — «Молодая гвардия», 1928, № 1, стр. 139 (см. Варианты, стр. 481). Готовя к изданию «Юго-Запад», Багрицкий вернулся к более раннему варианту — из черновой рукописи поэмы «Трактир (Опыт лиро-эпической сатиры)», куда сначала входило это стихотворение (см. стр. 361). *МСПО* — Московский союз потребительских обществ.

II

Песня о рубашке. Впервые — Изв. Одес., 1923, 5 мая, литературное приложение к № 1025. Новая редакция — «Комсомольская правда», 1926, 22 августа. Написано на основе перевода М. Л. Михайлова «Песни о рубашке» (The Song of the shirt, 1843) английского поэта-демократа Томаса Гуда (1799—1845).

Джон Ячменное Зерно. Впервые — Изв. Одес., 1923, 5 мая, лит. приложение к № 1025. Написано на основе перевода М. Л. Михайлова стихотворения Роберта Бернса (1759—1796) «Джон Ячменное Зерно» (John Barleycorn, 1785).

Разбойник. Впервые — Изв. Одес., 1923, 3 июня, литературно-научное приложение к № 1048. Новая редакция — «Красная новь», 1925, № 8, стр. 100. Основой послужил перевод И. Козлова 16—18 строф из поэмы Вальтера Скотта «Рокби» (Rokeby, 1813), — песни Эдмунда.

III

Арбуз. Впервые — «Моряк», 1924, № 546, 15 августа (см. Варианты, стр. 481). В переработанном виде — «Красная новь», 1925, № 3, апрель, стр. 137. В газетной и журнальной публикациях — под заглавием «Баллада об арбузе».

Контрабандисты. Впервые — «Новый мир», 1927, № 3, стр. 56. В черновом автографе озаглавлено «Греки».

IV

Осень («По жнитвам, по дачам, по берегам...»). Впервые — «Моряк», 1924, № 549, 22 августа, под заглавием «Охотник» (см. Варианты, стр. 482). В переработанном виде — «Комсомольская правда», 1926, 26 сентября, — под заглавием «Охота и осень»; альманах «Охотничье сердце». М., 1927, стр. 121 и «Красная нива», 1927, № 16, стр. 3, — под заглавием «Охотничий день».

Бессонница. Впервые — «Новый мир», 1927, № 5, стр. 56. В беловой рукописи иное начало (см. Варианты, стр. 483).

Весна. Впервые — «Альманах Земля и фабрика», кн. 1. М., 1927, стр. 297. В одной из черновых рукописей — иной вариант (см. стр. 483). В беловой рукописи стихотворение начинается строфой, не вошедшей в публикуемый текст:

Весна... И звезда
Разливается в рельсе,
И вместе с травой
Подымается Цельсий.

V

Голуби. Впервые — Изв. Одес., 1923, 1 апреля, № 997. С изменениями — «Комсомольская правда», 1926, 25 апреля и «Красная нива», 1928, 11 марта, № 11, стр. 5. *Верблюжий поход.* Зимой 1917—1918 гг. Багрицкий в качестве делопроизводителя 25-го врачебно-питательного отряда Всероссийского земского союза помощи больным и раненым уезжает в действующую армию в Персию. Передвигаясь на верблюдах, отряд побывал в персидских городах *Энзели, Казвин* и др. *Елисаветград* — ныне Кировоград. В мае 1919 г. Багрицкий в рядах партизанского отряда им. ВЦИК участвовал в боях с белогвардейскими бандами под Елисаветградом. *Верблюжские полки* — отряды, навербованные атаманом Григорьевым (1919 г.) в селе Верблюжском возле Херсона.

Дума про Опанаса. Впервые — «Комсомольская правда», 1926, 27 июня (1—3 главы, без эпиграфа) и 4 июля (4—8 главы и эпилог). С изменениями и посвящением Дм. Петровскому (1892—1955), другу Багрицкого, поэту, участнику гражданской войны, — «Красная новь», 1926, № 10, стр. 120. Сохранились черновые и беловые рукописи, отражающие историю создания поэмы (см. Варианты, стр. 484). Наибольшее число вариантов относится к эпизодам гибели Когана, поединка Опанаса с Котовским и расстрела Опанаса. В ранних рукописях поэма называлась «Опанас». Творческую историю создания «Думы про Опанаса» Багрицкий рассказывает в статьях «Записки писателя» и «Как я пишу»: «Стихи возникают неожиданно. Ходишь часами по городу, бродишь с собакой и ружьем по лесу — ничего не получается. Но вот под ноги подвернулся камень. Ты спотыкаешься, — и цепь ассоциаций начинает ра-

ботать. Первый образ возникает случайный, как выстрел из-за угла, — и машина задвигалась. Начинается творчество. Стихотворение — это прототип человеческого тела. Каждая часть на месте, каждый орган целесообразен и несет определенную функцию. Я сказал бы, что каждая буква стиха похожа на клетку в организме, — она должна биться и пульсировать. В стихе не может быть мертвых клеток. Аппендицит абсолютно невозможен. Стихотворение рождается без слепой кишки. Я работаю медленно. После столкновения с камнем я стараюсь тотчас записать все, что мне пришло в голову. Но через несколько дней все написанное кажется мне до того безобразным, что для приведения всей работы в более приличный вид приходится затратить несколько месяцев. Ритм ощущается, как подземный гул. «Музыка прежде всего». «Опанас» был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк. «Камнем» была украинская песня, которую мне спела жена. До «Опанаса» была написана «Песня об Устине» — вариант песни, спетой мне женой. Это было 120-строчное размышление о бедной казачке, утопившей сына. Но размер был тот же, что и в «Опанасе». Мне показалось, что таким размером лучше всего можно написать поэму о гражданской войне» («Октябрь», 1929, № 4, стр. 178).

«Я написал «Думу про Опанаса». В ней я описал то, что я видел на Украине во время гражданской войны. Над «Думой про Опанаса» я работал долго, месяцев восемь. Мне хотелось написать ее стилем украинских народных песен, как писал Тарас Шевченко. Для этого я использовал ритм его «Гайдамаков». Мне хотелось показать в ней историю крестьянина, оторвавшегося от своего класса и попавшего к махновцам. Рассказать о нем и о его гибели. Мне кажется, что мне это удалось, поскольку эта вещь выдержала испытание временем: она была написана в 1926 г. и до сих пор еще печатается всюду. Теперь я сделал из «Опанаса» оперу» («Пионер», 1933, № 15, стр. 12).

В поэме получила отражение махновщина — контрреволюционная борьба анархистско-кулацких банд на Украине в 1918—1921 гг. против Советской власти, возглавленная Н. И. *Махно* (1884—1934). Главари махновщины пытались обмануть крестьянские массы и восстановить трудовое украинское крестьянство против Советской власти. В 1921 г. махновские банды были ликвидированы советскими войсками. *Звездный Воз* — украинское народное название созвездия Большой Медведицы. *Гуляй-Поле* — город Запорожской области УССР, в годы гражданской войны был ставкой Махно и назывался Махноградом. *Сыромаха* (укр.) — степной волк. *Копец* (укр.) — кобчик, птица из семейства соколиных. *Катюга, кат* (укр.) — палач, истязатель. Григорий Иванович *Котовский* (1881—1925) — герой гражданской войны, командир кавалерийского корпуса Красной Армии. В 1920 г. руководил борьбой против банд Махно. *Бунчужный* — один из старших чинов гетманского управления на Украине, носитель знака гетманской власти — бунчука. *Брешут рыжие лисицы на чумацкий табор.* Ср.: «Лисицы брешут на червленные щиты» («Слово о полку Игореве»).

VI

Стихи о соловье и поэте. Впервые — Изв. Одес., вечерний выпуск, 1925, № 625, 17 июня, под заглавием «Стихи о поэте и соловье (Отрывок из поэмы)» и без последних четырех строф. В переработанном виде — в журнале «Красная новь», 1925, № 8, октябрь, стр. 98, где между строк 4 и 5:

Над сердцем базара поет соловей,
И дышит веселое сердце базара
Пшеничною нежностью калачей
И паром заливистым самовара.

И заключительная строка: «Как я громыхаю в безлюбых сердцах!» На *Трубной* площади в Москве находился птичий рынок.

«От черного хлеба и верной жены...». Впервые — «Красная новь», 1927, № 1, стр. 143. В рукописях имеются варианты заглавия: «Мы», «Ржавые листья». В рукописи под заглавием «Мы» имеются строки, не вошедшие в окончательный текст (см. Варианты, стр. 485).

Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым. Впервые — «Молодая гвардия», 1927, № 6, стр. 104. Беловая рукопись под названием «Спор с комсомольцем Николаем Дементьевым» датирована 1927 г. и имеет эпиграф:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою
Был великий спор.

М. Лермонтов

В черновой рукописи имеется зачеркнутый вариант (см. стр. 486). Николай Иванович *Дементьев* (1907—1935) — советский поэт, друг Багрицкого. На стихотворение «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» им написан стихотворный «Ответ Эдуарду» с эпиграфом из Багрицкого:

— Военком Дементьев, саблю наголо!..
...Багрицкий, довольно, что за бред —
Романтика уволена за выслугой лет.

(См.: «Поэзия революции. Сборник стихов». М., «Роман-газета», 1930, № 21, стр. 24). *Nevermore* (англ.) — никогда; крик ворона в стихотворении американского поэта-романтика *Эдгара По* «Ворон». *«Ехали казаки, чубы по губам...»*. В публикации «Молодой гвардии» эти строки даны с примечанием Багрицкого: «Строки из поэмы И. Сельвинского «Улялаевщина», 3 глава».

Трясина. Впервые — «Новый мир», 1928, № 2, стр. 53 (первая часть стихотворения — «Ночь», под заглавием «Трясина»); «Альманах Земля и фабрика», 1928, № 2, стр. 375 (вторая часть — «День»). Написано после поездки Багрицкого в августе 1927 г. в Белоруссию.

Папиросный коробок. Впервые — «Новый мир», 1927, № 12, стр. 35, с посвящением «Сыну Всеволоду». В рукописи ИМЛИ озаглавлено «В ночь на 14-ое де-ря». В беловой рукописи ЦГАЛИ — с подзаголовком «Сыну Всеволоду» и эпиграфом:

...И для спокойствия страны ты мой разоришь очаг,
И верным солдатом будешь ты, найдешь дорогу свою,
И может быть, чин дадут тебе, а мне дадут петлю.

Р. Киплинг (Баллада о Востоке и Западе)

Петр Григорьевич *Каховский* (1797—1826) — один из пяти казненных декабристов. *Третье отделение* — организация политического сыска и следствия, созданная в 1826 г. Николаем I в числе других отделений собственной императорской канцелярии — после подавления восстания декабристов. *Кантонист* — в крепостной России солдатский сын, со дня рождения числившийся за военным ведомством и подготовляемый к военной службе в особой, низшей военной школе.

ПОБЕДИТЕЛИ

Печатается по книге «Победители». М. — Л., ГИХЛ, 1932. В книгу вошли стихотворения, написанные в 1928—1930 гг.

Происхождение. Впервые — «Новый мир», 1930, № 11, стр. 108. В одной из черновых рукописей вариант, существенно отличающийся от публикуемого текста (см. Варианты, стр. 486).

Cyprinus carpio. Впервые — «Новый мир», 1928, № 12, стр. 59. Вместо «Стансы» — «Элегия». Другая редакция — «Альманах Земля и фабрика», № 4. М., 1929, стр. 294 (см. Варианты, стр. 487). *Бахилы* — высокие охотничьи сапоги. *УЗУ* — уездное земельное управление.

Весна, ветеринар и я. Впервые — «Новый мир», 1930, № 11, стр. 112, без последней строфы (вместо нее повторены 11—16 строки). В черновой рукописи вариант заключительных строф (см. стр. 489).

Стихи о себе. Впервые — «Новый мир», 1929, № 12, стр. 5 (1-я часть называется «Я», 2-я часть — «Он в моем представлении. . .»). В черновой рукописи вариант начала (см. стр. 490). *Ронжа* — лесная ворона. *Каракурт* — ядовитый паук, распространенный в пустынях Средней Азии.

К стр. 117—127.

Встреча. Впервые — «Молодая гвардия», 1928, № 7, стр. 121. Переработка стихотворения «Ламме», опубликованного в Изв. Одес., 1923, 28 января № 945 (см. Варианты, стр. 490). *Хаджи-бей* — пригород Одессы.

Можайское шоссе (Автобус). Впервые — «Новый мир», 1931, № 5, стр. 26, под заглавием «Автобус». Написано в 1928 г. одновременно со стихотворением «Можайское шоссе» («По этому шоссе на восток он шел. . .», см. стр. 369).

Вмешательство поэта. Впервые — «Октябрь», 1930, № 1, стр. 70, с подзаголовком: «Ответ критику»; с эпиграфом: «Багрицкий — романтик, начавший линять. Из журнальной статьи». Написано в ответ на статью А. Лежнева «Разговор в сердцах (В порядке постановки. . .)» («Новый мир», 1929, № 11). Статья Лежнева, откуда взят эпиграф в «Октябре», написана в форме диалога читателя и критика, в котором критик развивает тезис о кризисе современной поэзии. См. также вступ. статью, стр. 22. Константин Михайлович *Фофанов* (1862—1911) — поэт, один из предшественников русского символизма; в мире искусства и поэтической фантастики искал забвения от реальной действительности.

ТВС. Впервые — газета «Смена», Л., 1929, 14 апреля, под названием «Туберкулез». С изменениями — «Альманах Земля и фабрика», № 6. М., 1929, стр. 239; «На литературном посту. Литературно-художественный сборник». М., 1930, стр. 305; «Поэзия революции. Сборник стихов». Составитель М. Светлов. М., «Роман-газета», 1930, № 21, стр. 28. В одной из рукописей дата — «февраль 1929». Рукописный вариант см. стр. 492. *Треплется по ветру рыжий джут.* Весной 1925 г. Багрицкий был приглашен культработником на Одесскую джутовую фабрику, где руководил до своего переезда в Москву (август 1925 г.) рабкоровским кружком. *Феликс Эдмундович* — Дзержинский (1877—1926).

Веселые нищие. Впервые — «Новый мир», 1928, № 9, стр. 5. Написано на основе перевода П. И. Вейнберга стихотворения Р. Бернса (The Jolly Beggars). *Абрамский курган* — место, где в 1759 г. погиб генерал Джеймс Вульф при взятии англичанами Квебека (Канада) во время англо-французских войн за американские колонии. *Моро* — крепость у города Сантьяго на юге Кубы. В 1762 г. во время Семилетней войны (1756—1763) взята англичанами у испанцев. Роджер *Куртис* (1746—1816) — английский адмирал, участвовавший в морских сражениях с французами у берегов Канады во время Семилетней войны. Джордж *Эллиот* (1717—1790) — английский генерал, участвовавший в захвате англичанами Кубы во время Семилетней войны (1762). *Твид* — река на юге Шотландии. *Спей* — река на севере Шотландии. *Кастальский ключ* — водный источник на южном склоне Парнаса. В Древней Греции считался источником поэтического вдохновения.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Поэмы «Последняя ночь», «Человек предместья», «Смерть пионерки» написаны в апреле — августе 1932 г. В беседе с деткорами «Пионерской правды» в марте 1933 г. Багрицкий рассказывал: «Я не пишу отдельные стихотворения. Я пишу как бы серию стихотворений, которые тесно связаны друг с другом и зависят одно от другого, для того, чтобы после можно было их собрать в книгу. Вот, примерно, у меня «Смерти пионерки» предшествует «Человек предместья». Или вот мне очень интересно наблюдать, как одно и то же лицо будет выглядеть лет через пять. Вот, например, меня очень интересовало, как будет выглядеть индивидуум из «Юго-Запада», этот мелкий интеллигент, в «Последней ночи». Интересно было посмотреть на его перерождение. В «Юго-Западе» он колеблется, сомневается, не знает, за кем идти, — как он в «Последней ночи» относится к этому, как повлияло на него время» (ИМЛИ, неправленая стенограмма). Поэмы печатаются по книге «Последняя ночь», М., «Федерация», 1932.

Последняя ночь. Впервые — «Красная новь», 1932, № 10, стр. 3. В архиве Багрицкого сохранились три черновых рукописи поэмы (см. Варианты, стр. 493). *Эрцгерцог* — наследник австрийского престола Франц-Фердинанд, убитый 28 июня 1914 г. в Сараеве членом сербской националистической организации «Черная рука» студентом Принципом, что послужило поводом для начала первой мировой войны.

Человек предместья. Впервые — «Красная новь», 1932, № 10, стр. 6. Писалось одновременно с поэмой «Последняя ночь», о чем свидетельствуют черновые рукописи. Рукописные варианты см. стр. 498. Прототипом «Человека предместья», как об этом говорил сам Багрицкий, послужил владелец дома, в котором Багрицкие жили в Кунцеве с 1927 по декабрь 1930 г. (см. вступ. статью, стр. 41—44 и примечания к «Смерти пионерки», а также воспоминания Я. Шведова в альманахе «Эдуард Багрицкий». М., 1936, стр. 312—313).

Смерть пионерки. Впервые — «Красная новь», 1932, № 10, стр. 8. Сохранилось несколько рукописных вариантов поэмы (см. стр. 498). Поводом к созданию стихотворения явилась смерть пионерки Вали Дыко (1917—1930), дочери домовладельца, у которого жили Багрицкие в Кунцеве. О том, как было задумано и написано это стихотворение, поэт рассказывал в своей беседе с деткорами «Пионерской правды»: «У меня есть отдельное стихотворение «Человек предместья», которое предшествует «Смерти пионерки»... В семье железнодорожника, отца с мелкособственническими взглядами, выросла девочка Валя Дыко, которая свои действия и взгляды резко противопоставила действиям и взглядам отца. Она была пионеркой очень активной, председателем отряда. Она была очень рьяной пионеркой в противоречие своему домашнему быту.

Она была товарищем моему сыну. Но вот она заболела скарлатиной... Перед смертью к ней пришла мать и принесла ей крест. И она даже перед смертью... подняла руку, отдала салют и так умерла... Ее так и похоронили. Вот этот факт, как она умерла, меня мучил два года. Я чувствовал, что об этом надо написать и обязательно. Написать о том, как умерла эта девочка. И вот я написал это стихотворение «Смерть пионерки» — в виде сказки. Я ясно представлял себе, что ее надо написать как можно проще, рассказать о том, почему она дорога мне. Мне хотелось показать, что даже смерть ее незабываема, что несмотря на то, что она умерла, — песнь о ней останется жива, и что с песней о ней пойдут пионеры» (ИМЛИ, неправленая стенограмма). См. также вступ. статью, стр. 43—44. *Нас бросала молодость на кронштадтский лед.* Имеется в виду подавление контрреволюционного кронштадтского мятежа (28 февраля — 18 марта 1921 г.); наступление красногвардейцев на форты Кронштадта велось по льду Финского залива.

ДУМА ПРО ОПАНАСА

(Либретто оперы)

•

ФЕВРАЛЬ

Дума про Опанаса (Либретто оперы). Впервые — «Год шестнадцатый», альманах 1. М., 1933, стр. 127. Отрывок (Песня Павлы в начале второго действия) опубликован под названием «Песня о солдате» — «Крокодил», 1932, № 29—30, октябрь, стр. 3. Вариант последней строфы в журнале:

Солдат берет винтовку
И разминает плечи...
Вперед, за ветром братьев —
Победа недалече!

Печатается по «Однотомнику». В альманахе «Год шестнадцатый» напечатано с посвящением комдиву Красной Армии Д. А. Шмидту (1896—1937) и с редакционным примечанием: «Либретто написано для Государственного Музыкального театра им. Вл. И. Немировича-Данченко и принято к постановке. Исключительное право написания музыки на этот текст представлено автором композитору В. Я. Шебалину». О работе над либретто Багрицкий рассказывал в «Литературной газете» (1932, 29 сентября): «Мысль написать либретто для оперы принадлежит не мне. Она исходит от театра им. Немировича-Данченко. Но когда руководители театра пришли ко мне с предложением переделать мою «Поэму об Опанасе» на оперное либретто, я согласился с радостью. Заманчива идея создать настоящий оперный спектакль, не ходульный, без штампов, с хорошим стихом. И потом меня заинтересовала попытка поработать над новым жан-

ром. Мне сейчас немного трудно, потому что я плохо знаю законы театра. В либретто вводится много новых кусков, сцен, персонажей. Ведь сохраняется только основной стержень поэмы, остальное пишется наново. Все же работа идет успешно. Два первые акта уже написаны. Всех будет 4. Я закончу либретто в ближайшее время. Опера будет поставлена в театре им. Немировича-Данченко. Режиссер Б. А. Мордвинов, композитор — Шебалин». Завершив работу над поэтическим либретто, Багрицкий обратился к созданию театрального либретто. В статье «Дума про Опанаса. Поэт и опера» («Советское искусство», 1933, 20 августа) он писал: «Переделывая свою «Думу про Опанаса» в оперу, я прежде всего имел в виду освоение нового поэтического жанра — оперного либретто. Жанр этот я считаю переходным от лирической поэмы к поэтической драме. От поэтического жанра он отличается остротою сюжета, а от драмы в обычном смысле этого слова — простотою сценических ситуаций, менее сложной психологической жизнью героев. Для оперы требуется прежде всего ясность сюжета и резкое контрастирование характеров. С этим требованием я и подошел при переделке своей лирической поэмы в оперное либретто. Раиса — олицетворение зла, комиссар продотряда Коган — олицетворение социальной правды. Сам герой Опанас — запутавшийся среди них маленький человечек, ищущий только покоя и безбурного существования. Если в моей лирической поэме про Опанаса основа была в психологической трактовке героя, то в оперном либретто акцентируется его социальный характер. И эта социальная трактовка выпирает иногда даже в ущерб качеству стиха в отдельных местах либретто. Но одновременно я старался сделать вещь очень лирическую... Фактически мною написаны два варианта либретто. Один литературный, для чтения, напечатанный в сборнике «Год шестнадцатый», и другой для театра им. Немировича-Данченко, по которому опера будет поставлена. Финальная сцена в литературном тексте происходит в комнате комдива; в театральном тексте действие развертывается в поле после сражения. Здесь выступает целый ряд хоров, которые в литературном тексте, может быть, были бы излишни. В театральном либретто все эти хоры красноармейцев, баб и т. д. нужны для соответствующего оттенения заключительного этапа судьбы затерявшегося и погибшего «героя» моей «Думы». Я этим заплатил дань чисто зрелищному началу — совершенно сознательно. В своей работе я старался учесть опыт поэтических трагедий, написанных нашими советскими авторами. С другой стороны, я использовал опыт целого ряда народных поэм, и в первую очередь знаменитой украинской «Наталки-Полтавки». Я стремился к большей зрелищной народности, стихотворной простоте. Я хочу, чтобы основная мысль моей поэмы и оперного либретто дошла до зрителя по кратчайшей прямой, не теряя в то же время ничего из своей лирической эмоциональной насыщенности. При этом я отнюдь не имел в виду писать какую-то главу о прошлом нашей социальной эпохи. Несмотря на то что речь идет о гражданской войне и ее героях, социальная трактовка Опанаса дана мною уже целиком с позиций наших дней».

К стр. 157.

Работа над театральным либретто была прервана смертью Багрицкого. В архиве ИМЛИ сохранился набросок театрального либретто:

Действие первое. Вокзал провинциального города. Походная кухня. Вокруг нее красноармейцы. Вдоль перрона рядами сидят торговки бубликами, продавцы кваса, папирос и всякой снеди. Кашевар, стоя у походной кухни, разливает в красноармейские котелки еду. Шутки, смех, песни. Торговцы и торговки хором расхваливают свои продукты. Среди красноармейцев — Опанас. Он ничем не отличается от остальных, рядовой, молодой парень. Приходит красноармеец, раздающий письма. Его встречают весельем. Красноармейцы, усевшись на платформе и зажав между колен манерки, едят и читают письма. Опанас читает вслух. Ему пишет невеста. «Некому обрабатывать землю — отец убит». Опанас громко возмущается. Он недоволен всем. Он недоволен едой. Он недоволен тем, что ему, крестьянину, вместо работы приходится воевать. Красноармейцы вступают с ним в спор. Спор переходит в ругань. Из станционного здания выходит комиссар отряда Коган — небольшой еврей в студенческой фуражке и очках. Он подходит к Опанасу, старается его убедить. Опанас в припадке запальчивости толкает Когана. Коган приказывает его арестовать и отвести в комендатуру. Двое красноармейцев с винтовками подходят к Опанасу. Красноармейцы и Коган уходят. На сцене остается Опанас с двумя конвоирами, торговцы и торговки, продолжающие расхваливать свои продукты. Опанас покупает подсолнухи — угощает конвоиров. Они отходят в сторонку. Один из красноармейцев вытягивает из кармана газету и читает частушки о Махно. Свисток поезда. На платформу выскакивает дежурный с жезлом. Проходит эшелон с красноармейцами. На сетке паровоза стоят матросы с ружьями. На паровозе мелом надпись — «Даешь Врангеля!» — из раскрытых теплушек торчат пулеметы. Видны лица красноармейцев. Слышен хор голосов. Проходит последний вагон с кондуктором. Опанас отталкивает конвоира и вскакивает на подножку.

Действие второе. Украинская хата. Стены увешаны рушниками, дорожками, яркими домоткаными коврами. Русская печь, на которой спит человек — в больших сапогах. Кровать в углу — с горой подушек. Посреди хаты — большой стол, покрытый вышитой скатертью. У стола, на скамейке сидит Павла, невеста Опанаса; она шьет, напевая про себя тихую песню. По комнате ходит молодой человек в галифе и френче — с маузером через плечо. Стук в дверь. Появляется Опанас — он сбрасывает шинель на скамейку. Павла подходит к нему. Они целуются. Опанас рассказывает о своем бегстве. Павла говорит, что их деревню занял Махно и в ее хате расположился его штаб. Она показывает на ходящего по хате человека, говоря, что это один из адъютантов Махно, а на печке спит начальник штаба. Громадный человек с висячими усами, фыркая, садится, свесив ноги в сапогах. Опанас спрашивает, что ему делать дальше. Позволят ли ему уйти — позволят ли ему работать. Оба махновца говорят, что это возможно только с разрешения батьки. Опанас спрашивает — страшен

ли батька. Молодой человек поет балладу о Махно. Окончив балладу, он говорит, что Махно-то сам не страшен — страшнее Раиса Николавна. Громадный человек поет балладу о Раисе Николавне. Об ее жестокости и смелости. С грохотом распахивается дверь, входит Махно со штабом. Среди штабных — молодая женщина, хорошо одетая, с портфелем — Раиса Николавна. Прибывшие рассаживаются вокруг стола. Махно замечает Опанаса. Махно спрашивает Опанаса, откуда он. Опанас рассказывает историю своего бегства. Его рассказ перебивает вопросами Раиса Николавна. Махно предлагает Опанасу быть его соратником. Хор штабных подхватывает последние слова Махно. Павла уговаривает его остаться в деревне. Раиса Николавна берет стоящую в углу саблю и передает ее Опанасу. Хор штабных.

Действие третье. Из-за закрытого занавеса слышен хор голосов, поющих буйную военную песню. Песня мало-помалу становится мерной, рабочей песней. Занавес поднимается. Раннее утро. Косые тени лежат на земле. Постепенно тени уменьшаются. Занавес поднимается. Степь, поросшая кукурузой, сбоку внутренность хутора. Скирды, колеса, плуги... Несколько человек — по виду крестьяне, поют, работают. К хутору подъезжает Коган с несколькими красноармейцами. Он распахивает калитку — входит во двор — садится у стола, поставленного у хаты. Крестьяне приносят ему пищу. Молоко в глиняных кувшинах, житный хлеб и сотовый мед на блюде. Красноармейцы и Коган едят. Коган разговаривает с крестьянами. («Я прошу ответить честно...»). В это время незаметно из-за скирд, из-за тачанок появляются махновцы. Крестьяне, подававшие еду Когану, бросаются на него и вяжут по рукам и ногам. Красноармейцы тоже связаны. Дверь хаты распахивается, выходит Махно со штабом. Среди штабных Раиса Николавна и Опанас. Махно садится за стол. Его окружают штабные. К столу подводят связанного Когана. Допрос Когана. Коган объясняет, что на хутор попал он случайно — он возвращается в Балту в свою часть, и красноармейцы его случайные попутчики. То же подтверждают красноармейцы. Опанас говорит Раисе Николавне, что это бывший его продкомиссар Коган. Раиса убеждает Опанаса выдать Когана. Опанас выдает его. Махно приказывает расстрелять Когана — он поручает это Опанасу. Опанас и Коган выходят из хутора. Махно со штабом входит в хату. Ясное летнее утро. Опанас с Коганом входят в кукурузу. Опанасу кажется, что вся природа проклинает его. В голосе ветра, в шуме кукурузы он явственно слышит слова: «Катюга. Катюга». Коган стаскивает гимнастерку и предлагает ее Опанасу. Опанас поднимает винтовку. Опять явственно слышны голоса, проклинающие Опанаса. Опанас говорит: «Три патрона в обойме осталось» и предлагает бежать Когану. Коган улыбается, закуривает папиросу и поправляет очки. Опанас медленно поднимает винтовку. Голоса хора становятся страшнее и явственнее. Опанас стреляет. Коган медленно-медленно падает.

Действие четвертое. Картина первая. Попов лог. Холмистая местность. В ложбине лагерь махновцев. На холмах стоят часовые. Ночь. Махно со штабом сидит у стола,

освещенного керосиновой лампой. Опанас и Раиса Николавна сидят в стороне. Спотыкаясь о спящих на земле махновцев, появляется Павла. Она подходит к Опанасу и зовет его обратно в деревню. Она говорит о мирной жизни, о том, что война скоро кончится, что крестьянину не дело шататься с бандитами. Раиса Николавна встает, она кладет руку на плечо колеблющегося Опанаса — она издевается над ним. Павла вступает в спор с Раисой Николавной. Они подходят вплотную друг к другу. В самый горячий момент спора Раиса выхватывает саблю, висящую на боку Опанаса, и зарубает Павлу. Павлу оттаскивают в сторону. Действие переносится к столу, за которым сидит Махно со штабом. Бунчужный предлагает принять сражение с Котовским. Махно соглашается. Он приказывает выкатить бочки с самогоном. Начинается пьянство и пляски. Часовые, таща за собой винтовки, подходят к пирующим. Начинается утро. Неожиданно раздаются голоса труб — слышна веселая красноармейская песня. На один из холмов выезжает Котовский. Большое багровое солнце встает за его спиной. Он во главе красноармейцев лавой бросается на становище махновцев. Рубка. Раиса Николавна показывает Опанасу Котовского. Она подстрекает его. Шагая через убитых, Опанас подходит к комбригу. Они рубятся. Котовский разрубает саблю Опанаса. Разрубив саблю врага, он отбрасывает свою и дерется с ним врукопашную. Ударом кулака между глаз он сваливает Опанаса с ног. Раиса Николавна бросается к Опанасу. Их окружают красноармейцы. Махновцы бегут. К а р т и н а в т о р а я. Комната в штабе. Окно распахнуто. За окном провинциальный город. Каланча с мальчишкой, гоняющим голубей. Базар в дынях и вишнях. В комнате сидит штабной. Перед ним Опанас, несколько конвоиров сидят у стен и на полу. Штабной допрашивает Опанаса. Опанас рассказывает о себе и сожалеет об убийстве Когана. Штабной, услышав об этом, тщательно записывает все. Опанас патетически поднимает руку. — «Эта рука убила Когана...» Мимо окна проводят Раису, она слышит голос Опанаса и зовет его. Красноармейцы подталкивают ее — она все яростнее зовет Опанаса. Опанас бросается к окну и, несмотря на предупреждение конвоиров, хочет выскочить на улицу. Раиса зовет его. Красноармейцы-конвоиры стреляют в него. Он падает. *Наваль* — имеется в виду судостроительный завод в Николаеве. *Примаков* Виталий Маркович (1897—1937) — герой гражданской войны.

П е с н и к л и б р е т т о о п е р ы «Д у м а п р о О п а н а с а» (1—5). Впервые «Песня баб» — «Литературная газета», 1936, 16 февраля. Остальные песни — «Эдуард Багрицкий». Альманах. М., 1936, стр. 115. Печатается по черновой рукописи. Багрицкий предполагал использовать эти песни в театральном либретто, работа над которым была прервана смертью поэта.

Ф е в р а л ь («Вот я снова на этой земле...»). Впервые полностью — «Эдуард Багрицкий». Альманах. М., 1936, стр. 123. До этого посмертно публиковались отрывки — «Литературная газета», 1935,

15 февраля; «Комсомольская правда», 1935, 17 февраля; «Молодая гвардия», 1935, № 2. Поэма «Февраль» писалась в течение зимы 1933—1934 гг. Смерть прервала работу над поэмой, оставшейся в черновой редакции. В. Тренев и Н. Харджиев произвели расшифровку рукописи и дали сводный текст поэмы в книге «Эдуард Багрицкий». Альманах. Там же дано подробное описание рукописи. В рукописи поэмы заглавие отсутствует. Оно дано на основании договора на издание книги, в которую должны были войти три поэмы. Публикуемая поэма представляет собой первую часть неосуществленной трилогии. О замысле и истории создания поэмы см. воспоминания Ф. Левина «Встречи с Багрицким» в альманахе «Эдуард Багрицкий», стр. 375. *Стоход* — наступательная операция войск русского юго-западного фронта в районе реки Стоход (правый приток Припяти) против немецких и австрийских войск в июле — августе 1916 г. во время первой мировой войны. *Мазурские болота.* Имеются в виду оборонительные действия русской армии в феврале 1915 г. на северо-востоке Польши. *Ожина* — ежевика. *Гичка* — длинная узкая шлюпка с низким бортом. *Ришельевская* — улица в Одессе. *Земгусар* — ироническое прозвище служащих «Всероссийского земского союза», тыловой организации, существовавшей в России во время первой мировой войны.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1915—1934 годов, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

Креолка. Впервые — альманах «Серебряные трубы. Стихи». Одесса, 1915, стр. 5.

Конец Летучего Голландца. Впервые — Серебряные трубы, стр. 11. Образ Летучего Голландца появляется уже в ранних стихах Багрицкого. В воспоминаниях Вал. Катаева сохранились отрывки из юношеских стихов на эту тему, читанных Багрицким:

Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг!
...Когда погибал знаменитый «Титаник»,
Тогда твой мираж трепетал в небесах.
Летучий Голландец! Чарующий странник!
Чрез вечность летишь ты на всех парусах!

(«Эдуард Багрицкий». Альманах. М., 1936, стр. 182).

Рудокоп. Впервые — Серебряные трубы, стр. 13.

Славяне. Впервые — «Южная мысль», Одесса, 1915, 22 марта. *Перун* — бог грома, *Ярила* (Ярило) — бог солнца, *Стрибог* — бог ветра (языческие боги у восточных славян).

Враг. Впервые — «Южная мысль», 1915, 22 марта.

Суворов. Впервые — альманах «Авто в облаках. Стихи». Одесса, 1915, стр. 5. *Цинциннат* — римский патриций V века до н. э., политический деятель и полководец, вел простой образ жизни и сам обрабатывал свои поля. Его имя стало нарицательным для обозначения гражданских добродетелей, простой и здоровой жизни.

Нарушение гармонии. Впервые — Авто в облаках, стр. 11.

Гимн Маяковскому. Впервые — Авто в облаках, стр. 12. Печ. по альм. «Чудо в пустыне». Одесса, 1917, стр. 12.

Дерибасовская ночью. Впервые — Авто в облаках, стр. 21, под псевдонимом Нина Воскресенская. *Дерибасовская* — улица в Одессе.

О любителе соловьев. Впервые — Авто в облаках, стр. 22. Под псевдонимом Нина Воскресенская.

Осень («Литавры лебедей замолкли вдалеке...»). Впервые — «Южная мысль», 1915, 25 декабря.

Полководец. Впервые — «Южная мысль», 1916, 10 апреля.

«О Полдень, ты идешь в мучительной тоске...». Впервые — альманах «Седьмое покрывало. Стихи». Одесса, 1916, стр. 3. Печ. по альм. «Чудо в пустыне». Одесса, 1917, стр. 5.

Осень («Я целый день шатаюсь по дорогам...»). Впервые — Изв. Одес., 1923, 14 января, № 934. В архиве Багрицкого сохранилась машинописная копия рукописи этого стихотворения (1916) под названием «Странник» (см. Варианты, стр. 504).

Осенняя ловля. Впервые — однодневная газета «На помощь! В пользу голодающих», Одесса, 1921, 15 августа. Печ. по газете «Моряк», Одесса, 1923, № 295, 7 января.

Кошки. Впервые — «Огоньки», Одесса, 1919, № 34, 4 января (22 декабря).

«Я сладко изнемог от тишины и снов...». Впервые — «Огоньки», 1919, № 39, 8 февраля (26 января).

Баллада о нежной даме. Впервые — газета «Перо в спину», Одесса, 1919.

Трактир. Впервые — «Силуэты. Литература, искусство, театр, кино», Одесса, 1922—1923, № 2, декабрь — январь, стр. 5 (см. Варианты, стр. 505). В рукописи имеется подзаголовок: «Драматиче-

ские сцены» и посвящение — «А. Фиолетову». Пролог к поэме в журнальном тексте начинается обращением к А. В. Фиолетову, одесскому поэту, трагически погибшему в 1918 г. В 1926 г. Багрицкий вернулся к теме «Трактира», написав новое по существу произведение (см. стр. 361). В 1933 г. при подготовке к печати «Однотомника» Багрицкий обратился к тексту «Силуэтов», принципиально переработав его. Печ. по «Однотомнику», стр. 7. В «Однотомнике», вышедшем уже после смерти Багрицкого, в начале поэмы имеется редакционное примечание: «По первоначальному варианту певец оставался в «заезжем дворе Спокойствие Сердец», и поэма заканчивалась хвалой «хозяину». В этом Багрицкий видел «гибель поэта», побежденного мещанством. Приготовляя «Трактир» для настоящего издания, Багрицкий переделал окончание, придав ему тот вид, который здесь и воспроизводится. Однако, надо полагать по недосмотру, в начале поэмы Багрицкий оставил стих «О жизни и о гибели певца», теряющий свой смысл при новом окончании поэмы. Несомненно, Багрицкий устранил бы эту погрешность в корректуре. Редакция не считает себя вправе сделать то, что не успел сделать автор, и ограничивается одним указанием на противоречие между этим стихом и окончанием поэмы».

Рассыпанной цепью. Впервые — «Облава», Одесса, 1920, № 1, 15 июля.

Знаки. Впервые — газета «Одукроста» (Издание Одесского областного отделения Всеукраинского бюро «РОСТА»), 1920, № 100, август. *Квириты* — полноправные граждане в Древнем Риме. *Зеленой веткой Демулена.* Камилл *Демулен* (1760—1794) — политический деятель французской буржуазной революции. Перед взятием Бастилии он обратился с призывом к народу и первый прикрепил к своей шляпе зеленую ленту (цвет надежды). Этот призыв вдохновил народ на разрушение королевской тюрьмы.

«Здесь гулок шаг. В пакгаузах пустых...». Впервые — «Моряк», 1921, № 56, 5 марта.

Чертовы куклы. Впервые — «Красный Октябрь», лит. приложение к Изв. Одес., 1921, 7 ноября. Печ. по журн. «Октябрь», 1928, № 11, стр. 55. Текст Изв. Одес. значительно короче публикуемого, имеет ряд разночтений и эпиграф: «Сколько их, куда их гонят? — А. Пушкин». *Дмитрий* — царевич Димитрий (1582—1591), сын Ивана Грозного, убитый, согласно одной из версий, наемниками Бориса Годунова. *Белобрысый человек* — Лжедмитрий I, самозванец, ставленник польских магнатов, организовавших интервенцию в Россию. Захватил в 1605—1606 гг. русский престол под именем царевича Димитрия. Убит во время народного восстания в Москве. *Сарынь на кичку* — по преданию, возглас волжских разбойников, которые, захватив корабль, приказывали его команде *(сарынь —* толпа, сброд) отправляться на кичку, т. е. на нос корабля, чтобы не мешать грабить. *К хвалынским волнам пролетают струги.* Имеет-

ся в виду поход Степана Разина в Персию через Каспийское *(Хвалынское)* море в 1667—1669 гг. *Смерд начинает наводить правеж* — крестьянское восстание Степана Разина (1667—1671). *Саратов* и *Самара* (ныне Куйбышев) взяты восставшими в 1670 г. *Смерд* — в древней Руси крестьянин-земледелец, впоследствии — презрительное обозначение крепостного крестьянина. *Ярыжки* (ярыги) — беднейшее население России XVI—XVII вв., низшие служители в приказах, выполнявшие полицейские функции, грузчики, погонщики, бурлаки. *Алебарда* — старинное холодное оружие с длинным древком и топоровидным лезвием. *И бунтовщицкая встает слободка, И женщина из темного оконца.* Русская царевна Софья (1657—1704), опираясь на войско московских стрельцов, в 1682 г. добилась провозглашения себя правительницей при малолетних царях Иване V и Петре I. В 1689 г. низложена Петром I и заключена в Новодевичий монастырь. В 1698 г. она вновь пыталась использовать бунт стрелецкой слободы для борьбы за власть и против Петра I; после разгрома стрельцов была пострижена в монахини. *Отрок стирает пот* — Петр I (1672—1725). *Царевна играет в прятки с певчим.* Дочь Петра I Елизавета Петровна (1709—1761), певчий — ее фаворит и после тайного брака муж Алексей Григорьевич Разумовский (1709—1771), сын простого казака, взятый в придворные певчие, возвышенный и награжденный Елизаветой после вступления ее на царство. *Курносый немчик* — курляндский дворянин, фаворит императрицы Анны Ивановны Эрнст-Иоганн Бирон (1690—1772), всевластный временщик. *Женщина в гвардейском сюртуке* — Екатерина II (1729—1796) по происхождению немецкая принцесса. Стала русской императрицей в результате дворцового переворота, который совершила гвардия. *Опять встает орда* — крестьянское восстание Емельяна Пугачева в 1773—1775 гг. *Сумасшедший рыцарь* — Павел I (1754—1801). *Белокурый мальчик* — Александр I, вступивший на престол в 1801 г. после своего отца Павла I, приняв косвенное участие в его убийстве. *Гудит и ссорится Париж* — французская революция 1789—1794 гг. *Артиллерист голодный* — Наполеон I (1769—1821), начавший службу в чине поручика артиллерии. *Песков египетских.* Речь идет о египетском походе Наполеона I (1798—1799). *Папская трехглавая тиара упала к узким сапогам его.* После победы под Маренго (1800) Рим и папа римский подпали под власть Наполеона. В 1801 г. было подписано соглашение между папой и Наполеоном. *Тайные кружки* — дворянские революционеры-декабристы, организовавшие в конце 10-х и начале 20-х гг. XIX в. несколько тайных политических обществ в России. *А в Таганроге — смерть.* Александр I умер в Таганроге в 1825 г. *Яруга* — овраг, буерак. *Серые глаза и бакенбарды* — Николай I (1796—1855). *Карета сломана* — убийство Александра II 1 марта 1881 г. народовольцем И. И. Гриневицким (1856—1881).

Освобождение. (Отрывки из поэмы). Впервые — газета «Станок», Одесса, 1921, 7 ноября, № 225 (вторая часть). С изменениями — Изв. Одес., 1923, 7 ноября (обе части), «Моряк», 1924, № 583, 7 ноября (первая часть под названием «Октябрь»), «На

досуге» (приложение к газете «Батрак»), 1928, № 9, 10 ноября (первая часть). Печ. по «Красной газете», Л., 1928, 7 ноября (первая часть) и Изв. Одес., 1923, 7 ноября (вторая часть). *Худой и бритый человек* — А. Ф. Керенский, министр, председатель нескольких составов буржуазного Временного правительства в 1917 г. В ноябре 1917 г. пытался под Гатчиной организовать наступление на красный Петроград.

Урожай. Впервые — Изв. Одес., 1922, 4 июня, № 747.

Александру Блоку. Впервые — «Зритель», Одесса, 1922, № 5, август, стр. 1, с подзаголовком: «К годовщине смерти 7 авг. 1921 г.» (см. Варианты, стр. 506). Печ. по «Однотомнику», стр. 21.

51. Впервые — Изв. Одес., 1922, 1 сентября, № 820. В 1920 г. *51-я* московская стрелковая дивизия под командованием В. К. Блюхера участвовала во взятии Перекопа и уничтожении остатков врангелевских войск в Крыму, после чего дивизии было присвоено наименование «51 Перекопская».

Москва. Впервые — Изв. Одес., 1922, 21 сентября, № 837. Печ. по журн. «Красная нива», 1928, № 8, стр. 8. *Акафист* — в христианском богослужении хвалебные песнопенья в честь Христа, богородицы и святых. *Калита* — прозвище московского князя Ивана Даниловича (ум. 1340 г.), который одним из первых стал проводить политику объединения русских земель вокруг Москвы *(калита* — старинное русское народное название денежной сумки).

Театр. Впервые — «Зритель», Одесса, 1922, сентябрь, № 7, стр. 5.

Ленинград. Впервые — Изв. Одес., 1922, 28 октября, № 869, под заглавием «Петербург». С изменениями (под названием «Петербург») в журналах «Путь МОПРа», 1928, 16—29 февраля, № 4, стр. 13; «Новости искусства, науки и литературы» (Приложение к журналу «Красная панорама»), 1928, № 2, стр. 18; «Прожектор», 1928, 1 апреля, № 14, стр. 21. Печ. по «Журналу для всех», 1929, № 9, стр. 23.

«Великий немой». Впервые — «Зритель», 1922, октябрь, № 9, стр. 12.

Октябрь («Неведомо о чем кричали ночью...»). Впервые — Изв. Одес., 1922, 7 ноября, № 877.

Украина. Впервые — Изв. Одес., 1922, 19 ноября, № 887. Печ. по журн. «Прожектор», 1930, № 13, стр. 14. Журнальный текст значительно расширен. *Чумаки* — возчики и торговцы на Украине, перевозившие на волах соль, рыбу и другие товары до проведения железных дорог. *Бунчук* — древко с шаром или острием на верхнем

конце, прядями из конских волос и серебристыми кистями. Был одним из символов власти украинских гетманов. *Ненасытец* — самый грозный и большой из днепровских порогов.

«I V». Впервые — Изв. Одес., 1922, 26 ноября, № 893. Написано в связи с IV конгрессом Коминтерна, проходившем в Москве 5 ноября — 5 декабря 1922 г.

Большевики. Впервые — Изв. Одес., 1922, 16 декабря, № 910 (1-я часть) и Изв. Одес., лит. прилож., 1924, 1 января, № 1224 (2-я часть).

Сказание о море, матросах и Летучем Голландце. Впервые — «Силуэты», 1923, № 4, январь (1-я часть поэмы «Песня о море и небе»), под заглавием «Летучий Голландец» (Отрывок). Печ. — «Силуэты», 1923, № 8—9, март, стр. 3—5. 4 марта 1923 г. Изв. Одес. сообщали: «7-й литературный интимник, состоявшийся 2 марта, прошел оживленно... Значительнейшею частью программы явилась новая поэма Э. Багрицкого «Сказание о море, моряках и Летучем Голландце». Затронутый автором в его вступлении вопрос: «Нужна ли пролетариату моя поэма, или нет?» — решен положительно в результате пылкой дискуссии». В рукописи поэмы имеется вводная часть, не вошедшая в публикуемый текст (см. Варианты, стр. 507). В архиве Багрицкого сохранилась рукопись под названием «Вагнер», которая имеет текстовые совпадения, позволяющие рассматривать ее как один из вариантов поэмы (см. Варианты, стр. 508), опубликованный в первую годовщину смерти поэта в журнале «Молодая гвардия», 1935, № 2. *Летучий Голландец* — легендарный образ морского капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по бурному морю, никогда не приставая к берегу; по легенде, встреча с ним предвещает бурю, кораблекрушение. Эта легенда восходит к эпохе великих географических открытий. *Валгалла* — в скандинавской мифологии местопребывание павших в бою героев, дворец бога *Одина*. Миф о Валгалле отразил представление о загробном мире родоплеменной скандинавской знати. *Викинги* — древнескандинавские морские разбойники, сочетавшие разбой с торговлей. Опустошали побережье Западной Европы в VIII—XI вв. *Валкирии* — в скандинавской мифологии воинственные девы, дочери *Одина*, определяющие, кому из воинов пасть в битве, и уносящие павших в Валгаллу. *Один* — верховное божество в скандинавской мифологии, бог ветра и бурь. Почитался викингами как бог войны, покровитель торговли и мореплавания. Огесен *Свен* — датский летописец XII в., написавший историю Дании с древнейших времен до 1185 г. *Вагнеровский двинулся прибой.* Имеется в виду опера Рихарда Вагнера «Летучий Голландец» (1841). *Ассам* — горная область в восточной Индии.

Тиль Уленшпигель. Монолог. («Отец мой умер на костре...»). Впервые — «Моряк», 1923, № 292, 1 января. Наряду со стихами: Монолог («Я слишком слаб, чтоб латы боевые...»),

«Тиль Уленшпигель» («Весенним утром кухонные двери. . .»), «Встреча», это стихотворение отражает юношеское увлечение Багрицкого книгой бельгийского писателя Шарля де Костера (1827—1879) «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» (1867). По свидетельству Л. Г. Багрицкой, роман де Костера был настольной книгой поэта, а фольклорные образы Тиля Уленшпигеля и его закадычного друга, весельчака и ленивца Ламме, ставшего носителем идеи народного возмездия, — любимыми героями Багрицкого. В «Моряке» стихотворение помещено со следующим примечанием: «Уленшпигель — народный герой Фландрии, поднявший восстание против католических тиранов. Боролся с врагами он не только мечом, но и язвительной шуткой и вдохновенной песней. *Клаас,* о котором говорится в стихотворении т. Багрицкого, — отец Уленшпигеля, сожженный на костре судьями-фанатиками. *Толстый Ламме Гоодзак* — товарищ Уленшпигеля». *Дамме, Остенде* — города во Фландрии. *Брабант* — область в северо-западной Европе, входящая ныне в Бельгию и Голландию. До Нидерландской революции и в первый ее период являлся политическим и экономическим средоточием Нидерландов. *И кто на посвист жаворонка вам ответит криком петуха.* Пароль гезов, народных повстанцев, которые вели борьбу против испанского владычества в период нидерландской революции XVI в. Фернандо Альварес *Альба* (1507—1582) — «кровавый герцог», испанский полководец и государственный деятель при Карле V и Филиппе II, отличавшийся необычайной жестокостью.

Тиль Уленшпигель. Монолог («Я слишком слаб, чтоб латы боевые. . .»). Впервые — Изв. Одес., 1923, 1 января, № 924. *Наш король* — испанский король Филипп II (1527—1598). При Филиппе II началась нидерландская буржуазная революция XVI в. *Гравелин* — приморский город на севере Франции. В 1558 г. нидерландский политический деятель и полководец Ламораль Эгмонт (1522—1568) одержал здесь победу над французами.

Моряки («Только ветер да звонкая пена. . .»). Впервые — Изв. Одес., 1923, 4 февраля, № 951. *Империи тягостный груз.* Имеется в виду «бремя белого человека», поэтизация захватнической колониальной политики бардами империализма.

Пушкин («Когда в крылатке, смуглый и кудлатый. . .»). Впервые — Изв. Одес., 1923, 8 февраля, № 954. *Пересыпь* — рабочий район Одессы. *Дюк* — герцог. Имеется в виду памятник герцогу Ришелье (1766—1822) на Приморском бульваре в Одессе.

Одесса («Клыкастый месяц вылез на востоке. . .»). Написано в начале 1923 г. Первая публикация не обнаружена. Печ. по журналу «Октябрь», 1929, № 1, стр. 98. К 130-й годовщине со дня рождения Пушкина было опубликовано в журнале «Красная нива», 1929, № 24, 9 июня, стр. 1, под заглавием «А. С. Пушкин (1799—1929)», где поэт возвращается, с некоторыми сокращениями, к пер-

воначальному тексту 1923 г. (см. Варианты, стр. 509). Теме «Пушкин в Одессе» посвящена одноименная статья Багрицкого, написанная к 100-летию пребывания великого поэта в Одессе и опубликованная в специальном литературно-художественном приложении («Пушкин в Одессе») к газете Изв. Одес., 1923, 15 июля.

Красная Армия. Впервые — Изв. Одес., 1923, 23 февраля, № 967. *Верховный адмирал* — А. В. Колчак (1873—1920), адмирал царского флота, в ноябре 1918 г. объявивший себя «верховным правителем и верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России»; в январе 1920 г. арестован иркутскими рабочими и 7 февраля расстрелян по приговору иркутского военно-революционного комитета. Дмитрий Петрович *Жлоба* (1887—1944) — активный участник гражданской войны; в 1918 г. — начальник Первой стрелковой дивизии, которая совершила 800-километровый рейд и участвовала в боях за Царицын; в 1919 г. — командир Кавказской бригады на Южном фронте; в 1920 г. — командир Первого конного корпуса, участвовавшего в освобождении Екатеринодара (ныне Краснодара). *Энзели* — прежнее (до 1925 г.) название г. Пехлеви в северном Иране.

Февраль («Темною волей судьбины. . .»). Впервые — «Моряк», 1923, № 323, 11 марта. Написано к годовщине Февральской революции 1917 г. *Волынский полк,* отказавшийся стрелять по рабочим демонстрантам и восставший против царизма в ночь с 26 на 27 февраля 1917 г. *Мечется... царский поезд.* Получив известие о начале Февральской революции в Петрограде, Николай II выехал из ставки в столицу. Однако царский поезд смог добраться только до станции Дно и вынужден был вернуться в Псков.

Коммунары. Впервые — Изв. Одес., 1923, 18 марта, № 985. Луи Огюст *Бланки* (1805—1881) — французский революционер; во время Парижской коммуны находился в тюрьме, но был заочно избран членом Коммуны. Ярослав *Домбровский* (1836—1871) — польский революционный демократ, герой Парижской коммуны, погиб во время баррикадных боев. Луи Шарль *Делеклюз* (1809—1871) — французский публицист и политический деятель, участник Парижской коммуны. Погиб на баррикадах при подавлении Парижской коммуны.

Баллада о Виттингтоне. Впервые — «Моряк», 1923, № 337, 15 апреля, под заглавием «Песня о Виттингтоне (Из английских песен)». С изменениями — под заглавием «Баллада о Виттингтоне, его путешествии и возвращении» — «Силуэты», 1923, № 12, стр. 3, и «Комсомольская правда», 1926, 23 мая; в «Красной ниве», 1928, № 52, 23 декабря, стр. 5, под заглавием «Песня о Виттингтоне». Печ. по «Однотомнику», стр. 24. В «Силуэтах» и «Комсомольской правде» печаталось с ошибочным указанием на принадлежность английского оригинала Роберту Саути. Во всех публикациях, кроме «Однотомника», после строки 24 следовало:

О приключения! Не вы ль
Чудесные открыли страны?
На ветхом судне в шторм и штиль
Мы носимся по океану.

Ричард *Виттингтон* (ум. 1423) — мэр Лондона. Согласно легенде, получившей отражение в не дошедшей до нас английской балладе XVII в., Виттингтон от лишений и нужды бежал из Лондона, но, услышав перезвон колоколов, в котором ему послышались слова «Вернись обратно, Виттингтон, мэр Лондона!», вернулся. Вскоре к нему пришло неожиданное богатство, и он действительно стал мэром.

1 Мая. Впервые — Изв. Одес., 1923, 1 мая, № 1022.

Песня о разлуке. Впервые — «Моряк», 1923, № 356, 27 мая.

Предупреждение. Впервые — «Моряк», 1923, № 359, 3 июня. Стихотворение написано в связи с провокационным ультиматумом Керзона (май 1923 г.).

Саксонские ткачи. Впервые — Изв. Одес., 1923, 21 октября, № 1166. В дни, когда было написано это стихотворение, в октябре 1923 г., образовалось рабочее правительство Саксонии. Однако оно было разогнано рейхсвером.

К огню вселенскому. Впервые — Изв. Одес., вечерний выпуск, 1923, 26 октября, № 138. *Сганарель* — популярный персонаж французской комедии, сложившийся в ярмарочном театре XVI—XVII вв. (слуга Дон-Жуана).

Памятник Гарибальди. Впервые — литературно-художественное приложение к Изв. Одес., 1923, 25 ноября, № 1195, под названием «Памятник». С изменениями — в «Литературно-художественном сборнике „Красной панорамы“» (приложение к журн. «Красная панорама»), 1928, май, стр. 17; в журнале «Путь МОПРа», 1928, № 18, стр. 11; в газете «Красная звезда», 1928, 10 июня. Печ. по «Журналу для всех», 1928, № 1, сентябрь, стр. 3. В «Красной звезде» стихотворению предпослан эпиграф: «В Милане находится памятник Гарибальди, обращенный лицом к северу». Джузеппе *Гарибальди* (1807—1882) — народный герой Италии, вождь итальянской революционной демократии. *Густо-черный поход рубах* — так называемый «поход на Рим» итальянских фашистов, в результате которого к власти пришел Муссолини (октябрь 1922 г.).

Фронт. Впервые — Изв. Одес., 1923, 25 декабря, № 1220, под названием «1919 год». С изменениями, под названием «1918 год», — «Моряк», 1925, № 626, 22 февраля; под названием «Девятнадцатый год» — журн. «Смена», 1926, № 4, стр. 5; в «Красной ниве», 1927, № 11, стр. 18 — под названием «Гражданская война»;

в «Прожекторе», 1928, № 7, стр. 22 — под названием «Фронт». Печ. по газете «Смена», Л., 1929, 9 января. Для «Прожектора» стихотворение было сильно переработано. *Гайдамак.* В период гражданской войны главари украинской контрреволюции присвоили название гайдамаков (так назывались участники казацко-крестьянских восстаний на Украине в XVIII в.) своим бандам, сформированным из кулачества. Разбитые Красной Армией в конце 1919 г. остатки гайдамацких банд бежали в Польшу.

Труд. Впервые — «Моряк», 1924, № 453, 8 января.

Смерть. Впервые — Изв. Одес., 1924, 3 февраля, № 1250. Стихотворение посвящено памяти Ленина.

СССР. Впервые — Изв. Одес., 1924, 18 мая, № 1335.

О Пушкине («...И Пушкин падает в голубоватый...»). Впервые — «Моряк», 1924, № 517, 8 июня. Написано к 125-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. Стихотворению предпослано примечание Багрицкого: «По последним исследованиям, смерть Пушкина была заранее подготовлена кликой придворных с Николаем 1-м во главе. Николай 1, как мог, издевался над поэтом и успокоился только тогда, когда руководимый им Дантес застрелил на дуэли Пушкина».

Скумбрия. Впервые — «Моряк», 1924, № 526, 29 июня. *Баламут* — большой невод. *Мартын* — водоплавающая птица из семейства чайковых, крачка.

Бастилия. Впервые — «Моряк», 1924, № 532, 13 июля. *Камилл Демулен* (1760—1794) — французский политический деятель и журналист эпохи французской революции. Сыграл видную роль во взятии королевской тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 г. *Гильотэн* (1738—1814) — французский врач, изобретатель машины для совершения казни, гильотины, введенной во Франции в период французской революции.

Слово — в бой. Впервые — «Моряк», 1924, № 535, 20 июля. Григорий *Малиновский* — селькор газеты «Красный Николаев», убитый кулаками.

Порт (Летний день). Впервые — «Моряк», 1924, № 537, 25 июля.

Возвращение. Впервые — «Моряк», 1924, № 545, 13 августа, под названием «Новый труд». С изменениями — Изв. Одес., вечерний выпуск, 1925, 4 ноября, и журнал «Моряк» (приложение к газете «На вахте»), 1926, № 3(6), июнь, стр. 6, под названием «Стихи о себе». Печ. по журн. «Красная нива», 1927, № 50, 11 декабря, стр. 6. *Дальницкая* — улица в Одессе, на которой жил Багрицкий с 1923 по 1925 г.

Осень («Осень морская приносит нам...»). Впервые — «Моряк», 1924, № 550, 24 августа.

Кинбурнская коса. Впервые — «Моряк», 1924, № 552, 29 августа, под названием «На катере» (см. Варианты, стр. 510). Печ. по журн. «Красная нива», 1928, № 2, стр. 7. В рукописи, относящейся к концу 1927 г., стихотворение озаглавлено «Лиман». *Кинбурнская коса* — узкая и длинная песчаная коса, вдающаяся в Черное море между Днепровско-Бугским лиманом и Егорлыкским заливом (вблизи Очакова). Место кровавых боев в русско-турецкие войны XVIII в., в Севастопольскую кампанию и в гражданскую войну.

У моря («Над лиманской солью невеселой...»). Впервые — «Моряк», 1924, № 553, 31 августа, под названием «Дофиновка» (рыбацкое селение вблизи Одессы). Печ. по журн. «Рост», 1930, № 10, стр. 16.

Детство. Впервые — Изв. Одес., вечерний выпуск, 1925, 11 июня, № 620. Печ. по журн. «Прожектор», 1928, № 34, стр. 18. Сокращенный вариант опубликован в «Красной ниве», 1926, № 52, 26 декабря, стр. 7. *Бугаевка* — в те годы рабочая окраина Одессы.

Лето. Впервые — под названием «Осень» — «Моряк», 1924, № 566, 28 сентября. Под тем же названием — Изв. Одес., 1924, 18 октября, № 1763. Печ. по «Прожектору», 1928, № 26, стр. 18.

Охота на чаек. Печ. впервые по рукописи ИМЛИ.

Рыбаки («Восточные ветры, дожди и шквал...») . Впервые — «Моряк», 1924, № 575, 19 октября. С дополнительными строками — Изв. Одес., вечерний выпуск, 1925, № 661, 29 июля. Печ. по журн. «Красная нива», 1931, № 14, стр. 17.

Одесса («Над низкой водою пустые пески...»). Впервые — «Шквал», Одесса, 1924, № 5, [ноябрь], стр. 14.

АМССР. Впервые — «Шквал», 1924, № 6, [ноябрь], стр. 6. Стихотворение написано в связи с образованием 12 октября 1924 г. Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. *Зеленый, Ангел, Заболотный, Тютюнник* — атаманы («батьки») петлюровских банд.

1924. Впервые — «Моряк», 1925, № 605, 1 января.

Январь. Впервые — «Моряк», 1925, № 613, 21 января.

Ленин с нами. Впервые под названием «Весть» — Изв. Одес., вечерний выпуск, 1925, 21 января, № 505. Печ. — «Голос текстилей», 1929, № 17, 20 января.

Укразия. Впервые — «Шквал», Одесса, 1925, № 13, март, 3 стр. обложки.

Алдан. Впервые — «Горнорабочий», 1925, № 36, 23 октября, стр. 16. *Заимка* — небольшой поселок на Урале и в Сибири.

«Взывает в рупор режиссер...». Впервые — газета «Кино», М., 1925, № 33, 3 ноября.

1905. Впервые — «Горнорабочий», 1925, № 44—45, 31 декабря, стр. 34.

Стихи о поэте и романтике. Впервые — Бизнес. Сборник Литературного центра конструктивистов под ред. К. Зелинского и И. Сельвинского. М., 1929, стр. 103. Ранняя редакция под названием «Разговор поэта с романтиком». Николай Степанович *Гумилев* (1886—1921) — русский поэт, один из основателей группы акмеистов. Расстрелян в 1921 г. по обвинению в контрреволюции.

Песня об Устине. Впервые — «Молодая гвардия», 1926, № 3, стр. 43—45. В сокращенном виде (сняты строки о Дунаереке) — «Шквал», 1928, № 17, стр. 11. Печ. по «Молодой гвардии». В черновом автографе дата — 8 декабря 1925 г. В рукописи называется «Казачья мать» и имеет эпиграф:

Как во нашей деревеньке
Случилась беда,
Молодая козаченька
Сына родила.

(Солдатская песня)

Как свидетельствует Багрицкий в «Записках писателя», написано под воздействием украинских народных песен. *Посметюха* (укр.) — жаворонок. *Очерет* — распространенное на юге России название тростника и камыша. *Чеграва* — птица отряда чаек. *Крыжень* (укр.) — селезень из породы диких уток. *Млин* (укр.) — мельница. *Хустка* (укр.) — головной платок.

Завоеватели дорог. Впервые — «Горнорабочий», 1926, № 5, 7 февраля, стр. 11, с подзаголовком: «Посвящается экспедиции Добролета». Более полный текст в журнале «30 дней», 1928, № 4, стр. 16. Печ. по журн. «На суше и на море», 1930, № 13, стр. 3. Написано в связи с предпринятой обществом Добролет в июне 1925 г. экспедицией для изыскания аэролиний через Алдан и трассы для проведения железных дорог в Якутии. *Астролябия* — угломерный прибор для наблюдения звезд и определения их высоты над горизонтом.

Февраль («Гудела земля от мороза и вьюг...»). Впервые — газета «Голос текстилей», М., 1926, 12 марта. Написано к годовщине

Февральской революции 1917 г. *Еще не подписанный манифест.* 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, но Временное правительство решило не опубликовывать текст манифеста. 3 марта Михаил отказался от престола.

1871. Впервые — «Голос текстилей», М., 1926, № 22, 16 марта. В сокращенном виде — «Горнорабочий», 1926, № 11, стр. 10, под названием «Памяти Парижских коммунаров». Печ. по газете «Голос текстилей». *Седан* — город на северо-востоке Франции, в районе которого во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. капитулировала французская армия (2 сентября 1870 г.), что привело к падению второй империи Наполеона III и провозглашению республики. Адольф *Тьер* (1797—1877) — французский политический деятель, палач Парижской коммуны. После провозглашения Парижской коммуны 18 марта 1871 г. бежал в Версаль, откуда руководил борьбой против Коммуны и последовавшим после ее подавления белым террором. *Сент-Антуан* — восточная часть Парижа. Рабочие и ремесленники этого района города принимали активное участие во всех революционных выступлениях, особенно в 1848 г. и во время Парижской коммуны. Название Сент-Антуанского предместья вошло в литературу как синоним боевого центра трудящихся. Гастон *Галиффе* (1830—1909) — французский генерал, подавивший восстание Парижской коммуны. Его имя стало нарицательным как имя кровавого палача рабочего класса. *Пер-Лашез* — кладбище в Париже, место последних боев парижских коммунаров с версальцами в мае 1871 г. У *Стены* коммунаров, названной так впоследствии, были расстреляны последние защитники.

Лена. Впервые — «Горнорабочий», 1926, № 16, 24 апреля, стр. 14. Написано к годовщине Ленского расстрела 4 апреля 1912 г. В рукописи имеются строки, не вошедшие в печатный текст:

А в городе тлела пасхальная мгла,
Звучало пасхальное пенье,
Ревели пасхальные колокола,
Как вестники всепрощенья.
И в ладане росном вздымался собор,
В туман подымая уступы...
Лисицы визжат и шатается бор,
Поленьями свалены трупы.

Иная жизнь. Впервые — «Советский экран» (издание «Рабочей газеты»), 1926, № 23, 8 июня, стр. 6.

Трактир (Опыт лиро-эпической сатиры). Впервые — «Эдуард Багрицкий». Альманах. М., «Советский писатель», 1936, стр. 91. Печ. по беловому автографу, «Посвящение 1 (ироническое)», «Посвящение 2 (романтическое)» и «Песня» («Жил на свете мальчишка...») — по тексту «Литературной газеты», 1929, № 1, 22 апреля. При жизни Багрицкого полностью не публиковалось. В периодиче-

ской печати появлялись отдельные фрагменты поэмы: «Ночь» — «Молодая гвардия», 1928, № 1, стр. 139; «Смерть (Отрывок из драм. сцен «Трактир»)» — «Новый мир», 1928, № 4, стр. 34; «Ночь» (см. стр. 53), имеющаяся в двух черновых рукописях «Трактира», вошла в «Юго-Запад» как самостоятельное произведение. Из беловой рукописи «Трактира» страницы с автографом «Ночи» вырезаны. Стихотворение «Смерть» в «Новом мире» представляет собой фрагмент поэмы «Трактир» (от «Конец дороге! Лестница в провал...» до «И чай, журча, бежит по чашкам...»), обрамленный специально написанными началом и концовкой. Начало:

Не мистика, а точное познание
Грядущего, такое ж, как когда-то
Германцы видели в косматом небе,
Нависшем над языческою рощей, —
Нам ближе, ощутимей и прекрасней,
Чем метафизика и чад свечей...
Нам с этой выдумкой земная радость
Покажется еще благословенней,
И запах мира мы вдохнуть сумеем
Еще сильнее и биенье крови
Еще восторженнее ощутить.
. . . .
Ты умираешь... Пылкая подушка
К стене прижата, пальцы торопливо
Снуют по одеялу... А с высот
Спустилась лестница, и ты по ней
Взбегаешь к тучам, к планетарной дрожи...

Концовка:

Когда ты снова явственно почуешь
Свое незыблемое тяготенье
К земле, к воде, к произрастанью злаков, —
И кровь твоя соленая, густая,
Окрашенная силой и здоровьем,
Стократ сильнее в жилах побежит.

Вместо строк:

Но я — не Виллон, и я не хочу
Кабацким гением слыть...

в черновых рукописях имеется вариант:

Но я — не Есенин — и не хочу
Кабацким Моцартом слыть.

Франсуа *Виллон* (Вийон), (род. 1431) — французский поэт, в стихах которого фигурируют бродяги, жулики, проститутки, спившиеся и недоучившиеся студенты.

Можайское шоссе («По этому шоссе на восток он шел...»). Впервые — «Рабочий край», Иваново, 1928, 2 октября. Печ. по «Альманаху Земля и фабрика», № 3, М., 1928, стр. 214. Написано одновременно со стихотворением «Можайское шоссе (Автобус)», вошедшим в книгу «Победители» (см. стр. 120). Готовя книгу «Победители», Багрицкий намеревался сначала включить в нее оба стихотворения, о чем свидетельствует его пометка на проспекте книги: «Можайское шоссе 1-2». Как видно из рукописей, эти стихотворения были задуманы как одно целое, состоящее из двух частей: «Поход Наполеона на Москву» и «Автобус». *Даву* (1770—1823) — французский маршал, во время похода в Россию командовал корпусом. *Массена́* (1756—1817) — французский маршал, в походе на Россию не участвовал. *Бернадо́т* (1763—1844) — французский маршал, в 1810 г. был усыновлен шведским королем и стал фактическим правителем Швеции; в кампании 1812 г. не участвовал. *Ней* (1769—1815) — французский маршал, участвовавший во всех походах Наполеона. Во время похода в Россию командовал корпусом. *Мюрат* (1767—1815) — французский маршал, неаполитанский король под именем Иоахима I Наполеона; в 1812 г. во главе конницы участвовал в походе на Россию. *Поклонная* — гора на Можайском шоссе, откуда Наполеон впервые увидел Москву. *Дорогомилово* — в те годы пригород Москвы на Можайском шоссе. В 1812 г. французы вступили в Москву через Дорогомилово. *Бакан* — лаковая краска.

Новые витязи. Впервые — «На вахте», М., 1928, 8 октября. *Люди с дирижабля.* Летом 1928 г. итальянский полярный исследователь Умберто Нобиле предпринял экспедицию к Северному полюсу на дирижабле «Италия» и потерпел крушение. Члены экипажа «Италии» были спасены советским ледоколом «Красин». *Калевала* — карело-финский национальный эпос, составленный финским поэтом и фольклористом Э. Ленротом на основе народных рун.

Исследователь. Впервые — «Молодая гвардия», 1929, № 1, стр. 3 и «Литературно-художественный сборник „Красной панорамы"» (Приложение к журналу «Красная панорама»). Л., 1929, январь, стр. 47. Печ. по сб. стихов «Поэзия революции». Составитель М. Светлов («Роман-газета», 1930, № 21(75), стр. 28). Написано в связи с проводившейся под руководством Л. А. Кулика экспедицией по изучению обстоятельств падения 30 июня 1908 г. тунгусского метеорита. Багрицкий предполагал включить это стихотворение в свою книгу «Победители», как свидетельствует сохранившийся в ИМЛИ проспект книги. Текст приложения к «Красной панораме» имеет дополнительные строки и разночтения (см. Варианты, стр. 511).

Всеволоду. Впервые — «Молодая гвардия», 1929, № 6, стр. 21. Печ. по «Литературно-художественному сборнику „Красной панорамы"». Л., 1929, декабрь, стр. 45. *Всеволод* (1922—1942) — сын Багрицкого. В начале Отечественной войны ушел добровольцем на фронт и погиб под Любанью 19 апреля 1942 г.

Соболиный след. Впервые — «Пионер», 1929, № 12, стр. 6, под заглавием «Соболь». С изменениями — в отдельном издании — М., 1930. Печ. по книге «Соболиный след», М., 1933.

«Итак — бумаге терпеть невмочь...». Впервые — «Новый мир», 1930, № 11, стр. 109. Написано одновременно со стихотворениями «Происхождение» и «Весна, ветеринар и я» из книги «Победители»; в беловой рукописи все три стихотворения даны без названий с подразделением: I, II, III, под общим заглавием «Три стихотворения». В «Новом мире» все три стихотворения напечатаны в одном номере под тем же общим заглавием. Рукописный вариант начала см. стр. 512. *Мортус* — служитель при больных эпидемическими болезнями, на обязанности которого лежит также уборка трупов.

О чем они мечтали. Впервые — «Рабочая Москва», 1930, 1 декабря. Стихотворение написано в дни судебного процесса над восемью руководителями Промпартии, проходившего в Москве 25 ноября — 7 декабря 1930 г.

Звезда мордвина. Впервые — кн. «Звезда мордвина». М., 1931. Написано в конце 1930 г. после поездки с А. С. Новиковым-Прибоем на охоту в Мордовию.

Разговор с сыном. Впервые — «Красная нива», 1931, № 32, 20 ноября, стр. 7.

Медведь. Впервые — «Литературная газета», 1934, 28 февраля, с подзаголовком: «Неопубликованное стихотворение для детей».

Песни к радиокомпозиции «Тарас Шевченко». Впервые: 1-я песня — «Эдуард Багрицкий». Альманах. М., 1936, стр. 121; 2-я песня — газета «Вечерняя Москва», 1934, 5 июля; 3-я песня не публиковалась. Все три песни печатаются по черновой рукописи, представляющей собой наброски ко второй части радиокомпозиции «Тарас Шевченко», оставшейся ненаписанной. Первая часть — см. «30 дней», 1934, № 2, стр. 1.

ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

МИКОЛА БАЖАН

Микола Бажан (род. 1904) — украинский советский поэт. Стихи «Кровь полонянок» и «Разрыв-трава» входят в его книгу «Різьблена тінь. Лірика. Харків, 1927; «Ночь Гофмана» и «Здания» (написаны в 1928 г.) — в кн. «Будівлі». Харків, 1929.

Кровь полонянок. Впервые — М. Бажан. Сборник стихов. М., 1930, стр. 44. Печ. по кн.: М. Бажан. Стихи. М., 1933, стр. 37. *Сайдак* — набор вооружения конника в русских и татарских войсках X—XII вв. (лук с налучием и стрелы с колчаном).

Разрыв-трава. Впервые — там же, стр. 46. Печ. по кн.: М. Бажан. Стихи. М., 1933, стр. 39. *Терлич, розмай* — сказочные, чудодейственные травы.

Ночь Гофмана. Впервые — там же, стр. 53. Печ. по кн.: М. Бажан. Стихи. М., 1933, стр. 50. *Цикута* — ядовитое болотное растение. *Серапионов брат.* Имеются в виду «Серапионовы братья» — произведение Э. Т. Гофмана. В этом романе беседа ведется друзьями, назвавшимися «серапионовыми братьями» в честь пустынника Серапиона. *Безумный Амедей* — Эрнст Теодор Амедей Гофман (1776—1822) — немецкий писатель-романтик. *Котик Мур* — главный персонаж романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». *Камергерихт* — высшее судебное учреждение, верховный суд. *Автодафе* (аутодафе) — торжественная церемония оглашения и приведения в исполнение приговора инквизиции, в частности сожжение осужденного на костре. *Милоть* — одежда из овчин. *Кнастер* — сорт крепкого курительного табака. *Драбанты* — личная охрана правителя страны или военачальника.

Здания. Впервые — там же, стр. 60. Печ. по кн.: М. Бажан. Стихи. М., 1933, стр. 57. *Жакерия* — крестьянское восстание во Франции в 1358 г. Название получило от презрительной клички «Жак-простак». «Жакерия» стало нарицательным обозначением стихийных крестьянских восстаний. *Аканты Коринфа* — лиственные скульптурные украшения верхней части колонн в коринфской архитектурной композиции. *Скарлат* (скорлат) — в древней Руси заморское сукно алого цвета, шедшее на шапки и одежду. *Буцефал* — неукротимый конь, по преданию, усмиренный Александром Македонским. *Кучугуры* — наносные песчаные бугры, барханы.

ВЛАДИМИР СОСЮРА

Владимир Николаевич *Сосюра* (род. 1898) — украинский советский поэт. Стихотворения «Надвигается памяти ветер...» и «Может, не друзья мы...» написаны в 1923 г., «Сквозь окна небо — не ковер...» — в 1924 г., «Колыбельная» — в 1925 г. Стихотворения «Налетела, умчала гроза...», «Вспоминаю: вишни доцветали...», «И пошел я тогда до Петлюры...» входят в кн.: Володимир Сосюра. Сьогодні. Поезії. Харків, 1925.

«Надвигается памяти ветер, и качает он душу мою...». Впервые — В. Сосюра. Избранные стихи в переводах русских поэтов, под общей ред. М. Голодного. М., 1930, стр. 40.

«Может, не друзья мы...». Впервые — там же, стр. 46.

«Вспоминаю: вишни доцветали...». Впервые — там же, стр. 55.

«Сквозь окна небо — не ковер...». Впервые — там же, стр. 56.

«И пошел я тогда до Петлюры...». Впервые — там же, стр. 57.

«Налетела, умчала гроза...». Впервые — там же, стр. 58.

Колыбельная. Впервые — там же, стр. 75.

«Две тысячи назад звали б вас богом...». Печ. впервые по рукописи ИМЛИ.

С БЕЛОРУССКОГО

ЯНКА КУПАЛА

Янка Купала (псевд. И. Д. Луцевича, 1882—1942) — белорусский советский поэт. Стихотворения «Заклятый цветок», «Зимой в лесу» и «Снег» написаны в 1909 г., «Две березы» — в 1910 г., «На рассвете» — в 1914 г., «Плачет осень» — в 1915 г., «Поезжане» — в 1918 г., «Крым» — в 1923 г.

Заклятый цветок. Впервые — Янка Купала. Сборник стихов. М.—Л., 1930, стр. 101. *Иван Купала* (Иванов день) — древний языческий праздник летнего солнцестояния (11/24 июня) у восточных славян, приуроченный позднее к церковному культу Иоанна Крестителя. В ночь на Ивана Купалу собирали целебные травы и искали «цветок папоротника», якобы расцветающий в эту ночь и помогающий находить клады. *Кожан* — летучая мышь.

Зимой в лесу. Впервые — Янка Купала. Сборник стихов. М.—Л., 1930, стр. 112.

Снег. Впервые — там же, стр. 113.

Две березы. Впервые — там же, стр. 122. Искусство Багрицкого-переводчика ярко охарактеризовал Янка Купала в беседе, воспроизведенной Б. Емельяновым (газета «Литература и жизнь», 1958, № 94, 14 ноября): «Когда-то я написал стихотворение, — задумчиво сказал Янка, — «Две тополи». У нас... березы редкость, а тополи часто парами стоят в полях. Стихи эти взялся переводить Эдуард Багрицкий. Я еще не видел его перевода, а мне уже пишут товарищи из Москвы: «Хорошие ты стихи написал. Поздравляем». — «Какие стихи?» — спрашиваю по телефону. Отвечают: «Две березы». А я не понимаю. Переспрашиваю: не ошибаетесь ли? Не писал я

таких стихов. Вместо ответа присылают перевод Багрицкого. Много слов не моих, чужих, а стихи мои. Багрицкий почувствовал, что душа, и стало быть, смысл стихотворения, потеряется, если, строго следуя тексту, он пересадит тополи на русскую землю. Не поймет русский читатель тополиной грусти. А вот такие березки Багрицкий видел сам и понимал. Сел, наверное, под ними, всмотрелся, вслушался — звенят. Он мне потом так и рассказывал: «Ведь это у вас потому так хорошо получилось, задушевно, Иван Доминикович, что тополи вам как родные и близкие люди. А мне березы роднее. Я взял ваши стихи, прочел раз, другой, вышел в Малеевке, к мостику над оврагом, к березкам, еще раз прочел, очень похоже, вот и перевел... Вы уж не сердитесь...» Янка помолчал. А за что ж тут сердиться? Алексей Константинович Толстой был одним из крупнейших русских поэтов и переводчиков, и он говорил, что самое главное в переводе стихов — это все-таки не слово, а настроение, подтекст, внутреннее содержание. Читатель перевода должен прежде всего почувствовать внутренний смысл оригинала. Все остальное приложится. Вот тебе и пример. Сижу под твоими березами, читаю перевод Багрицкого, а надо мною, чувствую, островерхие, серебряные, стоят мои белорусские тополи. Он по-русски до конца дочитал «Две березы» и вдруг неожиданно пожаловался одной стихотворной, еще неизвестной мне строкой: «Мне снятся сны аб Беларуси».

На рассвете. Впервые — там же, стр. 110.

Плачет осень. Впервые — там же, стр. 109.

Поезжане. Впервые — там же, стр. 114. Багрицкий считал это стихотворение своим лучшим переводом из Я. Купалы. *Поезжане* — лица, участвующие в свадебном поезде.

Крым. Впервые — там же, стр. 120.

С ТАТАРСКОГО

МУСА ДЖАЛИЛЬ

Муса Джалиль (1906—1944) — татарский советский поэт. Стихотворение «Весна» написано в 1929 г.

Весна. Впервые — Альманах татарской литературы, М., 1930, стр. 169. *Сарвар* — имя татарской девушки.

АДЫЛЬ КУТУЙ

Адыль Кутуй (псевд. Аделша Кутуева, 1903—1945) — татарский советский писатель. Стихотворение «Наш курай» написано в конце 20-х годов в результате поездки в Уфу.

Наш курай. Впервые — Альманах татарской литературы. М., 1930, стр. 120. *Курай* — свирель.

К стр. 428—438.

С ЕВРЕЙСКОГО

ИЦИК ФЕФЕР

Ицик Фефер (1900—1952) — еврейский советский писатель. Публикуемые стихи — из книги Фефера «Найденные искры», изданной в Киеве в 1928 г. на еврейском языке.

«От украинской вольной шири...». Впервые — там же, стр. 83.

«Сегодня ветры бешено ревут...». Впервые — там же, стр. 85.

«Когда пойдет вода...». Впервые — там же, стр. 87.

«Река любимая моя...». Впервые — там же, стр. 89.

«Над сгорбленной скалой...». Впервые — там же, стр. 91.

«Туда — в безмолвье деревень...». Впервые — там же, стр. 94.

С ФРАНЦУЗСКОГО

ПЬЕР РОНСАР

Пьер Ронсар (1524—1585) — французский поэт, глава группы поэтов «Плеяды», сыгравшей значительную роль в формировании французской национальной поэзии.

Пастух. Впервые — «Огоньки», Одесса, 1918, № 3, 1 июня (19 мая), стр. 12, без заглавия. Печ. по Изв. Одес., 1923, 17 июня, литературно-научное приложение к № 1060. Написано на мотивы горацианских од (1550—1552) и «Эклог» (1563) Ронсара.

ЯН НИБОР

Ян Нибор (род. в 1857 г.) — псевдоним французского поэта Альбера Робина. Его первая книга стихов о море и моряках (Chansons et récits de mer. Préface de Pierre Loti. Paris, E. Flammarion, 1893) принесла ее автору прозвище «поэта моряков». Стихи, переведенные Багрицким, входят в этот сборник Нибора.

Старый рыбак (Le vieux pêcheur). Впервые — «Моряк», 1924, № 467, 6 февраля. С изменениями — в Изв. Одес., 1924, 17 февраля; «Комсомольская правда», 1927, 5 июня. Печ. по журн. «Красная панорама», 1928, № 51, стр. 4.

Нормандия. Впервые — «Моряк», 1924, № 481, 9 марта. Написано по мотивам морских стихов Нибора.

Подарок (Les Quatre sabots de Noël). Впервые — «Моряк», 1924, № 587, 19 ноября. С изменениями — «30 дней», 1925, № 5, стр. 88; «Комсомольская правда», 1927, 8 мая. Печ. по журн. «Красная нива», 1928, № 39, стр. 3. Сокращенный перевод стихотворения, посвященного Нибором Эмилю Золя. В журнале «30 дней» имеется примечание: «Первая книга стихов Яна Нибора вышла в конце 19 столетия с предисловием П. Лоти. Нибор был простой матрос, шкипер, вот почему его стихи так ярко воспроизводят быт моряков. В русском переводе стихи Нибора появляются впервые».

Осень («Осень яблоками пахнет...»). Впервые — «Моряк», 1924, № 592, 30 ноября, под названием «Вахтенный». Печ. по «Комсомольской правде», 1926, 21 марта. Написано по мотивам морских стихов Я. Нибора. В рукописи под названием «На вахте (Из Яна Нибора)».

АРТУР РЕМБО

Артур Рембо (1854—1891) — французский поэт, один из зачинателей символизма. Стихотворение «Париж заселяется вновь» написано в 1871 г. под непосредственным впечатлением «кровавой недели» подавления Парижской коммуны.

Париж заселяется вновь (Paris se repeuple). Впервые — «Вестник иностранной литературы», 1930, № 2, стр. 62. Перевод сделан совместно с А. Штейнбергом.

С АНГЛИЙСКОГО

БЕН ДЖОНСОН

Бен Джонсон (1573—1637) — английский драматург, автор социально-бытовой комедии нравов «Вольпоне, или Лиса» (1606). В образе старика *Вольпоне* изображен хитрый стяжатель, обманывающий людей, которые ради получения его наследства (он притворяется умирающим) готовы пойти на любую подлость и преступление. *Моска* (что в переводе значит «муха») — его сообщник в плутовстве.

Из комедии «Вольпоне, или Лиса». 1. Монолог Вольпоне. 2. Песня Моски. 3. Карета. 4. Песня («Сокрытое от взора...»). Впервые «Монолог Вольпоне» — «Эдуард Багрицкий». Альманах. М., 1936, стр. 109. Остальные три песни — «Литературная газета», 1936, 16 февраля. Написано по мотивам комедии Бена Джонсона для Московского гос. театра под руководством Ю. Завадского. Премьера комедии (под названием «Мое») состоялась 11 января 1932 г.

К стр. 450—455.

Песня пролетариев о солнце. Впервые — «30 дней», 1932, № 1, стр. 58. Написано на мотивы вставных песен из пьес Бена Джонсона. В рукописи называется «Песня семи». В журнале песне предпослана заметка: *«Бен Джонсон* — современник и соперник Шекспира. В противоположность Шекспиру, Бен Джонсон был ненавидим аристократией, ибо он выводил на сцене ее корыстолюбие, жадность, любовь к власти в отвратительных и смешных образах. Вокруг Б. Джонсона группировалась наиболее безродная часть молодых английских поэтов».

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

ДЖО ХИЛЛ

Джо Хилл (Джозеф Хиллстром, 1882—1915) — американский поэт-песенник, швед по происхождению. Принимал деятельное участие в революционном союзе американских рабочих ИРМ (Индустриальные рабочие мира), арестован и расстрелян 19 ноября 1915 г. по ложному обвинению в убийстве. Стихотворение «Поп и раб» написано в 1911 г.

Поп и раб (The Preacher and the Slave). Впервые — «Шквал», Одесса, 1926, 17 июля, № 28.

С ТУРЕЦКОГО

НАЗЫМ ХИКМЕТ

Назым Хикмет (1902—1963) — турецкий поэт и общественный деятель, активный участник национально-освободительной борьбы турецкого народа. С 1921 по 1928 гг. и после 1951 г. жил в СССР. В 1928 г. в Баку вышла его книга «Песня пьющих Солнце». Стихотворение «Поэт» написано в 1922 г., «Восток и Запад» и «Песня пьющих Солнце» — в 1925 г., «Путешествие к Нефти» и «Ответ Нефти» — в 1927 г.

Восток и Запад. Впервые — «Молодая гвардия», 1926, № 10, стр. 95. Печ. по кн.: Назым Хикмет. Стихи. М., 1932, стр. 3. Перевод сделан Багрицким совместно с поэтом Н. Дементьевым. Вильям Джордж *Армстронг* (1810—1900) — английский инженер, изобретатель армстронговой пушки, означавшей переход к современной артиллерии. Его заводы в Англии поставляли артиллерийские орудия и снаряды во многие страны мира. *Пьер Лоти* (1850—1923) — французский писатель, офицер военного флота, автор ряда романов в жанре рафинированной восточной экзотики. *Азиадэ* — героиня одноименного романа П. Лоти, вышедшего в Стамбуле и посвященного истории любви морского офицера-француза и турчанки.

Ответ Нефти. Впервые — «Прожектор», 1928, № 25, стр. 21. Печ. по кн.: Назым Хикмет. Стихи. М., 1932, стр. 9. Переведено совместно с Н. Дементьевым. В журнале имеется примечание: «Назым Хикмет — турецкий поэт-коммунист, приговоренный правительством Кемаля-паши к 15 годам каторги. Назым очень популярен в Турции. Турецкие рабочие заучивают его стихи наизусть и распространяют их в нелегальном порядке... Творчески Назым представляет левое течение турецкой литературы, на нем сказалось сильное влияние Уитмена и Верхарна. В настоящее время Назым находится в Советском Союзе. Советскому Союзу посвящено и это стихотворение». *Пьер из Амьена* (Петр Амьенский, Пустынник, 1050—1115) — французский монах, проповедник, один из вдохновителей и участников крестовых походов.

Песня пьющих Солнце. Впервые — «Журнал для всех», 1928, № 3, стр. 6. Авторизованный перевод Э. Багрицкого и Н. Дементьева. Печ. по кн.: Назым Хикмет. Стихи. М., 1932, стр. 18.

Путешествие к Нефти. Впервые — «Молодая гвардия», 1929, № 22, ноябрь, стр. 12, под названием «Записки о путешествии к Нефти». Печ. по кн.: Назым Хикмет. Стихи. М., 1932, стр. 25. Перевод сделан совместно с Н. Дементьевым. *Пречистенка* — ныне улица Кропоткина в Москве. *Рынки Арбата.* В XIX и начале XX века на Арбатской площади в Москве был привозной рынок подмосковных огородников и крестьян.

Поэт. Впервые — «Земля советская», 1931, № 11—12, стр. 115. Печ. по кн.: Назым Хикмет. Стихи. М., 1932, стр. 14. Перевод сделан совместно с Н. Дементьевым. *Газелла* (газель) — распространенная на Востоке поэтическая форма.

С ПОЛЬСКОГО

А. КОЗЯРСКИЙ

А. Козярский — польский поэт и переводчик, современник Багрицкого.

Красный полк Варшавы. Впервые — Песни. Составитель А. Шариф. Под ред. Н. Н. Асеева и Ю. М. Соколова. М. — Л., 1935, стр. 135.

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

Бруно Ясенский (1901—1942) — польский писатель. В 1926 г. опубликовал в Париже поэму «Слово о Якове Шеле», посвященную крестьянскому восстанию в Галиции, а затем переделал ее в драматическую поэму «Галицийская жакерия» для организованного им в Париже пролетарского передвижного театра. По настоянию поль-

ского посольства пьеса была запрещена французской цензурой. После опубликования сатирического романа «Я жгу Париж» был выслан из Франции. С 1929 г. жил в СССР.

Напутствие Шели. Впервые — Современная революционная поэзия Запада. М., 1930, стр. 112. В переработанном виде вошло в книгу: Б. Ясенский. Галицийская жакерия (Слово о Якове Шеле). Драматическая поэма под ред. Э. Багрицкого. М., 1931, стр. 102. Печ. по кн.: Б. Ясенский. Галицийская жакерия, 2-е изд. М., 1932, стр. 116. *Якуб Шеля* (1787—1862) — предводитель крестьянства во время Галицийского крестьянского восстания в 1846—1848 гг.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЮГО-ЗАПАД

I

II

III

IV

---

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1915—1934 ГОДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

МИКОЛА БАЖАН

ВЛАДИМИР СОСЮРА

С БЕЛОРУССКОГО

ЯНКА КУПАЛА

С ТАТАРСКОГО

МУСА ДЖАЛИЛЬ

АДЫЛЬ КУТУЙ

С ЕВРЕЙСКОГО

ИЦИК ФЕФЕР

С ФРАНЦУЗСКОГО

ПЬЕР РОНСАР

ЯН НИБОР

АРТУР РЕМБО

С АНГЛИЙСКОГО

БЕН ДЖОНСОН

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

ДЖО ХИЛЛ

С ТУРЕЦКОГО

НАЗЫМ ХИКМЕТ

С ПОЛЬСКОГО

А. КОЗЯРСКИЙ

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

Багрицкий Эдуард Георгиевич

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Редактор *Г. М. Цурикова*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 30/XII 1963 г. Подписано в печать 26/II 1964 г. М 26531 Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$. Печ. л. $17^{7}/_{8}$ + 5 вкл. Уч.-изд. л. 29,71. Тираж 40 000 Заказ № 1.
Цена 1 р. 08 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение, Ленинград,
Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати
Красная ул., 1/3